

АБРАМ ТЕРЦ

Спокойной ночи





СПОКОЙНОЙ НОЧИ



СИГНАКСИС

1984

АБРАМ ТЕРЦ

**Спокойной
ночи**

РОМАН

ПАРИЖ

© «Syntaxis»
8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE



Георгий мой писал тебе,

29.V.6

Глава первая.

ПЕРЕВЕРТЫШ

Бто было у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в школу-студию МХАТ и толкся на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус, как вдруг, за спиной, послышался вопросительный и будто знакомый возглас:

— Андрей Донатович?!..

Словно кто-то сомневался, я это или не я, — в

радостном нетерпении встречи. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию, вокруг себя, по спирали, на пятке, потерял равновесие и мягким, точным движением был препровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся, как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа, со зверским выражением, с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек-безрукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно — как стрела. Все-таки я не ждал, что это осуществится с такой баснословной скоростью. Но, переведя дыхание, счел необходимым осведомиться — чтобы те двое, чего доброго, не заподозрили мою безропотную преступность:

— Что происходит? Я, кажется, арестован? На каком основании? — произнес я неуверенно, деланным тоном, без должного негодования в голосе. — Предъявите ордер на арест...

У меня в свое время брали отца и был небольшой опыт, что в таких ситуациях, по закону, полагается ордер.

— Нужно будет — тогда предъявят! — буркнул справа, должно быть главный, не глядя.

Держа меня за руки, оба телохранителя были

странным образом отрешены от меня и заняты своими расчетами, устремленные вперед, словно прокладывали испепеляющим взором дорогу по Моховой, сквозь сутолоки московского полдня. Мыслилось, они ведут неотступную борьбу с невидимым на пути, затаившимся противником. Это было похоже на то, что я написал за десять лет до ареста, в повести "Суд идет". Теперь, на заднем сидении, со штатскими по бокам, я мог оценить по достоинству ироничность положения и наслаждаться сколько угодно дьявольской моей проницательностью. Впрочем, надо сознаться, я многое недоучел. Как они быстро, как мастерски умеют хватать человека — среди бела дня, на глазах у всех, — с концами, не оставляя доказательств. Густая толпа у Никитских даже не заметила, что меня арестовали...

И будто в подтверждение задней мысли, вторично, когда мы подкатили к зданию на Лубянке, машина не въехала в бронированные ворота, во двор, как я ожидал, но скромно притормозила у края тротуара, и меня вывели под руки и переправили к парадным дверям — в открытую, на виду у прохожих, не слишком, правда, стискивая за локти. Мне показалось на сей раз, что все это производится нарочно, с целью демонстрации — насколько они уверены в себе и никого не стесняются и как бледна по сравнению с ними моя наигранная невозмутимость. Снова никто не заметил, что проводят арестованного.

Мог бы я закричать, заартачиться в ту минуту? Поднять скандал? Воззвать к согражданам? Вырваться и попытаться бежать?... Бегут же воры...

Нелепый интеллигент, я думал только о том, как держаться по возможности приличнее и достойнее. Если бы мне тогда, на троллейбусной остановке, вручили визитную карточку с вежливым приглашением, вне охраны, следовать незамедлительно по указанному адресу, я бы и последовал вежливо, разве что испросив разрешение позвонить в студию МХАТ, с тем чтобы по внезапной болезни мою лекцию отменили. Два волосатых гангстера, что брали меня с таким нахрапом, словно боялись встретить вооруженный отпор, делали это скорее, как я потом догадался, в виде подготовки, внушающей арестованному ощущение полной беспомощности. Им важно было для начала меня хорошо огоршить.

Вообще, где в тюрьме кончается театр и начинается действительность, трудно сообразить, в особенности новоприбывшему, которого с ходу, с воздуха, на свежих еще парах втягивают в интригу дознания разительной игрой светотени. Вычурная, преувеличенно декоративная мрачность каземата, куда ты попал, сгущаясь и сгущаясь, оставляет все же в уме просвет, щель в кабинет следователя, откуда и блещет тебе, в суровой сдержанности, тонкая путеводная нить, ткущаяся стальными предупредительными перстами. И когда к ночи, в тот же день, 8 сентября 1965 года, после допроса, по дороге в одиночку, старичок-надзиратель, напоминающий сухощавого и слишком уже пожившего подростка, велел мне раздеться, присесть и, бесстрастно копошась в моем нательном белье, ободряюще проворчал: "— Ничего, образуется, может еще выпустят..." — я не понял и до сей поры сомневаюсь, хотел ли он по сходной цене поддержать

меня словом участия, думал ли сгладить собственную неловкую роль или был уже учтен и засчитан со своей душеспасительной репликой в системе тюремных контрмер, играющих на нервах подследственного. Прости, старик, если я на тебя согрешил!..

Нельзя постигнуть, мне кажется, исполинские законы тюрьмы без проекции этих стен в какие-то иные, театральные пружины и символы, в условные области сцены, заведомо нам недоступные как осязаемая реальность и существующие лишь в образе домыслов или авторских сновидений. Автор, по временам, волен отрешаться от фактов ради их более полного и могучего освещения, всякий раз, однако, специально оговаривая эти редкие вторжения творческой воли в естественный порядок вещей. Подобного рода возвышенную попытку осмыслить происходившее со мною я предпринял впоследствии в набросках к феерии "Зеркало", так и оставшихся незавершенными. Прошу их не путать с действительной историей моего ареста, о которой я, тем временем, повествую.

Феерия "Зеркало" (в пяти сценах) начинается с пространной ремарки:

"Поднимается занавес. Сцена первая (как и все дальнейшие): кабинет следователя. Он кажется — в первый момент — светлым громадным залом. В помещении пять-семь-пятнадцать человек в штатском и в военном. Все — бурлят. Сквозь матированное окно, в разводах, скачут зайчики, бабочки, оставляя впечатление где-то там, за стеклами, бес-

шумной и бушующей жизни. Сбоку подвесная фанерная аптечка, помеченная красным крестиком. Несгораемый шкаф. Над столом с двумя телефонами, противовесом всему кабинету, роскошное, склонное к разрастанию Зеркало в барочной, золотой оправе, откуда к потолку иногда восходят струйки фимиама, доносятся треск и сверканье небольшой, нестрашной вольтовой дуги, слышатся закулисная сдавленная возня, глухие и отдаленные возгласы.

Сцена открывается пантомимой, исполняемой под патефонный мотивчик, вроде пластинки "Брызги шампанского" или фокстрота "Рио-Рита", популярных в конце 30-х годов в провинции. За минуту до моего появления, штатские и военные, в трансе, нервно жестикулируют, показывая друг другу что-то важное на пальцах, в блокнотах, взгляды-вая на часы и на дверь, куда меня скоро введут, — все похоже на свадьбу, на праздник, когда бы танцующие не застывали мгновениями, уставившись бешеной маской на белую по-госпитальному дверь.

Внезапно музыка глохнет на полуноте, и, жившая в быстром, мимическом ритме, опергруппа распадается на слагаемые, обретая спокойствие благородного гобелена, испокон века свисающего в этих капитальных стенах. Только что сомкнутые в дружный хоровод, мои статисты рассеиваются по кабинету как птицы, — каждый принимает случайную и скучающую, заготовленную позу. Кто рассматривает ногти, кто — потолок. Следовательно-корифей, доселе неотличимый от прочей веселой кодлы, — тигром прыгает в кресло, под Зеркало, за свой дирижерский стол и, меланхолически на-

свистывая, листает бумаги. Воцаряется атмосфера светского, непринужденного общества. Лишь тревожные зайчики, электрические мотыльки снуют повсюду, продолжая прерванный танец. Так бывает летом: в солнечном сером столбе вьются и плещутся огненные пылинки в напоминание о вечности, о свободе бунтующего за окнами мира”.

Затем, согласно замыслу драмы, вводят меня, сорокалетнего мужчину, с портфелем, в мешковатом костюме, с незначительным лицом. Я подавлен.

”Он (погруженный в бумаги, не глядя, сухо и деловито). Садитесь.

Я. Простите. Я...

Он (небрежно и доброжелательно, как своему человеку). Присаживайтесь, Андрей Донатович...

Я. Но я...

Оперативник (ранее смотревший в окно, откуда ничего не видно, резко повернувшись). Сядь, тебе говорят! (Снова отворачивается).

Он (устало морщится, не известно к кому обращаясь — то ли ко мне, то ли в спину Оперативнику). Ну зачем вы так?..

Я (сажусь на указанный мне табурет). Объясните же наконец... (На окружающих). Что смешного? Почему они смеются?.. (Пока я это говорю, все присутствующие начинают смеяться и складываться) ”.

И действительно, до сих пор мне остается неясной механика этого мелкого, откровенного веселья чинов госбезопасности над оказавшимся у них в щипцах, напуганным недоумком. Что это —

опять демонстрация рабочего оптимизма, непробиваемой наглости, смертоносной мощи? Или искренняя радость поймавшего съедобную вошь дикаря? Ведь они же профессионалы!.. Я думал в ужасе первые дни: почему они все время смеются? Какая грубая сила скрыта в них и за ними, каким душевным здоровьем, какой моральной и физической выдержкой необходимо обзавестись, чтобы так смеяться?!.. Позднее, когда я немало посмотрелся горьких и кислых физиономий на той же заклятой должности, я начал склоняться к версии, что этот первичный, неудержимый смех — при виде крайней потерянности попавшего в беду человека — служит, помимо прочего, самозащитой, психической блокадой в работе, вредной и даже опасной для живого организма, вынужденного изо дня в день заниматься сложной, в нервном смысле слова, изошренной и неприемлемой, противопоказанной нашей человеческой природе жестокостью. Так смеются, случается, дети, когда им страшно.

Сведущие люди, причастные к этой материи (сами потом пострадавшие), мне растолковали, что смех следователя, как мастерство актера, вырабатывается годами труда и тренировок перед зеркалом и входит в программу его практического обучения. Смех призван повергнуть объект исследования в пучину всесилия власти и собственного ничтожества. И вместе с тем он легко дается, он вполне натурален, этот смех, — как смеемся все мы над каким-нибудь неудачником, потерявшим штаны, севшим в лужу, не задумываясь над его самочувствием. Впрочем, на страстные мои расспросы знатоки не отрицали и второго поворота:

смех — как средство укрытия и спасения лица (закрываемся же мы руками, когда плачем?); смех — как профилактика и терапия души от заражения мутными чувствами стыда и скорби, естественными в подобных условиях... Лечитесь, чекисты, от сумасшествия — смехом!

— Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Попался?!..

На Лубянке, в большом кабинете, куда меня провели сразу по доставке, даже не обыскав, было полно народу. Казалось, меня ждали как дорогого гостя или сошлись посмотреть, что за зверя к ним привезли. Первый вопрос, помнится, был задан издавека:

— Как вы думаете, Андрей Донатович, почему вы — тут? Вот здесь — у нас?..

Мне было тогда невдомек, что такой же точно вопрос задается ради прощупыванья, в виде увертюры, почти каждому у них новичку, по учебнику, в знак, быть может, особого расположения и доверия к человеку. Дескать, выкладывай все, что знаешь про себя нехорошего, как на духу, пока не поздно. Во всяком случае вы сразу почувствуете себя глупо, неуютно, в двусмысленном положении провинившегося школьника, пойманного неизвестно с чем, но пойманного-таки за что-то серьезное ребенка. Не зря же вас, в конце концов, в самом деле арестовали? И столько устремлено с разных сторон — по радиусам, по диагоналям — внимательных, инспекторских глаз! Извольте отвечать! Вы поджариваетесь на собственной "тайне", как уж на сковородке.

— Подумайте, Андрей Донатович, вы, кандидат наук, без пяти минут профессор, член Союза Писа-

телей, литературный критик, в "Новом мире" печатаетесь, — и вдруг, в одно прекрасное утро, вы оказываетесь у нас... Как вы это себе объясняете?..

Все так и покатались, когда я нехотя, через силу, ответил, что, наверное, им лучше известно — зачем и отчего я здесь нахожусь. Смеялись коллективно.

— А вы сами, сами найдите причину...

— Нет, вы сами попробуйте догадайтесь...

Пробовать я не хотел.

Игра велась, пока кто-то, перестав смеяться, не протянул вкрадчиво: — А имя "Абрам Терц" вам ничего не говорит?..

Ага — то самое!.. Не стану сейчас вдаваться в бессмысленную и унижительную процедуру запирательств, когда несколько дней я вяло повторял, что "ничего не знаю", а они, шаг за шагом, посмеиваясь, уличали меня во лжи. Фактическая картина моей вины была им очевидна. Однако вернее улик работал, цепляя за ребра, логический крючок, которым и плелись в основном эти следственные сети. Логика здесь такая: чем далее я запираюсь, что я Абрам Терц, тем, значит, я виновнее, по собственному моему, внутреннему разумению. А если нет, не виновнее, то что же я так упорствую с ним идентифицироваться, войти в себя, стать, наконец, мужчиной. Чего вам тогда скрывать, Андрей Донатович?.. Голос не повышали. Только майор Красильников, начальник опергруппы, как-то вспылил и прикрикнул: — Не валяйте дурака! Я — старый чекист!..

Интересно, с каких это пор — с Ежова, с Ягоды или с самого Магистра, чей прозорливый образ пе-

чально и укоризненно смотрел на меня со стены.
"Жил на свете рыцарь бедный..."

В КГБ давно не бьют, но с фактами в руках — подвохами, посулами, обманами, угрозами, а главное, логикой, логикой! — загоняют подследственного на дорогу к исправлению, по которой он должен топтать собственными уже ножками в жадно раскрытую пасть — Суда. Потом, уже на Западе, меня, случалось, расспрашивали дотошные специалисты, как мне посчастливилось увернуться от покаяния, от признания всегдашних у нас ошибок и выражений сожаления и, будучи изобличенным, реально, не принять за фактами лежащую на душу логической, могильной плитой, обеспеченную сводом советских законов, каменноугольную виновность. Что я — лучше других? Смелее? Крепче? Да нет, я прожженнее. Мне многое помогло и пригодилось в жизни, о чем я расскажу после, если позволите. А пока, для начала, воздам благодарность Абраму Терцу, темному моему двойнику, который, возможно, меня и доканает, но он же тогда и вызволил и вынес, меня, светлого человека, Синявского, пойманного с позором и доставленного на Лубянку.

Я его как сейчас вижу, налетчика, картежника, сукиного сына, руки в брюки, в усиках ниточкой, в приплюснутой, до бровей, кепке, проносящего легкой, немного виляющей походкой, с нежными междометиями непристойного свойства на пересохших устах, свое тощее, отточенное в многолетних полемиках и стилистических разноречиях тело. Подобранный, непререкаемый. Чуть что — зарежет. Украдет. Сдохнет, но не выдаст. Деловой человек.

Способный писать пером (по бумаге) — *пером*, на блатном языке изобличающим *нож*, милые дети. Одно слово — *нож*.

Почему-то люди, даже из числа моих добрых знакомых, любят Андрея Синявского и не любят Абрама Терца. И я к этому привык, пускай держу Синявского в подсобниках, в подмалевках у Терца, в виде афиши. Нам всем нужна в жизни скромная и благородная внешность. И если бы нас тогда не повязали вместе — в одном лице, на горячем деле, о чем я до сей поры глубоко сожалею, — мы бы и сожительствовали мирно, никого не тревожа, работая по профессии, каждый в своей отрасли, не вылезая на поверхность, укрытые в норе советского безвременья, в глухом полуподвале на Хлебном. И Абрам Терц, наглый, сказочный Абрам Терц, будьте уверены, действовал бы по-тихому, не зарываясь, до скончания дней Синявского, ничем не пороча и не омрачая его заурядную биографию. Он втайне бы наслаждался остротой фабулы, нахал, черпая удовлетворение в одном том уже, что вот он, заправский вор и оторвыш, соседствует по-семейному с честным интеллигентом, склонным к компромиссам, к уединенной и созерцательной жизни, и лишь в виде погашения Бог знает когда и какого комплекса собственной неполноценности взогревшим в душе — этого терпкого злодея по кличке Абрам Терц, кривляку, шута, проходимца по писательскому базару, сказав ему однажды: "давай-давай! не то я за себя не ручаюсь!.."

На причинах подобного раздвоения личности мы, возможно, еще остановимся по ходу пьесы, когда за личность возьмется уже не инженеры, а хи-

рурги человеческих душ, собственно и вскрывшие весь этот злокачественный нарыв или вывих психики и, слово за слово, предъявившие нашему покладистому, уважаемому Андрею Донатовичу меморандум, что по своему приятному имени-отчеству он величается сейчас исключительно из вежливости, по доброте наших безопасных органов, которые давно, после XX съезда партии, уже никого и не бьют, но он-то, наймит империализма, двурушник, перевертыш, сам должен понимать, что никакой он не уважаемый, не Андрей и не Донатович, а доказанный и заклятый предатель Абрам Терц.

На несколько часов отступая назад, добавлю, что тогда, еще в машине, куда меня везли, в ту решительную минуту очной ставки с самим собой, мне никто не помог — ни жена, у которой, у нас дома, я подозревал, идет уже обыск, а мы, как на зло, ни о чем не успели сговориться, ни друзья, мысленно уже перебираемые по пальцам, кого схватят, а кто, Бог даст, отбоярится, отопрется, а кто, быть может, уже и заложил, ни тем более сам я, Синявский, на ком одним этим росчерком и запикиванием в машину ставился размашистый крест. А только он, он, мой черный герой, для пущей вздорности, на потеху, ради того, собственно, чтобы было заранее интереснее и смешнее, и прозванный по-своейски "Абрамом", с режущим закреплением "Терц", лишь он подсказал тогда, что все идет правильно, как надо, по замышленному сюжету, нуждающемуся в реализации, как случилось в литературе не раз, — в доведении до конца, до правды, всех этих сравнений, метафор, за которые автору, естественно, подобает платить головой...

Вы слышали аплодисменты судебному приговору, вынесенному вам и над вами? Когда зал весело, остервенело, разваливаясь до потолка, рукоплещет обвинению, погребаящему вас, жалкого человека, которого сейчас, в исполнение закона, под стражей, выведут из зала суда, но пока еще не вывели, не увели и вы живы, зал, в знак солидарности с наказанием, барабанит от полноты живота, еще и еще раз прощаясь с вами залпами рукоплесканий в лицо, радуясь, что вас замели и присудили справедливо — к пяти годам, к семи, к пятнадцати, к высшей мере — и вам от ответственности уже не отвертеться. Каким бы ни были вы в данную минуту преступником, какие бы прегрешения за вами ни значились, вы порадуетесь, уверяю вас, вы порадуетесь, содрогаясь в душе, что существуют еще люди хуже, чем вы думали, ниже по сравнению с вами, — если смеют так откровенно, по-человечески чистосердечно, праздновать чужое несчастье. Пройдя тот урок, я понял — понял и перенял — презрение казнимых к казнителям. Последние, не ведая того, перекладывают на себя приговор, отмеренный бедному грешнику: с больной головы на здоровую. История, быть может, только потому и продолжает развиваться, что мы, без зазрения совести, посылаем с эшафота депеши в будущее, все дальше и дальше, приветственными жертвами...

И вы заговорите, вы мысленно заговорите о себе в третьем лице, кожей ящерицы, искупавшись в чаше Суда, почуяв себя очищенным, а это они, аплодируя сдуру, вышли в лидеры, в убийцы, без цели и корысти, ради сомнительной славы вываливания на прилавок собственных оголтелых кишок.

В чаше рукоплесканий, единственным порывом души, обвиняемый постигает, что все, что ему наматывают, он сделал правильно и не даром, и так им и надо. Поэтому, между прочим, теперь я сторонник смертной казни: так им и надо!

Громче всех работал ладонями, сидя в первом ряду, Леонид Соболев, писательский босс (я узнал по фотографиям его отечное, с кровью, лицо), написавший "Капитальный ремонт" и путивший ко дну доносами не одну, говорят, эскадру. Сейчас эта наша плавающая литературная Цусима, не уместаясь в креслах, тряслась, в предсмертном ожирении сердца, лыбясь — не до ушей, до плечей, до расставленных по-бабьи ляжек. Эластичные, кокосового цвета, как перчатки боксера, щеки ходили ходуном, вперемешку с ладошами. И я радовался за Соболева, что старая квашня так наглядно и щедро оправдывает убытки, причиненные русскому военноморскому флоту, которые, в итоге, тоже войдут в водоизмещение...

Но это я теперь так спокойно рассуждаю, входя в эмоции хлопающих, которых, в конце концов, тоже можно понять. А тогда? Тогда, все предугадав, все заранее, казалось, измерив разгоряченным воображением, я пасовал при мысли, слишком приближенной к нам и потому невыносимой. Как смеют эти миряне, да будь мы с Даниэлем, в их головах, пособниками самого Сатаны, предаваться на глазах у нас, не таясь, кровосмесительной оргии? А ведь знал же я варианты куда более страшные. Знал расстрелы 30-х годов. И как рукоплескали писатели, включая самих гуманных... Фейхтвангер, Драйзер... А врачи-убийцы?.. Я вырос на этих врачах!.. А..

— Что ж ты из себя целку строишь? — неожиданно и как-то цинически спросил Абрам Терц. — Так им и надо! Пусть пируют! Любуйся! Ты к этому привык. Ты к этому стремился, готовился — как к последнему утолению в жизни. Сам накаркал: фантастика!..

— Да, да, — отвечал я в рассеянности, жадно высматривая, что творилось в зале, и отдергиваясь, как от ожога. — Да, правда, я писал... Но кто же думал, что это настолько реально? Чтобы люди так оголялись? Непорядочно...

Аплодисменты не смолкали. Аплодисменты наращивались. Зал, рукоплеща, испражнялся негодованием — мне в поддержку, в отмщение, что все, что я написал, я написал правильно и даже мало. Закрадывалось, еще мгновение, и сам я зайдусь в овациях по поводу адекватного надо мной и Даниэлем суда. По отношению к человечеству. К жизни, наконец. И вообще... Действительность, как это бывает иногда, перебарщивала с гиперболами, напоминая не в первый раз, чем следует от нее при случае обороняться...

— К человечеству?.. Непорядочно?.. — шипел Абрам Терц. — Но разве не ты писал, чорт тебя возьми, что с человеком давно покончено? Не ты ли перекрестил человека рукою чорта?..

Он намекал на рассказ "Квартиранты", мерзавец. Там я очернил, говорят, честных советских людей, сравнив с нечистой силой...

— Но я не могу понять — как они могут?.. Слышишь? — Опять аплодируют!..

— А как же — гладиаторы?..

При чем тут гладиаторы? Я был озадачен.

Лишь много после, в лагере, до меня дошло: роман Джованьоли "Спартак", читанный в раннем детстве. Помните, читая роман "Спартак", мы были за рабов и ужасались римскому праву поворачивать книзу большой палец руки, чтобы там, на арене, добили побежденного? И мы дивились — как они могут?! А они — могли. У них текла, между тем, своя нормальная, римская жизнь, ничуть не хуже нашей, и был заведен порядок, убивать или не убивать проигравшего, повернув большой палец туда или сюда, в зависимости от изъявления, если публика попросит. И публика, если хотела, просила. Это было демократичным. А рабы? Подумаешь! Раб Эзоп. Платона тоже, судя по слухам, кто-то продал в рабство и купил, допустим, коня... Покуда знатный торговец из дальнего города Риги, командированный в Мордовию, на студебеккере, за товаром (мы делали автомобильные пальцы), за хорошую погрузку, узнав, что я тот самый, пропечатанный в газете, писатель Синявский, не сунул втихаря, гордясь и конфузясь, мне пачку папиросок "Прибой", — я не подозревал, какой я писатель и в котором мы встретились веке, покуда, тоже гордясь, не спрятал папиросы за пазуху.

История расплывается за нашей спиной и становится расплывчатой. Будто ее и нет, и не было никогда. Мы в историю не очень-то верим: чтобы настолько серьезно?! "—Но это же — история!" — сказал с удивлением следователь Пахомов, словно про какую-то басню, когда я ему напомнил что-то из Римской Империи, которая тоже, несмотря ни на что, развалилась... И впрямь, при чем тут история, если мы не умерли? Точно так же, со временем, она

отменит и нас. Мы войдем в нее беспризорными, призрачными контурами: разве это реально, возможно? Какие рабы? Почему гладиаторы? Но все это я потом оценил. И зал суда, и судью Смирнова, и Пахомова, и генерала Громова, грозу Дубровлага, приблизивших меня, крупницу, к пониманию всемирной картины, с которой мы при всех стараниях, как выяснилось, не порвали и не ушли далеко от романа Джованьоли "Спартак", от старика Октавиана. Доколе крыло истории не коснулось тебя острым крылом ласточки, ты и не поймешь никогда, насколько она касательна, насколько она крылата, история, с пачкой "Прибоя" в заглавнике, если нечего курить, и нет границ между нами, две тысячи лет пролегло с тех пор или четыре года...

Боже, как раскалывается голова! Громов, командарм над Мордовскими лагерями, чье имя, внушая ужас, ложилось шаром в историю, генерал Громов, начинавший с собаководства в тех же лесных завалах, стрелявший зеков как собак, — когда умер Сталин и тысячные зоны скандировали, наводя тоску на окрестности: — Ус — сдох! Ус — сдох! — с выдохом на "сдох", как искусственное дыхание, раскатывая по лесам и болотам: — Ус — сдох! Ус — сдох! — а следом, эхом, в газетах, расстреляли Берию и гигант-материк-генерал-Дубровлаг зашатался, — Громов торжественно, как на параде, при всех регалиях, гордый, громадный, уже полковник, красивый, так что жалко убивать, вышел на эстраду. Вокруг кипело серое бушлатное море, но, судя по всему, он знал, как себя поставить:

— Товарищи!

Лагерь замер. Неужели не ослышались? Неуж-

то все прощено, все отпущено, товарищи, и мы вернемся назад, по домам, на родину, к исходной точке? Случалось. Товарищ Сталин тоже однажды вспомнил: "— Братья и сестры!" — тоже в трудную, в критическую для страны минуту. Шкурой собаководы учуяв, что иначе не проживешь и ничего не остается в запасе, как сослаться на бывшее родство, начальник Дубровлага воззвал:

— Товарищи!..

Пес! Давно ли на оговорку новичка-арестанта: "товарищ старшина", "товарищ лейтенант", "товарищ полковник" — Громов огрызался и хорошо, что не стрелял: "— Брянский волк тебе товарищ!"? Давно ли отец мой, в Бутырках, женщине-врачу, тоже в возрасте, по советской размазне и либеральной закваске, пожаловался: "— Товарищ доктор! Плохо с сердцем..."? И та, бронзовея лицом, поженски выпрямляясь, отрезала: "— Вам я не товарищ!.." Как они боялись запачкаться!.. И вдруг — как в детстве, как "власть Советам":

— Товарищи!

Так ведь и правда! Так ведь же ж и революция с этого начиналась. Разменявшая царя, господ, генералов на равных, по-братски, "товарищей"... Врешь! В лагере, в наше время, мы звали уже себя "господами". Без дураков — господами! Мистер, пан, сэр, сударь, браток, земляк, — что хотите, лишь бы не — товарищ! Пусть сами хлебают своих товарищей. С нас хватит. Брянский волк вам товарищ!

Но тогда, о чем я сейчас рассказываю, шел еще ранний, шел еще только самый первый, 1953-й год, и лагерь замер:

— Товарищи! Перед вами Громов...

"Громов", "Громов" — гремело по лагерям. Да кто его не знал, кто его не помнил, удава?! Он выставил грудь, полную орденов, словно предлагая стрелять. Видно, после Берии крепко, змей, перебздел и сам рискнул повернуть:

— Перед вами Громов! Громов! Тот самый Громов, который вас истязал, товарищи, — да, истязал! — по указке преступной банды Рюмина—Абакумова—Берии!..

Он выдержал долгую паузу, чтобы все осознали, на что у него повернулся язык.

— Но перед вами, товарищи, не тот Громов, которого вы знали вчера! Перед вами — другой Громов!..

Потом он клялся партбилетом, офицерской честью, жизнью дочери и чем-то еще, что это не повторится. И все заклинал: товарищи! Он — переживал. Он был, как мессия, в сиянии, но не выходил из себя. Он знал, как звучит, сколько весит его имя, и от ранга не отступал. И говорил размеренно, твердо, властно, разом взяв на себя грехи и разом всё искупая — товарищи!.. Он мог бы призвать в свидетели мертвецов — на том же основании, с тем же спокойствием... Товарищи, себе не веря, таращили глаза. Под прикрытием пулеметов он позволял себе еще немного покуражиться, а лагерь торжествовал. Лагерь запомнил речь полковника Громова. Многие годы она передавалась, как сказка, из уст в уста.

— Перед вами не тот Громов, которого вы знали вчера! Перед вами — другой Громов! — Ого-го! Другой Громов! Тот же Громов! Другой! — несло по зонам.

Я видел Громова в той же Мордовии через шестнадцать лет после достопамятной речи, пересказанной старыми зеками. К моему времени он стал уже генералом. Красавец, в папахе, так что жалко убивать, он приказал согнать нас к эстраде и произнес громогласно, как бывало, потрясая кулаками:

— Погодите! Придет еще на вашу голову — Берия!..

И снова пошло, зашумело по лесам и болотам: Громов! Тот самый Громов! На нашу голову!..

Придет еще на вашу голову — Берия! — это сказал генерал Громов, начинавший с собаководства, приобщаясь к римской империи...

... Мое повествование, вижу, удаляется от меня прыжками кенгуру и возвращается вспять, падая к ногам, наподобие бумеранга. Должно быть, это заложено в его характере, основанном на усилиях памяти привести героя и автора в осмысленное единство, связать концы с концами в стройную причинную цепь, где развитие во времени не столь уж обязательно. Разве каждый из нас, перебирая в душе прошлое, не скачет взад и вперед по измеренному отрезку, пытаюсь схватить глазами отпущенное человеку пространство сразу с нескольких точек еще движущейся жизни? Или мысленно мы не возвращаемся к событию, к себе самому, к близким, к недругам, к тем же снам, по старому адресу, всякий раз наново? Былое непостижимо вне этих перемещений. Оно утекает у нас сквозь пальцы, как только мы принимаемся строить ему памятник. В жажде рассказать по порядку, год за годом, день за днем, все, что выпало нам на веку, мы

невольно кривим душой против фактической правды, которой в данном случае все же лучше придерживаться. Тем более, в обстоятельствах несколько чрезвычайных... Добавлю в оправдание, что в перескакивании с места на место по биографической канве мною руководили не пристрастие к занимательности и не природная склонность к естественному беспорядку, а, напротив, неутоленное желание писать как можно более точно, строго и рассудительно. Опыт реконструкции собственной литературной судьбы требует от автора даже того, что именуется в науке точностью и чистотой анализа. Не обещая линейной последовательности в ходе изложения, я все же стараюсь ни на йоту не отступать от подлинного рисунка событий и коллизий, которые мне подарила действительность.

... 8 июня 1971 года, спустя без малого шесть лет после ареста, я возвращался домой, на свободу, в состоянии, пожалуй, не менее беспомощном и ошеломленном, нежели когда начиналось это цирковое турне. С женою, меня встречавшей у тюремных ворот на станции Потьма, мы сели в мягкий вагон поезда "Челябинск—Москва", являя для окружающих вид забавной экзотической пары. На радостях, как пьяные, мы не обращали внимания на косые взгляды проводницы и скучающих пассажиров и, может быть, мстили невольно и немного бравировали не нами сюда занесенным классовым контрастом. Жена, еще довольно хорошенькая, живая, в очках, в розовых кофточках, в брюках европейского кроя, рисовалась изящной цветочной вазой рядом со мной, зачумленным стариком, пропахшим тяготой и бескормницей, в промасленных шта-

нах (меня взяли с производства), в долгополом бушлате и зековской, запакощенной, еще с немецких военнопленных должно быть введенной в униформу пилотке, с дурацким козырьком, за свою противоестественность снискавшей прозвание "пидерка". Два инженера в купе, в пижамах, игравшие в шахматы, приняли нас весьма благожелательно и помогли задвинуть в багажник самодельный деревянный сундук, громоздкий и неподъемный, если б не эти бицепсы. Однако мое вторжение в сочетании с молоденькой дамой раздражило любопытство, и, едва жена побежала умываться, они кинули наживку:

— Сложно было с билетами на вашей станции?

Прозрачно звучало, что я тут не по чину, и, если б не перебои с билетами, не сидеть нам вместе в приятном обществе, в одном мягком купе. Но мне уже был сам чорт не брат. Меня веселила прямота разговора на равных с этими ни хрена не понимавшими вольняшками. Покуривая "Лайнер", я тоже забросил крючок:

— Нет, не сложно. Нам вне очереди. Всем, кто выходит из лагеря, билеты вне очереди. Чтобы лишнего не задерживались... Из лагеря...

Это была правда. С Потьмы освобождавшихся старались побыстрее спровадить по месту надзора, во избежание неприятностей. Случалось, колеблясь и тоскуя перешагнуть заветный барьер, зек по выходе немедленно напивался и держал возмутительные речи на станции во славу тех, кого он оставил за проволокой. Я видел, как мальчишка, окончивший срок, которого мы провожали глазами со штабелей железа и леса, не мог далеко отойти от вахты

и порывался обратно, к воротам, откуда его, ругаясь, гнали надзиратели, и вновь ковылял к станции, садился на дорогу, и плакал, а мы ему кричали со штабелей: "Иди! Двигай!" — и он вставал, пошатываясь, и крестил нас, и плакал, и снова, как помешавшийся, бежал назад к вахте... И вот меня спрашивают что-то невероятно бездарное на тему железнодорожных билетов, не тяжело ли, дескать, с билетами, и я уже предвкушал, что отвечу, как врежу, если они посмеют общение с темным типом, как я, ввалившимся прямо из лагеря.

— Из лагеря?! — как эхо, отозвались инженеры.

— Да, по всей этой ветке расположены лагеря. Разве не знаете?

И я повел рукою в окно на мимобегущие густые леса, словно был тут старожилом.

— А что, — спросил один с уважительным состраданием, явно не желая меня обижать, — трудно на лесоповале?

Вид у меня, действительно, был довольно умученный. Или они пытались срочно сообразить что-то когда-то слышанное из прошлого нашей родины: лагерь, лесоповал?.. Я быстренько прикинул, как ликвидировать отсталость. Нашего брата на лесоповал давно уже не выводят. Работа — только в зоне. Для наилучшей изоляции. Категория "особо опасных государственных преступников"...

— Особо?! Опасные?! Государственные?! Преступники?!

— Ну да! Те самые, кого раньше называли — "политическими"...

Они офонарели. Вот такие шары! Впервые ви-

дят. Мне-то, признаться, хотелось их задеть. Оскорбить. Пусть оглянутся. Но они не испугались. И мне тоже вдруг сделалось интересно: почему не испугались? что они знают о нас? о чем думают?..

Уже в поселке и на перроне, в ожидании поезда, я исподволь наблюдал это новое, неведомое мне племя выросших на свободе, на сытых харчах, сограждан. В мое отсутствие многое в стране заметно переменялось. Молодые люди начали одеваться. В моду у мужчин, под влиянием Запада, входили женские локоны, усики разных фасонов и аккуратные баки. С прическами я мирился, усы откровенно приветствовал, но круглые, ровной котлеткой, бачки, словно пересаженные на размятую, как валенок, грядку с другого полуострова, меня бесили. В голове вертелась проблема: "Откуда на Руси повелись баки?" и всплывали имена Чичикова, Манилова, Добчинского-Бобчинского, — должно быть, под впечатлением Гоголя, о котором я намеревался писать. Наши инженеры тоже были в бакенбардах...

— И долго вы пробыли в лагере?

— Нет, не долго. Пять лет, девять месяцев.

Эхо подсказало, что это, по их понятиям, — громадный срок.

— Вы, наверное, — за религию?

На примете имелась, конечно, моя неприбранная борода. Они беседовали со мной осторожно, деликатно — как со Снежным человеком. Религия была в их глазах непролазной чертовщиной, что до некоторой степени отвечало моему загадочному появлению здесь. За религию каких-то сектантов, изуверов, дикарей, может, еще и судят...

— Нет, не за религию — за литературу.

— За литературу?!..

На этом вернулась жена из умывальника, и разговор как-то сам собою увял. Литература оставалась для них за семью печатями. При чем тут литература? Литературу изучают в школе, печатают в журналах... Все это не умещалось в сознании наших славных попутчиков, и они непритворно начали зевать по сторонам, как малые ребята, когда им долго рассказываешь о чем-нибудь отвлеченном. Все мы теряем внимание к заведомо нереальным вещам.

Все-таки наблюдался прогресс. Не было брезгливого страха при виде "политического". Они не чувались, не презирали, не избегали меня. Сталинские порядки уплыли в область преданий, помнить о которых было не актуальным. Инженеры скорее сочувствовали мне, как человеку претерпевшему. За сочувствие теперь ничего не причиталось. Но дальше этой черты дело не пошло. Люди вполне современные, они были безучастны к тому, что не касалось действительности. Им было не до тюрьмы, не до художественной прозы... Да, что-то читали о судебных процессах, что-то мелькало в газете. Но какое все это имеет отношение к жизни, к столице, куда они устремлялись, полные рвения, по служебной командировке, из загвазданного Челябинска? Вот если бы я мог подсказать, где в Москве найти плащи-болонья!.. Огромный лагерный мир, дымившийся у меня за плечами, для них не существовал...

Назавтра, приближаясь к Москве, мы уже не разговаривали. Соседи засуетились и перестали нас замечать, погруженные в чемоданы, галстуки, за-

понки, прицеливаясь к встрече с разборчивым московским начальством. Чтобы не отсвечивать, мы вышли с женой в коридор, к свободному боковому окошку. Мне тоже хотелось — без посторонних — свидеться с Москвой.

Странно, сколько раз, да и всякий год, в прошлом, подъезжая к ней, я испытывал подъем и восторг при одном лишь беглом прочтении на стендах ее незамысловатых предместий — "Удельное", "Тайнинская", "Мытищи", "Вешняки", и стоило уехать на месяц, как мне уже не терпелось, горело, воображалось, что вот она скоро объявится за железным полотном и жарко охватит — Москва! Сейчас, прильнув к стеклу, я внимательно изучал нараставшие по ходу поезда горы знакомого придорожногохлама, всю эту, ничего не говорящую сердцу, кипяченную смесь дачных декораций из оперы "Золотой Петушок", водокачек, составов, цистерн и станционных полигонов, усеянных репейником ржавых заграждений. Родина с грохотом обрушивалась на мою стриженную под машинку, незащищенную голову, заставляя с непривычки отшатываться, как от пощечины, когда на внезапных стыках разбежавшихся железнодорожных путей вклинивались с разгона в окно вагона семафор, колонка или крашенная нога высоковольтной передачи.

— На тебе! на! Получай! В челюсть! Под ложечку! Снова в челюсть! В глаз! По башке! Семафор! Терракотовый пояс! Колонка! Под дых! Платформа! Ты еще пялишься, падаль?! В ухо! В зубы! В глупую, в обращенную в кровь морду! В воющий рот! Семафор! Еще раз в зубы! Столб!!.. И сплошным обвалом беспамятства — в хрусте костей — кромешная темь тоннеля...

Я зажмурился, покачнулся... Уф! Мы вылетели из-под земли.

Давно, в послевоенные годы, мне снилось несколько раз, подряд, что Москва захвачена немцами. Удивительное чувство: ты виден как на ладони. И в закрученных, как раковина уха, переулках, в проходных дворах, обеганных с детства, за попойками, с черного хода, — уже не укроешься: найдут! Похожее превращение родной скворешни в Берлин я сейчас наблюдал воочию... Нет, Москва была не виновата, что процесс моего отщепенства зашел так далеко. Да и мысли мои несколько не изменились: я попал в тюрьму зрелым уже человеком. Изменилось ко мне отношение мира, в котором я некогда жил, возвращенного, казалось, с довеском, с угрозой — как бомба замедленного действия. Может быть, оттого, что меня освободили досрочно, без предупреждений, как взяли, и я не успел настроиться на другой порядок вещей, свобода мне давалась с трудом. Ах, как бы пригодилась теперь шапка-невидимка, добрая маска Абрама Терца! Но мой напарник был разоблачен. Шапка — конфискована...

Подмосковные павильоны вставляли оцеплением и вышками новой зоны. Все было предусмотрено к принятию этапа в составе одного арестанта, к непрошенному моему визиту в стольный город, расставивший свои рогатки и транспаранты за сорок километров до собственного порога. Я-то знал назубок эту бойкую замашку Москвы все, на что ни ляжет глаз, метить своими когтями. Но то, что раньше забавляло и будоражило меня, ныне внушало затаиваться и держать ухо востро перед этим зверем,

напуская на себя если не презрение, то такое же холодное, хищное безразличие, с каким он заглатывал нас своей каменной пастью. Вот уже пошли плясать шестиэтажные корпуса с новомодными низкорослыми окнами, с бетонированными балконами, похожими больше на камерные намордники. Стрельнула глазами реклама "Универмага", проехал первый трамвай, и в то же мгновение грянула по вагонам молчавшая дотоле в тамбуре радиолоа: "Нас утро встречает прохладой!.." А в лицо била с радиоточек вокзала другая, встречная песня: "Кипучая, могучая, никем не победимая..." Москва! Через столько эпох и народов — опять Москва!

Где-то, на этом конечном перегоне, у меня отказали глаза. Для справки прилагаю очерк с мало-важным эпизодом, полезный главным образом как повторение вышеизложенного — в ином повороте или с несколько другой резкостью наводки. Быть может, его преувеличенная точность позволит мне ухватить, наконец, ускользающую ниточку смысла, которую так боишься потерять за приходящей в ожесточение жизнью. Попробую.

ОЧКИ

Как я потерял зрение, я не знаю. Буквально так. Меня переправляли столыпиным из лагеря в лагерь, по этапу, и вдруг запятели без объяснений в местную узловую тюрьму и, поморив сутки-другие взаперти, выбросили на берег, на волю. В общей сложности вся процедура продолжалась часов тридцать-сорок. И это не так долго, если бы на сле-

дующий день, уже к вечеру, я не очнулся свободной тюремной крысой на захлавленной станции — Потьма.

Но прежде чем перейти к новой фазе в моей биографии, я должен вернуться к началу, в одиночную камеру, куда меня втолкнули в потьминской пересыльной тюрьме и где я провел счастливые часы жизни, не подозревая, зачем меня сюда завезли. Я не ждал, что за воротами мне маячит уже, карячится Москва, и я начал обживаться, как обычно обживаются бывалые арестанты, попав на этап, — стучать в кормушку, кричать: "Начальник! жрать охота! пора обедать! и скоро ли, наконец, выведут меня в туалет?!"

Начальник, пожилой, краснощекий и тоже битый в наших делах старшина, похожий на Буденного, но толще и меньше ростом, с седыми, заправленными к самым бровям усами, дежуривший не по всему каземату, а только по одному нижнему его этажу, сейчас же отозвался и пригрозил мне весело карцером, если я не перестану орать, поскольку горячего мне сегодня не причиталось, бумаги на меня не оформлены и вообще еще не известно, кто я такой. К ночи он сжалился и сам, личной властью, вывел меня в уборную, а также сунул, не глядя, вечернюю пайку хлеба вместе с железной кружкой безвкусной, тепловатой воды. Вообще, я заметил, он был незлым, неопасным, притерпевшимся к тюрьме человеком. Он больше страшал и ругался, чем действовал по уставу. Я смирился.

Так ошеломляюще, невероятно звучало его извещение, что со мною толком не знают, как быть и куда отправлять, что я никто, ничей и вро-

де бы вне закона, эта новость была так легкомысленна и соблазнительна для меня, привыкшего ходить под конвоем на работу и таскать проклятые ящики, что я поклонился в душе этому благословию свыше — не думать, что будет завтра, не ведать, что станет со мною, и жить, повинаясь волне, выбросившей меня, старую прогнившую рыбу, в тихую глубоководную заводь потьминской пересыльной тюрьмы. Нет, надеждами на свободу я не обольщался. Я желал одного — отделаться от выматывающего душу труда. И просидеть несколько дней, может быть неделю, если повезет, в спокойной одиночке, на перекрестке дорог, не работая, представлялось мне незаслуженной и неожиданной улыбкой судьбы, вроде ничем не оправданного, выпавшего по ошибке выигрыша в лотерею. Не только сердце — кости мои пронзило чувство безгрешной, сверхъестественной неизвестности. Будь что будет, а мы куда покурим!

Я оглядел исподлобья мою обитель. Она была сурова, она была правдива, эта дарованная мне Богом жилплощадь. Нары доходили до двери, и, сидя, я упирался в железную обшивку коленями. Было холодно, и свет лампочки, забранной в сетку высоко под потолком, чтобы до нее не дотянулись длинные руки урок, едва ли согревал помещение. Мнилось, электричество не рассеивает здесь, но нагоняет мрак. Лампочка словно чадила, насилуя себя, вкрученная в почерневший от времени и многократных перегораний патрон, трепещущая, как душа человека перед смертью, — дряблая игла, нечистая нить, закосневшая в угрызениях совесть...

Затем, почти машинально, я обежал стены в

расчете прочитать, как случилось, заскорузлые подписи тех, кто раньше, до меня, ночевали в этой дыре, препровождаемые дальше, по трассе. И тут же подивился мрачному искусству строителей и еще яростнее, нестерпимее — не то, чтобы возненавидел их, но — отринул от сердца. Камера сверху до низу была изъедена мелким рельефом, словно затоплена морем вздыбленных каменных волн. Писать по этой коросте было невозможно. Острые, кремневые гребни ломали любой карандаш, пожирали рисунки и символы. Ни крест начертить, ни бранное слово, ни имя, ни число предполагаемого отъезда, расстрела...

Тогда я извлек грифель, предусмотрительно зашитый в бушлате, и подержанную газету "Известия", которую, по прибытии, как заядлый курильщик, позаботился отклянчить на шмоне у грозного моего старшины. На газете, точнее на газетных полях и кое-где между строчками аккордных заголовков, не выпуская из вида круглый дверной волчок и густые пещерные отложения по стенам, я принялся неровной рукой наносить беглые знаки. Я сочинял, я писал, прекрасно понимая, что так не пишут, что все это ни к чему, и нары, на которых я примостился, поджидают других арестантов, более, может быть, достойных и наторелых в писательстве, чтобы помочь им не менее ловко сложить веселые головы. Я был безжалостен в ту минуту — и к тем далеким безвестным собратьям, грядущим по извилистым этапам России, и, слава Богу, к себе.

О чем я писал тогда, я уже не помню, и вряд ли из-под грифеля вышло что-то серьезное. Слишком я был раздражен, очарован этой невозможной сте-

ной. С чем ее сравнить, с какой архитектурой? Она исключала малейший намек на пребывание здесь человека. Цементный пол в потеках и засохших плевках был проще ее и покладистей. Если б базальтовая скала, харкающая лавой, вздумала однажды рассказать о нашей посмертной судьбе в преисподней, она бы, я полагаю, прикинулась этой стеной, этим морем курчавого, разозленного дьяволом камня. Казалось, я угораздил в тот самый ад, который мечтал повидать, над которым посмеивался в ослепленные прожектором ночи лагерных аварийных работ, когда грузили железо под жестоким дождем и ноги разъезжались по трапу, грозя пропороть живот, вывихнуть и раздавить позвоночник несносной, не поддающейся смыслу и осязанию кладью, а я самонадеянно, осмелев, подмигивал осатаневшим ребятам, что это, дескать, еще не ад, а всего-навсего чистилище, — так вот ад, казалось, настиг меня наконец и проступил сукровицей сквозь расчесанную до крови, замешанную на серной, на царской кислоте землю.

А тюрьма между тем жила — полнее и вдохновеннее, чем мы живем, чем вы живете у себя дома. Снаружи тюрьма представляется средоточием отчаянья, бездействия и безмолвия. На самом деле это совсем не так. И перистальтика этапов куда напряженнее изнеженных европейских страстей, шоссейных лент, авиалиний, хоккейных и футбольных матчей, вашей почты, кино и вашего телеграфа. Впоследствии, много лет спустя, опускаясь в подпольные притоны Парижа, впутываясь в карнавалы Италии, на корридах в Мадриде, созерцая высокомерную эрекцию торговых контор и межве-

домственных небоскребов Америки, я никогда уже не встречал этот стиль, этот ритм, этот стимул жизни, каким страшна, притягательна и отрадна тюрьма.

Эфемерные, картонажные стены моей камеры содрогались. Я был мальчишкой со своей страстью к писательству по сравнению с этим стосильным, тысячеглавым эхом, которое разносилось по гулким сводам собора, пускай не столь прославленного, как Лефортово, Лубянка, как взбудараженная залпами ночных этапов Матросская Тишина. Но, сидя в отсеке захолустной пересылки, я уже почитал себя клеточкой, молекулой огромного Левиафана, плывущего в даль истории, без огней по бортам, но с огнями внутри, в трюме, с толпами поглощенных, проглоченных и все еще ликующих узников. Визг женщин, смех, пение, женские залиvistые переключки с мужчинами, которые не отставали и устанавливали контакт с минутной подругой по слуху, по мелькнувшей в уме, в недостижимой памяти юбке, ругань, шум зачинающейся игры или драки, куда наш старшина кидался, как лев к обедне, для того, чтобы поглазеть, а потом и наказать сцепившихся в мокрый клубок борцов, во избежание смертных исходов, — все слагалось в мерную, легкую дрожь, пробегающую по камню, словно по коже чудовищного животного. Только со второго, судя по всему, этажа членораздельной речью дохлестывались стоны и вопли какого-то сумасшедшего, бывшего в железную клеть, должно быть, всем телом и доказывающего под общий хохот, что он ни в чем не виновен. Помнится, он требовал к себе немедлен-

но, сию же минуту, доктора и прокурора. А то он повесится! А я — записывал, записывал...

Когда я свалился в Москву, был, к моему сожалению, яркий, солнечный день. Вольняшки, как ни в чем не бывало, разгуливали по воздуху и делали, что хотели. Если бы погода была ненастной и народу поскромнее, город, возможно, не произвел не меня подобного впечатления своим режущим светом, который лишь увеличивался в присутствии чистых лиц, улыбок, расписных витрин и костюмов. Я пожалел, что у меня при себе нет черных очков. Шума я не слышал, но поле зрения было перегружено красками праздной, разодетой Москвы, так что голова кружилась и хотелось поскорее пройти незамеченным сквозь это гуляющее царство и спрятаться в какую-нибудь темную подворотню. Я опускал глаза в тротуар, чтобы их не видеть, и все же невольно фиксировал похожих на тропических птиц, на бабочек, на цветы мужчин и женщин, порхающих по накатанным до паркетного блеска панелям, умноженных зеркалами магазинов и автомашин. Мимо меня прогарцевала, ласково стуча каблучками, миловидная девушка с гордым лицом индейца, в коротенькой пурпуровой юбочке, едва прикрывающей бедра, с черным конским хвостом волос на затылке, которым она потряхивала в такт походке. Недоставало дробика в тонкой, смуглой руке. Должно быть, торопясь на свидание, она несла свой торс через весь город, как боевое знамя, — даже как-то немного впереди и выше себя. И я отвлеченно подумал, как дорого заплатили бы за этот сеанс у нас в зоне, пройдишь она там так же бескорыстно и независимо, как проходит передо мною сейчас...

У себя дома я кинулся к полке с книгами, по которым извелся за годы командировки, и не для того, чтобы читать, а просто так, ради свидания с ними, взял и раскрыл одну и даже загадал, что открывшаяся страница послужит мне чем-то вроде пророчества в моей новой, беспокойной судьбе. И только тогда заметил, что глаза у меня поехали и я не различаю самые обыкновенные буквы, хотя вчера читал и писал без видимого усилия. Отставил книгу на метр, на полтора и лишь с дальней дистанции едва разобрал цитату, показавшуюся мне неуместной и неостроумной насмешкой над человеком в моем положении. Это был Лермонтов, и строки мне запали:

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан...

Безусловно, потеря была невелика, в особенности по сравнению с дарованной мне свородой. Все люди в моем возрасте страдают глазами, и как я до сих пор удосужился не ослепнуть, уму не постижимо. Но я ломал голову и зачем-то порывался поймать, в какой момент именно мое зрение отказало. То ли в последнюю ночь, на пересылке, когда я царапал грифелем по газете, надеясь перекричать и вместе с тем увековечить абстрактные голоса на стене, то ли немного позже, при виде столличной толпы, слишком яркой и радостной для моего потемненного ока. Либо, может быть, за пять-десять минут, исполненных страха, растерянности и злобного восторга, покуда мне зачитывали спущенный свыше приказ о досрочном освобожде-

нии, в которое я верил и не верил, принимая за новый подвох, за какую-то очередную шахматную задачу наших тороватых на подобные штуки владык.

Гусар! ты весел и беспечен,
Надев свой красный доломан...

И я заплакал — не над своей слепотой, из-за которой, повторяю, не было причины расстраиваться. И не по безвременной молодости, которой, прямо скажем, было не так уж много. А по вставшему внезапно в сознании *седлу*, как я это назвал, разделившему меня на две половины, *на до* и *после* выхода из-за проволоки, — как будто предчувствуя, как трудно вернуться оттуда к людям и какая пропасть пролегла между нами и ними. Я плакал и видел *седло* в образе и форме очков, которые я надену в знак непроходимой границы, в память о газообразной, струящейся письменами стене, голошащими неустанно — и всё о море, о море...

И действительно, с очками, по-видимому начался у меня перевал к чему-то не вполне основательному, не совсем нормальному в жизни, и все, чем я обладал во вне и внутри себя, мне как-то не удавалось схватить ни зрением, ни сознанием. С очками вообще поднялся в доме переполох. "Очки! Очки!" — кричала жена в телефон, названивая в Донецк, нашему старинному другу, имевшему связи в Лондоне, умоляя, по знакомству, выписать из-за границы точную английскую оптику. Тот не понимал, о чем речь, пугался, переспрашивал, а жена кричала:

— Очки! Даю по буквам: Ольга, Чекист, Константин, Ирина... О-чки!

Первое время я пользовался чужими очками, одалживая у друзей, либо чаще, для чтения, большой увеличительной лупой, в какие дети рассматривают бабочек и марки. Этому инструменту надумил меня покойный дед со стороны матери, Иван Макарович Торхов, полуграмотный крестьянин, все последние годы своего преклонного возраста посвятивший уединенной молитве и перечитыванию Святого Писания с помощью зажигательного стекла, которое я, тогда ребенок, летом ему подарил. Как сейчас вижу, в деревне, доброго моего старика, который еле-еле передвигал большие калоши, но, восседая на веранде, бодро ползал по буквам и шептал по складам прекрасные имена, звучавшие для меня, безбожника, забавной абра-кадаброй:

”Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и братию его. Иуда же роди Фарéса и Зáру от Фамáры... Езеки́я же роди Манас-си́ю. Манасси́я же роди Амóна. Амóн же роди Иоси́ю: Иоси́я же роди Иехóбию и братию его в преселение Вавилонское...”

Впрочем, деду было несложно читать и перечитывать тугую славянскую вязь, поскольку, я понимаю, он знал ее на память и держал перед глазами Евангелие больше из уважения, ради телесного к нему и душевного прикосновения. Мне же, напротив, посредничество очков, привезенных вскоре из Англии, мешало общению с книгой, потому что, признаться, когда я читаю, либо пишу, я предельно откровенен, я снимаю маску, привычно носимую в

жизни, я мысленно разоблачаюсь в приязненном склонении к тексту, а здесь меня вынуждали натягивать на глаза вспомогательные рогатки, отдалявшие меня от бумаги, от мысли, от языка. Я начинал замечать, что я все меньше и меньше читаю и совсем уже редко пишу.

Правда, в окулярах скрывалось то достоинство, что стоило приладить эти плетенки на лоб, как я мигом выключался из текущей мимо меня жизни. Я был недоступен в моем скафандре. Бывало, нацепишь, — и нет тебя совсем, и не было на свете. Как если бы в очках мы становились невидимыми. Я пристрасился временами даже спать в очках. Но чаще просто сидел, при всех доспехах, в забрале, ни о чем не думая, не помышляя взять в руки перо. Сквозь плотные стекла, предназначенные для чтения, для рассматривания букашек, комната вместе с мебелью тянулась бесформенной водорослью, какою зарастают аквариумы. Едва улавливалась волна шкафа, волна дивана, стола и двух с половиной музейных кресел, не ведавших, зачем их сюда занесло, когда б однажды я не треснулся коленкой об угол и не скорчился от боли в маленького карлика:

— На кой чорт они нужны?! Да в них я вообще ничего не вижу!

Не знаю, или английский мастер что-то не так зашлифовал и начислил в моих мизерных диоптриях, как требовалось по рецепту, или с непривычки глаза не лезли в прицельную камеру и дублировали действительность в расстроенном и перекошенном образе. Правым глазом, казалось, я шарил зажигалку, как всегда терявшуюся, сливав-

шуюся с диваном в его ковровом рельефе. А в левое очко... Но надо ли уточнять, что мне мерещилось тем же временем слева? Смех, пение, женские залиvistые переклички с мужчинами, закосневшие отложения извести по стенам, от которых, однако, я был отторгнут, отгорожен, выброшен в мир из родимого зверинца, как безбожный плевок, как кал из-под одичавшей собаки... Так, выражаясь суммарно, переносил я наследие, доставшееся от бабушки, от матери, от отца, от Авраама и Исаака...



После выступлений Главного Прокурора и двух кооптированных КГБ, от писательской возмущенной общественности, партийных доброхотов, под несмолкаемые аплодисменты, я втащился в каталажку при судейском помосте только что не на руках. Нокаут! Опять нокаут!.. Адвокат, бледнея, третий день прибегал ко мне в перерывах, вместо тренера, удерживая от резкостей, от ответов судье Л.Н.Смирнову, умоляя не задираться. У Смирнова, уверял он, либеральная репутация в западных прогрессивных кругах, так что ему некстати было бы испортить себе физиономию в Европе в роли ординарного сталинского палача, уже выходявшей к этому моменту из моды. Наше скользкое, писательское дело такому богу, как Смирнов, Председатель Верховного Суда РСФСР, явно не улыбалось и шло вразрез профилю авторитетного теоретика в области международного права, чего тот, в общем, по научной лестнице, с Нюрнбергского процесса при-

держивался. Все это была для меня какая-то галиматья, я не видел между ними различия, тогда как, по адвокатской догадке, Верховный Судья, на самом деле, сердцем, совестью и карьерой стоял на моей и Даниэля стороне и, играя в популярность на Западе, должен был, по идее, в мерах пресечения не завышать ставку. Сколько бы на судью Смирнова ни давили из КГБ, он сам — гора, рука — в ЦК, рука — в МК, в Президиуме, поймите — в Президиуме! и где-то там, у чорта в ступе, в Госплане, в Генштабе — еще рука!.. На руках Смирнова, как я понимаю, базировалась наша защита.

На мой-то поверхностный, непросвещенный взгляд, судья в нашем деле был опаснее любых обвинителей, едва, зашатавшись, гаркнули часовые, готовые упасть, со взведенными курками: — Суд идет! ("Суд идет", "Суд идет", прокатилось по коридорам, и я вздрогнул — как взаправду: "Суд идет"...)

Адвокат успокаивал:

— Вам показалось! Никакой он не бурбон! Чистая видимость! Ездит за рубеж! Что ни год — на форум! Вице! Ждународные грессы ристов! Пейски широко разбóванный! Рэтик! Ральный, кагрйца! Ральный, вам говорят! Ссивный, ктивный, маный, ящий Дья!..

Но я бы все равно за всем этим ему не доверился, когда бы в самом начале мой Следователь по особо важным делам, подполковник Пахомов, в сердцах, не обругал Адвоката:

— Какой он адвокат?! Где это ваша супруга, Марья Васильевна, откопала... такого... такое?... — Он затруднился с эпитетом, но красноречиво поморщился:

— Есть ли допуск? Никто и не знает... в юридических кругах. Непопулярен. Нужно еще проверить. И почему-то, между нами, опять еврей? На мой вкус ... лучше бы... вместе, подумав, порассмотрев, мы с вами подыскивали другого, настоящего защитника... А?

Прекрасный знак. Рекомендация. Если в КГБ не довольны — такого только и брать. Кое-чему, на ошибках, я с ними уже научился... В адвокаты? При чем тут?... Ах, да, с Адвокатом накануне суда, в те редкие, сумеречные встречи наедине, когда не ясно, кто кого больше боится, я ли адвоката, адвокат ли меня, мы, вроде бы, наконец, поладили в цене — на признании невиновности, которое в следственном деле уже лежало за мной серебряной монеткой, а он сперва не решался к ней притронуться и все оспаривал эти копейки, пока я не уперся и не сказал, озлясь, что уж лучше откажусь от его защиты, если на то пошло, и он, как-то сникнув, разом согласился. Естественно, на процессе не мог он и заикнуться, что подопечный его не виновен; не мог он также вдаваться в оценки и в анализ подсудных произведений, что грозило бы ему самому переселиться на нашу скамью; но подмахивать обвинению, как это давно повелось у нас, он тоже сумел избежать и, ни с кем не споря, в одиночестве, в презираемом, танцевальном искусстве Адвоката, старался руками держать свое бескровное, перевернутое лицо. И я не в претензии...

Один только зуб, в общем-то, у меня остался на Адвоката. Да и тот прорезался позже, через несколько дней, когда я узнал с опозданием, что наш судебный процесс, оказывается, параллельно освещается

щался в газетах, о чем Адвокат почему-то все это время умалчивал. Возможно, он дал подписку и опасался подслушиванья? Но ведь не о помощи речь, не о добрых откликах с воли сюда, за камень, на остров, где все произрастает в извращенном образе, процеженное через вещего Следователя по особо важным делам. Речь о советской печати, доступной каждому, где вас уже мешают с говном, и чего было, спрашивается, утаивать от меня Адвокату?

Как раз в дни суда газету в тюрьме перестали выдавать: перебои с почтой. А я не догадался, что это обычный ход и не почта, а Пахомов, по должности, перекрыл информацию, способную раздражить обвиняемого. У него, у Пахомова, был уже небольшой опыт с газетой. С "Перевертышами" Еремина в "Известиях", за месяц до процесса. Будто невзначай, улыбаясь, он подсунул мне тогда на допросе эту заказную статью с обычной, конечно, у них воспитательной задачей — сломать. — Кстати, Андрей Донатович, почитайте, что о вас "Известия" пишут. — И смотрит с любопытством... Но, перевернувшись тот густой навоз, я почему-то оживился: — О Пастернаке, — говорю, — и не то еще писали. Семичастный, сколько помнится, сравнивал поэзию Пастернака с лягушкой, квакающей в гнилом болоте. А Корнелий Зелинский, вернувшись из заграничной поездки, сделал доклад в Союзе Писателей, что одно лишь упоминание имени Пастернака на Западе все равно что, извините, в культурном обществе, за столом, издать непристойный звук. Так и произнес: "непристойный звук"...

Подполковник крякнул.

— Да. Вышла ошибка.

— С Пастернаком ошибка? — обрадовался я.

— Не-ет, моя ошибка, — сказал он вдруг просто и честно, как-то очень по-человечески. — Что дал вам прочесть... Раньше времени...

И вот, на время процесса, газеты от нас отрезали. Зачем Верховному Суду скрывать от подсудимых собственный правдивый оскал, уже означенный в печати? — это я понимаю. Да чтобы мы не огрызнулись. Не заявили, чего доброго, какой-нибудь протест перед тем же Верховным Судом. В нарушение объективности. Но Адвокат?! Куда смотрел Адвокат?.. Что он — еще теплил надежду? Или опасался, — удостоверенный газетой, я буду держаться отчаянней, в противоречии с его концепцией и композицией защиты? Искренне желая спасти, он хватал меня за руки и не давал обороняться.

— Опять вы не так ответили Судье! Гол не в вашу пользу. Я же говорил: не спорьте со Смирновым! Спорьте, если хотите, с Тёмушкиным, с обвинителем. Это — ваше право. Тут мы ничем не рискуем. Но не трогайте, не раздражайте Судью!..

Я ничего не понимал. Просто у нас, вероятно, были разные задачи, и, разобщенные в судебной лапте, толком не объяснившись ни разу, мы с Адвокатом барахтались в словах, переставая узнавать окружающее. К тому же, накануне процесса пообещав встретиться, он словно провалился. И теперь, в антрактах, возникая из-под пола, интеллигентный Пьеро ломал пальцы и повторял:

— Вы топите себя в споре с Верховным Судьей! Топите! Наша цель — четыре. До пяти. Максимум. Не выше пяти. Вы угодите под амнистию. Годовщина. Юбилей революции. В 67-м всем до пяти —

скинут. Не может быть, чтобы не скинули. Отсидите еще полтора, два, два с половиной, три...

И вновь куда-то проваливался. Но потому, как день ото дня он увеличивал и увеличивал стаж, туманный, загадочный, в бледной немочи ко мне, я догадывался, что за кулисами происходит неладное. Там, в делириуме судьи Смирнова, среди непостижимых абстракций, что-то правилось и творилось. Летали аэропланы за каким-то еще дополнительным сотрудником, свидетелем из Средней Азии. Звонили по телефону. Давали радиogramмы. Сговаривались. Медленный ужас вставал в пепельных зрачках Адвоката. Нарушая положение, он шел по самому острию ледящей юридической бритвы, ухитряясь обходить роковой вопрос о виновности подзащитного обидным Суду молчанием, и тонко, еле слышным голосом, вел полемику, казалось, с самим собой, с умыслом или без умысла я печатался на Западе. Верховник Смирнов на него уже рычал. Прокурор, вообще, не удостоивал внимания. Нет, по тем временам, в нашем пропащем деле, Адвокат вел себя стоически. Только — зачем он утаил судебные отчеты в газетах?..

Все они вылезали на меня сакральными, из Сорочинской ярмарки, харями: Адвокат, Прокурор, Судья. Они были похожи: в их близости исчезала реальность. По сию пору, ночью, стоит закрыть глаза, они начинают не свои, не Богом данные речи. Как в паноптикуме — не веришь, для смеха, понарошку что ли, чтобы только застрашать?..

На Прокуроре я не буду специально останавливаться. Его образ несложен. В черной паре, жгучий брюнет, с белой-белой, как это встречается иногда

у истовых брюнетов, кожей, до исподней синевы выбритый, начищенный бриллиантом, мясистый, в сверкающих запонках, он смотрел гробовщиком или факельщиком в похоронной процессии и такого же подобрал себе черного, только ростом поплотнее, Помощника Прокурора, на протяжении всей церемонии, кажется, не раскрывшего рта. Всем физическим обликом он был списан с натуры и не требовал усилий ума или какой-то психологии, укладываясь в прокрустово ложе своего декорума целиком и полностью, чего, однако, никак нельзя сказать о судье Смирнове, в довершение насмешки именуемом — Лев Николаевич. Тот, производя впечатление доброго кабана, толстый, как все добрые, посапывающий, будто ему чесали за ухом, читая наши бумаги, — вдруг, с клыками, бросался на подмогу Прокурору, едва мы, обвиняемые, что-то пытались возражать. Удары, им наносимые с председательского сиденья, были прямыми и стремительными. Он просто не давал отвечать и налетал шквалом, не справляясь с УПК. И так же легко и внезапно, растоптав, выходил из атаки, успокаиваясь в мирном делириуме. И великодушно приглашал Прокурора продолжить перекрестный допрос.

Либеральная его слава таяла на глазах. Да он, должно быть, того и добивался, ставя на карту повернее европейской рекламы. В те боевые дни он думал не о нас, разумеется, и не с нами воевал. Что мы обречены, было ему известно, как число в календаре, и сроки обусловлены. Льва Николаевича, я полагаю, снедали иные заботы. Он сражался со своими соперниками, с недругами, где-то уже в

Президиуме, на Олимпе, что из ревности ему и подсунули это скверное дельце. А ну, теоретик, покажи на практике наши достижения в области международного права! Какой ты у нас, на всю страну, либерал?.. И Смирнов оправдал доверие и вышел из борьбы победителем. Его ожидало кресло Верховного Судьи СССР.

Вскоре после процесса, в Доме Литераторов, на товарищеской встрече писателей с чекистами, он сделал научный доклад, подводя баланс операции:

— Подсудимые были — оба — с высшим образованием. Поэтому, как Председатель Суда, я помогал Прокурору!..

Как видим, Адвокат не ошибся: во всем была виновата европейская репутация либерального Льва Николаевича...

Стоит ли, однако, глотать химическую, ядовитую пыль судебного разбирательства, если сановные лица пройдут перед вами лишь хороводом теней, способных смутить неискушенного наблюдателя, особенно в нашем тогдашнем поверженном состоянии? Нет, и под маской самой кровожадной, скрывается живая душа, нисколько не загрубелая, а более мягкая и трепетная, пожалуй, чем это кажется на взгляд, со свойственными человеку мечтами и светлыми движениями, с разветвленной и сложной ведомственной игрой. А уж в домашнем, либо в дружественном кругу, может быть милее и отзывчивее вы не встретите собеседника, и все мы вместе ему в подметки не годимся. Даже молчаливый Траян, начальник Лефортовской крепости, откуда нас возили на суд под личным его досмотром, послушав

протоколы, полистав прессу, не выдержал и открылся слабой своей половине:

— Да я бы их собственными руками пристрелил! Душа плачет!..

— А вы же знаете, — неизменно добавляла любящая подруга Траяна в салонах, куда они были вхожи, — вы же знаете моего Александра Андреевича — он мухи не обидит!

В развитие той же гипотезы о сердечности карателей сошлюсь на первую сцену из феерии "Зеркало", хотя сам я, признаться, с точно таким Следователем дела не имел и кое-что домыслил, опираясь на других очевидцев.

"Он (примириительно разводя руками). ... И все-то он знает! Все превзошел! Кандидат наук! Сотрудник Института Мировой Литературы!.. Так как же, Андрей Донатович, будете давать показания?"

Я. Какие показания?!.. Господа! Простите — граждане! Меня с кем-то перепутали! Оклеветали! Это — недоразумение! Ошибка! Страшная ошибка! Вот у меня (взглянув на часы) через десять минут лекция в Сорбонне. Представляете — в Сорбонне! Через десять минут. Нельзя опаздывать... Тем самым мы ослабляем наш интернациональный детант! Потом, извините, жена может волноваться. У нее сердце и нервы. Если... Если я немного здесь у вас засижусь... Вы знаете, у нас маленький ребенок. Необходимо известить! Хотя бы по телефону, знакомым... (Все смеются).

Он (внезапно посерьезнев). Все, кому надо, уже извещены. Не стоит горячиться. "Долгие про-

воды — лишние слезы”, как сказано в старой поговорке. Читали Даля? Вот, вот. Народные поговорки обогащают русский язык... Кроме того, все от вас зависит. Живите с вашей женой. Читайте ваши лекции. Это законно, это разрешено — и жена, и лекции. Мы вас, если хотите, за четыре минуты доставим... Но что вы над собою наделали, Андрей Донатович! Зачем вы погубили свою молодую жизнь?!..

(Свет меркнет. В кабинете устанавливается кроткое ко мне сожаление. По знаку Следователя все на цыпочках выходят. Тихо звучит танго "Брызги шампанского", напоминая о вступительной партии. Упорхнувший последним, Оперативник быстро возвращается за позабытой на полу телефонной книгой. С его исчезновением свет вновь набирает яркий, белый накал). Ах, Андрей Донатович! Андрей Донатович! Вы думаете — мы не люди? (Утираясь рукавом). Думаете — не больно? У меня у самого маленький ребенок. Чуть побольше вашего. Звать Натальей. Знаете, утром или вечером подойдешь к кровати. "Наташа, говорю, Наташа, папка пришел с работы". А она смеется, прыгает на своих маленьких ножках. Тянется. Еще беззубая, а уже тянется. "Папка! — говорит, — папка!" (Плачет, уронив голову на стол. Потом, всхлипнув, тоненьким голосом запекает). "Топ-топ-топ, — топают малыш! Топают малыш!.." (Рыдания).

Я. Да, да, я понимаю... Нам надо объяснить... И мне плохо, и вам нехорошо. Всем трудно. Я же вижу: интеллигентный человек. Чехова читали, Гоголя. "Вишневый сад", "Дядя Ваня"...

Он *(подымая зареванное лицо)*. Так как же будем жить дальше, Андрей Донатович?!..

Я. В каком смысле — дальше?..

Он. Так будем давать показания? Или — нет? (Барабанит пальцами по письменному столу, но более твердо). "Топ-топ-топ, — топает малыш!.." Будем давать показания?!.."

И впрямь, в лагере был у нас такой и теперь еще, верно, свирепствует голубой майор Постников, куратор от КГБ. Допрашивая, наказывая, он любил поплакать. Сперва, когда ребята развели о странной его повадке, у меня мелькнуло: да в уме ли наш Постников — на подобной работенке недолго и свихнуться?! Или — вечный обман, камуфляж, плод особой подготовки в расчете растрогать, сбить с толку? С годами, однако, я научился рассуждать снисходительнее, допуская, что крокодиловы эти слезы бывшего куратора, которые случаются редко, но все ж таки случаются, вызваны той же, что и смех, потребностью души, жаждущей себя уберечь в условиях вредной профессии. Плачущий вызывает к нам: "да поймите же, взгляните, в глубине души я добрый, сострадательный, а не какая-то скотина, как вы меня рисуете в антисоветских, между собой, разговорах!.." Это, может быть, способ напомнить и себе самому: я — человек!.. Или соблюсти реноме... Внешность... И только много позже я начал различать в загадочных этих слезах не меру самоохраны, но искренний и неподдельный порыв сердца, оскорбленного в лучших чувствах. Не он жесток, а мы жестоки по отношению к нему, подследственные и осужденные, мучающие попечителя нашими злобными кознями, упрямством, неблагодарностью. Мы, мы — палачи, в его страдающих гла-

зах, и он с чистой совестью, чувствуя свою доброту, обижается за себя и оплакивает нашу неправду...

Он. Как сейчас помню: детство, отрочество, как сказано у Горького... Вам повезло. Вы, Андрей Донатович, родились и выросли, нам известно, в городской, образованной семье. А я? я? — я вас спрашиваю... Отца не было: убит на фронте. Нас осталось пять человек детей. Я родом, между нами говоря, из-под города Борисоглебска...

Я. О! Борисоглебска?!

Он. Да. И у нас на всех — на пятерых — была одна пара валенок...

Я. Пара валенок?!...

Он. Да. Но мы ходили в школу, и мы учились читать и писать. Тяжелые были годы, говоря между нами, Андрей Донатович. Разруха, коллективизация. Все это дорого стоит, дорого стоит... (Задумывается).

Я. Конечно же! Разве я не понимаю. И, вы знаете, я не ожидал. У вас университетский значок? Два значка?.. Читали Чехова, Горького...

Он. Да-а... Бедная мать! Бедная наша мама! А ведь и у вас была мать, Андрей Донатович. Что бы вы ни писали в своих, мягко говоря, "сочинениях". Какая-никакая, но мать у вас все-таки была. Вы тоже человек. Была?

Я. Была...

Он. Ну так будете давать показания? Показания — я вас спрашиваю! Или вы навсегда потеряли стыд и совесть?.."

Нет, не мне тягаться в нравственности с побор-

никами порядка и власти, облеченными в броню морали более твердую, нежели все мои случайные и сомнительные мысли на сей счет. И я, продолжая мысленно защиту, сказал сам себе: ты — писатель! и все остальное не в счет! Пропадай пропадом, но будь собой, Абрам Терц. Не спорь с ними ни об этике, ни о политике, ни, упаси тебя, о философии или социологии, в которых ты все равно ни шиша не понимаешь. Сохранись в зерне, уйди под землю, сгинь наконец. Но пока еще жив — снимай жатву. И если попоран человеческий образ, уйди в писатели, окончательно и бесповоротно в писатели. И — стой на своем...

Стыдно сознаться, но весь этот разговор в душе, между судом и следствием, и весь этот, если угодно, роман, сочиняемый в антрактах, для роздыха, в ожидании приговора, затеян единственно в качестве доказательства, что я — писатель. Я — писатель!.. Рассыпся в прах, воронье! Идите прочь!.. Забавляйтесь, сколько влезет. Растирайте с грязью. Предатель? Враг? Смердяков? Изверг рода человеческого? Иуда? Антисемит? Русофоб?.. Жид?! Жид?! Валяйте сюда и жида...

Под градом ругательств я как-то уменьшаюсь — линяю, линяю. Перестаю себя видеть. Все это вроде бы уже ко мне и не относится: "некрофил", "растлитель"... Страшно. Отсебятина. Отряхиваюсь. Ф-фу, чорт! И ничего не остается. Как объявили (и еще объявят) *матереубийцей*, и никто слова не замолвит, — о чем еще толковать? Спросят когда-нибудь: кто ты? кем был? как звать?.. Из гроба прошелестю: —пи-пи-пи-пи-писатель... Дайте мне бумажку, я чего-нибудь сочиню!..

"Он. Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Ну какой же вы писатель? На что это похоже? Сами посудите. На какой странице ни открою эти ваши, с позволения сказать, "опусы": уши вянут! Разве это язык? Одна похабщина!..

Я. Может быть, у нас просто разные литературные вкусы?..

Он. Ага. Вы хотите сказать, у меня дурной вкус? Допустим. Но мы же на экспертизу давали. Ученые, писатели... Сергей Антонов, Идашкин. Академик Виноградов. Уважаемые имена. И все в один голос (*читает в своих бумагах*): "явная антисоветчина, полуприкрытая порнографией и безыдейным формализмом"!

Я. Ну Идашкина я писателем не считаю...

Он (*с ехидством*). А Чехова? Чехова вы считаете писателем?..

Я. Чехова? При чем тут?.. К Чехову я вообще...

Он. Вот именно — вообще! Вы к Чехову вообще отрицательно настроены. Это что у вас давно началось? Классовая ненависть? Личная зависть? Или, может быть, влияние зарубежных радиостанций?.. Признайтесь, Андрей Донатович! Вам сразу станет легче. Я уверяю вас, вам сразу станет легче.

Я. Да я вашего Чехова... Всегда с почтением — Чехов, "Дядя Ваня"...

Он. Вот видите — "вашего Чехова"! Значит, "наш" Чехов — уже не ваш? "Наши" и "ваши"? Нечего сказать! Ну и змею, извините за резкое выражение, вырастили в Институте Мировой Литературы. (*Встает*). Да, Андрей Донатович, да! Вы — правы! Чехов — наш. Чехова — мы любим. Мы *нашего* Чехова никому не позволим топтать ногами!

Народ не допустит, Андрей Донатович! Народ на вас смотрит! Народ!..

Я. Против Чехова я никогда...

Он. И вам не стыдно? А это что? *(Роется в бумагах)*. Пожалуйста. Ваш пасквиль: "Графоманы". С вашим примечанием: "Из рассказов о моей жизни". Читаем: "Взять бы этого Чехова за его тшщую бородавку..." Да как у вас язык повернулся?! И после этого вы смеее заявлять, что вы — писатель?.. Удивляюсь. *(Лезет в ящик стола)*. Заполним протокол... *(В Зеркале над головой Следователя что-то мелькает. С шипением возносятся голубоватые струйки дыма. Слышится возглас: "Носилки! Носилки!" Ни я, ни Следователь не обращаем на это внимания)*.

Я. Все не так! Это — не честно! Подтасовка! Это не я!..

Он. То есть как это не вы?! Тут черным по белому сказано: "я", "из моей жизни".

Я. Но это же прием такой, будто из моей. Художественный прием!

Он *(мрачно)*. Известный прием и очень, очень художественный: террор!

Я. Да у него и фамилия там другая! Не моя! Посмотрите! Это же он про Чехова, а не я, не автор!..

Он *(смеется)*. Ну вы мастер менять фамилии. Уж что-что, а переворачиваться вы умеете. Переворачиваться, изворачиваться...

Я. Но ведь я осуждаю этого человека, моего бедного персонажа, несчастного графомана... Это же всякому ясно! *(Вскакиваю)*. Во-вторых...

Он. Те-те-те. Не торопитесь. И сядьте на ваше место. Вам некуда спешить. *(Смеется)*. У вас впе-

реди много свободного времени. "Тише едешь — дальше будешь", сказано в одной поговорке. Штудировали Даля? Нет? Напрасно, напрасно. Народные афоризмы украшают русский язык... Не всё сразу. Давайте по пунктам. Ничего не поделаешь — канцелярия. Учет и контроль. "Семь раз отмерь, один — отрежь". Значит так — первое: вы осуждаете свои террористические намерения...

Я. Не свои! Моего героя! И почему террористические?..

Он. Вот-вот: *вашего* героя. Уточним. Вы рассказываете в призывах к террору, которые вы замаскированным образом вложили в уста вашего героя. Правильно я вас понял? (*Записывает*).

Я. Господи, вам говорят, это не мой герой, отрицательный, я не разделяю взгляды, я...

Он. "Я — не я, и лошадь — не моя". Так, что ли?! (*Смеется*). Ваш герой — и не ваш герой. А где, поинтересуемся, у вас положительный образ? Где конструктивный, так сказать, бережный взгляд на Чехова? И чьи взгляды вы разделяете?.. Розенберга?!

Я. Какого Розенберга?

Он. Альфред Розенберг, идеолог и сподвижник Адольфа Гитлера.

Я. Вы что — совсем очумели?!..

Он (*спокойно*). Попрошу без оскорблений. С вами разговаривают как с культурным человеком. Вас культурно просят разъяснить ваши противозаконные действия. А вы — хулиганите. Предупреждаю. Все ваши выпады в адрес должностного лица мы занесем в протокол, а вы под ними поставите

свою подпись — вот здесь. "Отольются кошке мышьи слезы", как сказано у Даля.

Я (отворачиваясь). Ничего я не буду подписывать. Сами подписывайте свой террор. Да не забудьте сослаться на словарь Даля: "Бешеным псам — нет пощады"...

Он. Побойтесь Бога, Андрей Донатович! Вы никак — обиделись? Креста на вас нет! Да у меня просто манера такая — цитировать. Имея дело с писателем, иногда, знаете ли, впадаешь. "Век живи — век учись". "С кем поведешься — хе-хе! — от того и наберешься"... Может, вам, не дай Господи, помстилось, будто я какое-то там *давление* пытаюсь на вас оказать? Ну сами посудите! Какое давление? Какое?! Что я вам — угрожаю? Запугиваю? Бить собираюсь?..

Я. От вас, говорят, всего надо ждать...

Он. Нет! Не может быть! Неужто вы — вы! — на самом деле *так* подумали? так *могли* подумать? Я — не верю. Что ж мы не люди по-вашему, Андрей Донатович?!.. Кстати, не хотите ли закурить? (*Подходит, протягивает пачку сигарет, подносит зажигалку, я с опаской затягиваюсь*).

Я. Не то чтобы я думал... Но, понимаете, про вас, как бы это сказать, про ваш комиссариат с давних пор дурная слава... И вначале я даже был приятно удивлен...

Он. Приятно удивлены?..

Я. Что у вас не бьют. Ведь раньше-то у вас — били. И не то, что били. Пытали, мучили...

Он. Когда — раньше?

Я. Ну — при Сталине.

Он. При каком Сталине?

Я. Как при каком?! При Сталине здесь — били. Это все знают. Об этом даже ваша "Правда" писала!..

Он (с упреком). Вот опять — ваша! Ваш Чехов, ваша "Правда"... Не хорошо — не хорошо. Не достойно. (Расхаживает по кабинету. Приосанясь). "Правда", Андрей Донатович, это — официоз. Центральный орган, с которым никто не спорит. Но нужно же иметь и свое мнение! Пора иметь собственное мнение, Андрей Донатович!.. И кто вам все это внушил: бьют, пытаются?.. У вас какое-то совершенно превратное, тенденциозное о нас представление. Ну кто вас бьет?

Я. А что вы скажете — при Сталине — не применялись пытки? Не было, по-вашему, нарушений законности в период культа личности?..

Он. Не знаю, не знаю. Я здесь тогда не работал и ничего не знаю... Все это очень преувеличено. Все это раздуто нашими идейными противниками, и не только идейными, Андрей Донатович. Но как вы могли, как вы можете всей этой ахинее верить? — вот чего я не пойму. Вы же наш человек, Андрей Донатович?!

Я. Наш человек?

Он. Разумеется. Вы — наш человек. Не считаете же вы себя врагом нашей Родины.

Я. Не считаю.

Он. Ну вот, ну вот. Мы и договорились. И мы вас не считаем, между нами говоря. Неужели вы думаете, что если бы вы были врагом, настоящим врагом, мы тут с вами вот так бы сидели тихо-мирно, как интеллигент с интеллигентом, и беседовали о каком-то искусстве, о литературе?.. Не хотите ли минеральной воды? Или, может быть, лучше чаю? Кофе?

Я. Если можно — чай.

Он. Одну секунду. *(Снимает телефонную трубку)*. Кто? Дежурный? Срочно, в кабинет 333 — чаю! *(Ко мне)*. Вы предпочитаете — крепкий?

Я. Если можно — крепкий.

Он *(в телефон)*. Крепкого чаю! *(Ко мне)*. С лимоном? Со сливками? По-английски?

Я. Нет-нет. Просто — крепкий.

Он *(в телефон)*. Просто крепкий! Шоколадные конфеты первой категории! Сахар! Печенье! Варенье! Сигареты! *(Ко мне)*. Вы что курите?

Я. Если можно — "Беломор". Или — "Лайнер".

Он *(в телефон)*. Две пачки "Лайнера" и две "Беломора"! Спички! Мигом! Одна нога там — другая здесь!.. Что это значит — нет "Лайнера"? Позаимствуйте в буфете! Что?! В гастроном! Как это некого послать? Направьте Чехова! Он у вас там все равно груши околачивает! То есть как это не в состоянии? Передайте от моего имени — уволим на пенсию! Быстро! *(Вешает трубку. Ко мне)*. Так что же — во-вторых?

Я. В каких во-вторых?

Он *(проглядывая бумаги)*. Вы подтвердили, что, во-первых, осуждаете свое преждевременное клеветническое заявление о Чехове, призывающее к расправе над русской культурой. А во-вторых?..

Я. Неправда! Это — искажение! Я сказал...

Он. Согласен! Я все допускаю, Андрей Донатович! Но не станете же вы отрицать, что где-то в глубине души — ну, в самой глубине, — вы, мягко выражаясь, недооцениваете Чехова? Клянусь, об этом у нас имеются, вот в этом ящике стола, вполне проверенные, точные, сведения. Что ж теперь нам при-

кажете, по вашей вине, привлекать к судебной ответственности ваших друзей, свидетелей, ваших, между прочим, студентов, Андрей Донатович, за дачу ложных показаний? Где ваше сердце? Человеческое сердце! Откройтесь! Признайтесь! Уверяю вас — у вас с груди прямо камень упадет... (*Обращаясь к двери, хотя стука не было слышно*). Да-да, войдите! (*Входит колонна тех же оперативников, сплошь переодетых уже в цивильное платье. У некоторых из-под брюк видны сапоги, у одного на голове застряла впопыхах фирменная голубая фуражка. Передний держит на подносе стакан чая. Второй — сахарницу. Третий — банку с вареньем, и т.д. Последний, самый маленький и зачуханный, тащит папирсы, попеременно роняя то одну, то другую пачку. Под негромкие звуки бравурного марша: "Броня — крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны!.." процессия торжественно обходит сцену*).

Второй оперативник (*с сахарницей, отделившись от группы и щелкнув каблуками*). Товарищ подполковник, полковник сказал: шоколадные конфеты первой категории — в цейтноте! За неимением... (*Тот досадливо машет рукой, и при этом взмахе стол и фигура Следователя погружаются в полумрак, так что дальнейшие движения и речи оперативников ко мне как бы его не касаются*).

Первый оперативник (*поднося стакан чая, интимно и таинственно*). Рекомендую вам, товарищ Синявский, с нашим подполковником вести себя как можно осторожнее. Форменный чорт! Он, знаете, кого допрашивал? Он Пеньковского допрашивал. Он самого Абакумова на Луну отправил! Будьте начеку!

Второй (с сахарницей). Ваш лучший друг, с воли, не называю по имени, вы сами знаете — кто?! — велел передать — крайне, крайне конспиративно, — что пора сдаваться. Все равно — просил он передать — они всё, всё про нас знают!..

Третий (с вареньем). Ваша семья в опасности!..

Четвертый (не известно, с чем). Подготовьтесь к самому худшему...

Первый (вмешиваясь). Завтра же освободят! Только ведите себя разумно...

Второй. Едва ли, едва ли...

Третий. Отсюда еще никто и никогда не возвращался...

Пятый. Они все могут!..

Шестой (самый маленький, с папиросами, шепотом). Я сам из бывших. Привет от Чехова. Он тоже советует лишний раз не залупаться. Сгноят!

Я. От Чехова? Антона Павловича?!..

Шестой. Секрет! Большой секрет! Но Чехов советует лишний раз не залупаться. Желаю успеха!..

(Шествие удаляется под ту же музыку. Следователь — в поле света — протирает глаза, будто проснулся).

Он. Очнитесь, Андрей Донатович! Сбросьте узы, которые вам мешают говорить со всей откровенностью! Будьте Человеком с большой буквы! И вам сразу станет легче... "Мы отдохнем, мы отдохнем!"

Я. Ах да! Опять Чехов! Милый Чехов! Знал бы он... Вы знаете, гражданин следователь...

Он (мягко). Меня зовут Николай Иванович.

Я. Знаете, Николай Иванович, я действительно до сих пор, по-видимому, как-то недооценивал

драматургию Чехова... (Он быстро записывает). Мне жаль, но бывает же так. Допустимы же разные склонности. Пускай ошибочные, субъективные. Один любит больше Чехова, другой — Гоголя. Разве это преступление? С вами такого разве никогда не бывало, Николай Иванович?..

Он. Конкретнее, конкретнее! Что вы имеете в виду? Какие политические выводы хотите вы сделать из своих ошибок?

Я. Ну, предположим, одно художественное произведение вам нравится, а другое не очень. С вами не случилось?

Он (сдерживая ярость). Со мною случилось. Со мною все случилось. Я и на фронте воевал, уважаемый Андрей Донатович! Я после фронта с бандами боролся в Закарпатской Украине. В Литве. В Венгрии...

Я. Но я не про то. Вы же меня обвиняете, что я Чехова недооцениваю. А вы лично, Николай Иванович, кого предпочитаете — Чехова или Гоголя?

Он. А я всех предпочитаю. Всех. И не пудрите мне мозги! Пока что я вас допрашиваю, а не вы — меня. Извольте отвечать. И без увиливаний! Без этих ваших выкрутасов!

Я. А вот Лев Толстой, например, утверждал, что драматургия Чехова даже хуже, чем драматургия Шекспира. А Шекспира он вообще...

Он. Но вы же не Шекспир?

Я. Ну, конечно, я не Шекспир, кто же спорит?

Он. И не Лев Толстой.

Я. И не Лев Толстой, разумеется. Но вы бы Толстому в подобной ситуации — рассуждая отвлеченно — инкриминировали Шекспира? Или — Чехова? Или — как?

Он (*жестко*). Вот именно — или как! Мы, Андрей Донатович, с вами здесь не отвлеченные вопросы решаем. А вполне конкретные, политические диверсии, которыми вы занимались на протяжении десяти лет вашей подпольной работы... А до Шекспира мы дойдем, не беспокойтесь. И Лев Толстой от нас с вами никуда не убежит. И Гоголь. Мы до всего доберемся. Постепенно, поэтапно... Итак, вы признаете, что уже давно, со студенческих, может быть, лет, ненавидели Шекспира и Чехова, в особенности патриотические пьесы последнего — "Вишневый сад", "Дядя Ваня" и "Три сестры", которые пользуются заслуженным успехом в постановке театра МХАТ даже за рубежами нашей необъятной Родины... Не так ли? Даже заклятые враги социализма признают патриотическую силу этих творений, в то время как вы...

Я. Заодно с белогвардейцами...

Он (*хлопает по столу*). Не валяйте дурака! Я старый чекист! Да мы таких к стенке ставили в 18-ом году! Без дискуссий!.. (*Из Зеркала начинает валить белый дым, но Следователь не замечает, двигаясь на меня с нарастающим по ходу речи, нарочитым раздражением*). Вы что здесь — на курорте? Чаек попиваете? Варенье? Печенье? А мои дети во время войны сливочного масла не видели! (*Терзает китель, будто ему душно*). Да я за Чехова, может быть, кровь проливал! Людей из землянок, изпод земли, огнем выкуривал!.. (*Дым усиливается. В Зеркале блещет вольтова дуга и слышатся приглушенные выкрики: "— Кассету! Не та кассета! Опять ты, Пашка, напортачил! Это же Пушкин! Пушкин, тебе говорят!.."*) Следователь в недоуме-

нии хлопает глазами. В то же мгновение раздается пронзительный телефонный звонок. Снимает трубку). Слушаю. Кто?!.. (Подтягивается). Я на проводе... Все в порядке... Нормально. Протекает нормально... Как?.. Виноват. Исправлюсь! Будет сделано! Будь-сде!.. Заверяю: будет исправлено... Ну что вы! чисто педагогически. Превентивные меры... Нет, еще не дошли... Понял. Вас понял. Сию же минуту... Ясно. Рад стараться!.. Есть! (Кладет трубку. Свет в Зеркале меркнет. Следовательно выходит на середину сцены, закуривает. Руки у него трясутся. Ко мне) . . . Ну, так что?..

Я. Что — что?

Он. ... Тяжело с вами, Андрей Донатович! Тяжелый вы человек. Как еще ваша жена терпит? Нет в вас чуткости. Нет этого самого, элементарного чувства дружбы, сотрудничества, доверия к человеку. Все стараетесь доказать свое "я". Скромнее надо быть, скромнее... Проще. Вот вы меня чуть до инфаркта не довели...

Я. Я — вас? До инфаркта?

Он (подходит к аптечке, что-то нюхает и жует). Да-а. Чуть мне в горло не вцепились. (Передразнивает). "Чехов! Чехов!" А кому нужен этот ваш, извините за выражение, Чехов? Пристали, как банный лист...

Я. Но вы же сами!.. Только что, вот здесь, меня к стенке хотели... За Чехова!..

Он. Так уж сразу и к стенке?.. Так уж и за Чехова?.. Или вы притворяетесь, как всегда, или я не знаю, за что вам дали высокое звание кандидата литературных наук. Вы что — маленький? Вы что — не понимаете? Разве в Чехове дело? Не-е-ет! Смотрите глубже. Шире. Не в Чехове соль...

Я. Да где ж тогда? В чем?..

Он. И вы не видите? До сих пор не поняли? Нет? Ну, если хотите — исключительно из личного к вам расположения, — я помогу, подскажу... Так уж и быть. Начинается — на "пе"!

Я. Как это — на "пе"?..

Он. Да что вы — ребенок, что ли? Побойтесь Бога. Состав — состав вашего преступления — начинается на "пе"! Даже могу для вас пойти дальше, сказать больше — переходя уже почти границу доверенной мне, государственной тайны: начинается — на "пу". Из шести букв. Одно слово. Все еще не догадались? Бедненький! Он боится произнести! Младенчик! Ну давайте вместе. Пу-у-у...?

Я (выпаливаю). Пурген?!

Он. Какой еще — Пурген? Планета, что ли? Нептун. Плутон. Я что-то не припомню...

Я. Да нет, по медицинской линии. Что-то вроде очистительного...

Он. А что, Андрей Донатович, у вас связи в медицине? И давно? Э-то что-то но-вень-кое! Ин-те-рес-но! Ну и что вы делали вместе с этим Пургеном?

Я. Ничего не делал. Просто в голову пришло. Название такое. Лекарство. Из шести букв. Пурген.

Он. А-а-а... А я, признаться, уже подумал... Эге-ге, подумал, наш-то Андрей Донатович, шалунишка, метит куда выше наших скромных предположений. Вы не обижайтесь. Ведь история науки знает много подобных казусов. Отравления колодцев. Водоемов. Ликвидация ответственных работников токсикозным способом под видом госпитализации. За медициной в наши дни, между нами, — ох, какой глаз нужен за медициной в наши дни! (Переходя на

шепот). Ведь у них — в шкафах — все яды! Я-ды! Под видом лекарств. Вот вы думаете — я знаю, я заранее знаю все, о чем вы думаете, — что нет и не было никогда этих, с позволения сказать, "врачей-убийц". Выдумки, дескать, пустые звуки. И правильно делаете, что так думаете. Пока что, в данный политический момент, — так и надо считать. Но мы-то, мы-то — знаем! Вы не знаете, поскольку вам не положено. Но мы-то — знаем! Бы-ли! Не все, конечно. Но были — врачи-убийцы. И кому, если не нам, посудите сами, об этом помнить?..

Я. Но не меня же! Не меня, гражданин следователь, Николай Иванович, не меня — подозревать в отравлении! Кого я мог отравить? и чем? — пур-геном?..

Он. Всякое бывает... И потом, Андрей Донатович, — у каждого из нас есть своя в жизни романтическая мечта... Однако вернемся к нашим баранам, как говорили древние. Начнем сначала. Первый блин комом. Напоминаю вторично: на "пу", из шести букв. Пу-у-у?!..

Я. Пудель!

Он (*подумав*). Собака?

Я. Да — собака. Есть такая порода собак — пудель.

Он. И вам не совестно? Я краснею за вас, Андрей Донатович. Вы же — мужчина! Мужчина! Не хотел бы я сидеть когда-нибудь на вашем месте, но если бы довелось — честное, благородное слово, — я бы не вилял, я бы не хитрил, я бы не придумывал "пуделя". И я бы не смеялся. Потому что хорошо смеется тот, Андрей Донатович, кто смеется последним. Я бы сказал, глядя правде в лицо, такому же

прямому, каким бы вы были на моем месте, стражу закона и долга, сказал бы, как мужчина мужчине: да, вот здесь я виноват, очень-очень виноват, каюсь, а с этой стороны, с Чеховым, увольте, не причастен. И вы бы тогда, уже за одну эту мою бескомпромиссную правдивость, за мужскую прямоу, меня под честное слово отпустили бы, промолвив: езжай-ка ты, братец, Николай Иванович, домой, к своей семье, к ребенку, который без тебя скучает, и больше не глупи! Но так унижаться, как вы сейчас унижаетесь, со своим "пуделем"? — нет, я бы не стал. Лучше принять и вытерпеть любое наказание... Вижу-вижу, по глазам вижу: вы всё еще надеетесь, что это пройдет, что это сон какой-то, мираж — пудель, пустяк, пудинг, пупырь?! А это — реальность, Андрей Донатович. Я говорю вам об этом, потому что искренне желаю добра. Ре-аль-ность! И поэтому, для облегчения вашей совести, вашей участи, еще раз, в третий раз, попробуйте вспомнить. "Пу", слово на "пу"! Могу, если хотите, еще немного уточнить. Намекнуть... *Писатель!* И никуда уже не денетесь: у вас на прицеле писатель на букву "Пу". И ни "пурген", ни "пудель" не имеют к нему, можете мне поверить, никакого отношения. Ну вдумайтесь, соберитесь с мыслями, напрягитесь! У вас последний шанс в жизни сказать правду. Повторяю: писатель, классик, русский классик, из шести букв...

Я. Пушкин!

Он (*откидываясь в кресле*). Наконец-то! Правильно: Пушкин!.. Тот самый Пушкин, который, следуя вашим словам, где это? (*роется в бумагах, цитирует*) — "на тоненьких эротических ножках

вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох..." (Хохочет). Откуда вы это взяли, что у Пушкина, вдруг, эротические ножки?.. Ну да ладно, ладно! Всему свое время... Поймите, Андрей Донатович, этим словом из шести букв, в данную минуту, в последний момент, вы, может быть, спасли свою жизнь. Пройдут годы, десятилетия, и вы еще вспомните с благодарностью этот день, это чудное мгновенье, и скажете мне спасибо за то, что я заставил — нет! — уговорил вас сказать правду. Ваш прямолинейный ответ — "Пушкин!" — зачтется вам и в окончании следствия, и в определении приговора. "Пуделя" и "пурген" мы не занесем в протокол. Мы не злопамятны. Но "Пушкин" уже всегда, вечно будет стоять — как облегчающее вашу вину чистосердечное признание! Поздравляю! от всей души поздравляю!..

Я (обеспокоенно). А как же Чехов? Чехов все еще на мне?..

Он. Да нет сейчас никакого Чехова! Плюнуть и растереть! Чехов — мелочь. Опечатка. Чепуха. Просто под прикрытием Чехова вы протаскивали куда более далекие планы и виды на Пушкина. Пушкин — вот в чем суть! Пушкин — ведь это целый континент! Широкий горизонт, свободное дыхание — Пушкин! Вы же сами, как художник, тонко чувствующий звуки, должны понимать, что Чехов — не звучит. Подумаешь — какой-то Чехов! Пхе! Кто его помнит — комика, нытика. Вроде Зощенки. Но Пушкин! Пушкин! — это... Эпопея! Эпоха!.. (Пауза). И уж Пушкина-то мы вам в обиду не дадим. Пушкина — мы любим. На Пушкине все сойдутся. Пушкин всем дорог как нацио-

нальное достояние. И вот здесь-то мы вам, дорогуша, с вашего позволения, дадим по лапам. По лапам! По когтям! А не ходи в наш садик! А не прогуливайся под ручку с неизвестными душеведами из иностранного посольства вокруг нашего нерукотворного Памятника! *(Смеется, переходя на резкую, гневную интонацию)*. Это вам не царский режим!

Я. Постойте! *(Озаренный внезапной догадкой)*. Вы давеча то же самое о Чехове говорили. Вернемся к Чехову...

Он. Но вы же сами признались — Пушкин.

Я. Нет, Чехов. С Чехова все началось.

Он. Кончайте митинговать!.. Вы почему нашему Пушкину приписали тонкие ножки? Откуда вы знаете, какие у него были ноги? Вы что с ним, в бане мылись? Да после таких слов вы просто второй Дантес! В чьих интересах вы занижаете немеркнущее значение Пушкина?!..

Я *(упершись)*. Значение Чехова я всегда преувеличивал.

Он *(не слушая, с пафосом)*. В то время, как во Франции Де Голль рвется к власти, в тот момент, когда в Новой Гвинее свирепствует мировая реакция, ваши злобные нападки на Пушкина, по указке Пентагона, льют воду на руки сторонников холодной войны. Вы играете краплеными картами на мельницу противников в нашей разрядке международной напряженности. Расовой дискриминации! Классовой стабилизации! Нацизма, маоизма, сионизма и абстракционизма! Да как вас только земля еще носит?!..

Я. Напротив, абстракционизму Чехов хотел...

Он. Мало ли что хотел! Но существует логика, Андрей Донатович. Логика истории. Логика международной борьбы. А логика, — говорят факты, — упрямая вещь. Учитесь мыслить! Мировой империализм спит и во сне видит, как бы выбить у нас из-под ног великое наследие Пушкина и подставить вместо него какой-нибудь гнилой коктейль-холл, какой-нибудь конан-дойль...

Я (не слушая). Вместе с Чеховым мы ставим барьер холодной войне и переходим на горячую. "Три сестры" зовут братские народы Гвинеи: в Москву! в Москву!.. Ванька Жуков, кидая гранату, кричит империалистам: вам "Епиходов кий сломал", а нам "дом с мезонином" и "небо в алмазах"!..

Он. Тоже мне сравнили! "Капитанская дочка" у Пушкина — на тачанке — строчит из пулемета...

Я. "Каштанка" Чехова — кавалерия. Вперед, Каштанка, ура!

Он. Тяжелые орудия бьют без промаха: "Борис Годунов", "Борис Годунов"...

Я. "Чайка"! Забыли? Авиация!

Он. Разведка и контрразведка — "Мцыри", "Мцыри"...

Я. Так не играют! "Мцыри" это Лермонтов!

Он. Какой же это Лермонтов?.. Ну и пусть Лермонтов. А с вашей "Каштанкой" вы забыли главное! Вы забыли "Евгений Онегин". Ведь "Евгений Онегин" — это глобальная ракета на голову Америки! После "Евгения Онегина" от ихних небоскребов только барахло собирай...

Я. А все же Чехов...

Он. Не Чехов, а Чушкин!

Я. Не Чушкин, а Пехов!

Он. Нет, Чушкин!

Я. Нет, Пехов!..

(Включается ровный шумовой фон, заглушая наши голоса. Речь переходит в жесты, спор — в пантомиму. Мы снимаемся с мест, бегаем друг за другом по сцене, отчаянно доказываем, рвем на себе волосы, камзолы, хватаемся за сердце и яростно артикулирующими ртами произносим что-то уже неслышное. Допрос в это время напоминает дуэль — фехтование на шпагах из "Капитанской дочки". Однако, нападающий он, а я защищаюсь, парирую удары, увертываюсь, отступаю... На фоне негромкого ровного шума и наших танцевальных па, все перекрывая, вступает далекий и очень чистый женский голос — контральто — поющий романс Глинки на слова Пушкина).

Голос. Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты!

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты,

Как гений чистой красоты...

(По мере звучания этой ангельской музыки, я начинаю тревожно прислушиваться, озираясь, как если бы что-то смутно до меня долетало, хотя голос звучит недостижимо для нас, где-то за нами и над нами, и фехтование продолжается, затягиваясь, быть может, на несколько часов, дней, а то и на несколько лет. В итоге этих оглядок и явного превосходства противника, я отступаю и падаю, сраженный его беззвучным, неопровержимым жестом-аргументом. Он подхватывает меня, усаживает, подносит нашатырный спирт из своей на-

стенной аптечки. Музыкально-шумовая, сумеречная завеса спадает, мы вновь возвращаемся к трезвому свету дознания. Я прихожу в себя).

Он. Ну вот и прекрасно! Как вы себя чувствуете? Головка не кружится? Не хотите ли прилечь? Мы можем вызвать врача, Андрей Донатович...

Я. Не надо... Спасибо... Уже прошло... Просто мне что-то послышалось... помутилось... Никто не пел? Вы не слышали?

Он. Когда?

Я. Вот только что, где-то здесь, — никто не пел?

Он. Бог с вами! Кому здесь петь?.. (Смеется). У нас не филармония... Вы слишком восприимчивы... Не о чем беспокоиться. Все идет как надо. Как быть должно. И хотя нам с вами пришлось много поработать сегодня и поспорить, большая часть неприятностей уже позади.

Я. Уже все кончилось?

Он. Ну — не все. Но почти все. Вы же удостоверили факт вашего... ваших, как бы это сказать, недостаточно правильных формулировок, касающихся Пушкина?

Я. Правильных? К Пушкину вообще неприложимо это понятие — правильные формулировки...

Он. Вот и хорошо. (Записывает). Ол-райт, как говорят англичане... И потом, вы же согласились, что, рассуждая строго логически, вы, возможно, сами того не желая, не подозревая, играли на руку нашим — и вашим, Андрей Донатович, — и вашим недоброжелателям!...

Я. Кто знает заранее, кому он играет на руку? Даже, вероятно, сам Пушкин не ведал...

Он. Великолепно сказано! (*Записывает*). Не знаю, как у вас, но у меня к вам, в результате нашего содержательного собеседования, несмотря на отдельные и даже принципиальные разногласия, появилось чувство какого-то душевного контакта. Взаимопонимания, взаимопомощи. И я вам стараюсь помочь во всем, что в моих силах, и от вас жду такой же ответной поддержки. Но ведь так и должно быть между людьми? Не правда ли? Как вы считаете?

Я. Я не совсем улавливаю. У меня как-то все перепуталось в голове. Смешалось...

Он. "Все смешалось в доме Обломовых" (*смеется*). Бывает, бывает. (*Доверительно*). Но было бы нежелательно, крайне нежелательно, если вы собственные ваши признания воспримете словно какую-то внешнюю обузу, чуть ли не навязанную вам насильно с нашей стороны. Всякий человек обязан самостоятельно прийти к жизненно-важным решениям. В том числе к пониманию своей виновности...

Я (*вздрыгнув*). Но я же не признал себя виновным.

Он. То есть — как это? Невзирая на факты?

Я. Невзирая на факты.

Он. Вопреки логике вещей? Логике истории?

Я. Пускай хоть вопреки логике. Не признал.

Он. Ну, знаете ли!.. Впрочем, воля ваша. Угодно капризничать — пожалуйста. Вам же хуже будет. Да и не вам, в конце концов, определять степень своей виновности. Для этого есть иные инстанции... С вас на сегодня хватит.

Я. Так я свободен?

Он. На сегодня — свободны.

Я *(вставая)*. Я могу идти?

Он. Куда идти?!

Я. Ну я не знаю — домой?

Он. Вы шутите! Мы с вами только-только начали разговаривать. Только во вкус вошли. А вы — домой!

Я. Что же со мной... делать теперь?

Он. Как — что делать? Судить будем, судить.

Я. А когда? Нельзя ли поскорее?

Он. Ишь вы какие быстрые! Да у нас сегодня, Андрей Донатович, самый первый, самый предварительный день допроса.

Я. И много еще допросов?

Он. Это от вас зависит. Исключительно от вас.

Я. Нет, я хотел узнать, сколько примерно дней допрашивают, ну, таких, как я, — до суда?

Он. По-разному. Сто допросов. Двести допросов. Всё в руках человеческих...

Я. Сто допросов?!

Он. Да. А сегодня — первый. *(Снимает трубку)*. Дежурный? Заберите подследственного! *(Ко мне)*. Да вы не волнуйтесь: мы во всем разберемся. Во всем. Нет ли у вас каких-нибудь жалоб ко мне? Дополнений? Разъяснений? *(Встает)*.

Я. Нет. У меня ничего нет.

(Входят три оперативника, из той же группы, в военной форме).

Он. Произведите общий досмотр заключенного. Раздевать не надо. Потом. *(Ко мне)*. На все ваши вещи будет составлена опись. Можете не сомневаться: у нас ни одна нитка не пропадет!

(У меня забирают портфель, извлекают отту-

да книги, тетради, снимают часы, ощупывают, хлопывают, выворачивают карманы и все складывают на край стола, перед следователем. Под конец снимают ремень).

Я. Зачем же ремень? Как же без ремня?

Первый оперативник. Так положено.

Второй. А это, браток, чтобы ты не удавился.

Третий. (еще раз проверяя карманы, полушепотом). Не тушуйся! Может, еще отпустят...

Он (из кучи на столе брезгливо берет двумя пальцами носовой платок). А это еще что у вас?

Я. Носовой платок.

Он (еще брезгливее). Можете взять обратно. (Через помощников платок возвращается ко мне. Все вещи, вперемешку, складывают в портфель и уносят). До завтра, Андрей Донатович! Вас, я полагаю, покормят. Желаю вам доброй ночи. Приятных снов.

Первый оперативник (шипит). Руки!

Я. Что — руки?

Первый. Руки назад! (Меня выводят).

Он (несколько секунд стоит в неподвижности, трет лицо ладонями, как человек глубоко уставший). Ну и денек! (Набирает номер по второму телефону). Товарищ генерал?! Да, это я беспокою. Код 686. Разрешите доложить? На сегодняшний день — закончили. Что?.. С большим удовлетворением... Расколется — куда ему деваться? Уже поддается... Да, да, многое признал... Но ведь только начали, товарищ генерал! Только самое начало!.. (Вешает трубку, подходит к моему столику и выпивает остывший чай, который оставался нетронутым). "Мы отдохнем, мы отдохнем!" (Снимает

другую трубку) . Дежурный? Приведите следующего! Ну из этих, из свидетелей. Давно ждет? Полтора часа? Ничего — это ему на пользу! (Вешает трубку. Прохаживается) . "Мы отдохнем..."

(Занавес)

* * *

В ожидании приговора нас развели по камерам. Верховный Суд не спешил объявить свое грозное слово. Пауза непропорционально затягивалась, потому что приговор был, конечно, уже готов и нуждался лишь в длительной выдержке, создающей торжественный образ, будто в напряженном антракте его тщательно вырабатывают. Как в такие часы ведут себя другие арестанты, я не знаю. Но после бесплодной борьбы и очевидного проигрыша мной овладело спокойствие обреченного, скинувшего тяжесть забот на шею чужого дяди. Обещанный семерик лагерей плюс пять ссылки, как затребовал Прокурор, простирались впереди настолько необозримой равниной, что проще было вообще об этом не думать, нежели с нетерпением ждать увенчания Суда.

Не я первый, не я последний. Приговоренные к высшей мере, как правило, не допускают, чтобы их всерьез расстреляли. Случается, в минуту выслушивания они смеются, думая, что над ними подшучивают. Томление, говорят, начинается уже в смертной камере... Двадцатилетники и двадцатипятилетники, дожившие до нашего плаванья, лишь иронически похмыкивали, когда им лепили срока. Они

ждали скорее светопреставления, чем рассчитывали отсидеть предусмотренное. Теперь они, постарев, досиживая остатки, потешались над молодой, забубенной своей головушкой, не верившей, что такое возможно. Каждый из нас по-своему спорит с правдой, выходящей за границы рассудка.

По неопытности, сдуру, покуда не пожаловал суд, я стал качать права у коменданта, уговаривая побыстрее перевести Даниэля ко мне, либо меня к Даниэлю. Такой порядок, я слышал, всегда практиковался в конце судебного мытарства. Подельников на последях сводят вместе, в одну камеру, как ненужный уже суду, отработанный шлак. До той поры из Лефортова и назад, на ночь, меня с Юлием возили в разных воронках, чтобы мы не перекрикнулись. Сейчас, по-видимому, эта надобность отпала, и нас без греха могли бы соединить. Но чем настойчивее, естественно, я просился к Даниэлю, тем вернее отрезал себе всякую надежду на встречу. Тюремщики любят следовать путем, обратным страстному надоеданию арестованного. Вот если бы мы разругались, поссорились вдребезги, как это нередко случается с обезумевшими однопдельцами, нас держали бы теперь вместе взаперти: пусть перегрызутся! Я еще не усвоил, кто мы на самом деле в их разгневанных, похолодевших очах. Наш союз с Юлием почитался у них вражеской вылазкой, буржуазной пропагандой... Они согласно кивали головами: "— Да, да, Даниэля к вам безусловно переведут... Это уж такое правило. Закон. Не беспокойтесь. Потерпите еще немного..." Потом: "— Понимаете, какая беда — не нашлось конвоя. То есть, мы дали, конечно, конкретное указа-

ние. Но комендант забыл или перепутал. Я помощник коменданта. Уверяю вас, в Лефортовском изоляторе вы непременно встретитесь. Успеется, насидитесь еще вместе, вдосталь, еще надоест, куда вы оба торопитесь?!.” И разъединили уже прочно, надежно, до окончания лагеря... До сей поры не пойму, чего они так опасались?

Мне лишь бы на общей тризне обняться с Даниэлем, разведать о здоровье, поздравить с крещением в ледяной судебной воде, обговорить, перемыть детали, механику выискивания, подслушивания и, наконец, следствия, когда, загибаясь, он выгораживал меня. Я-то все это видел изнутри, из самого, что называется, естества, из мяса, — по протоколам допросов. Любовь моя, гордость моя, Даниэль — это король. Но не о том слово — первое слово, которое, до зарезу, мне было необходимо сказать.

Был у меня тяжелый сон, в самом еще начале нашего ареста и дела. Я увидел Юлия рядом, в камере, расположенной реально от меня, может быть, за тридцать, за пятьдесят камер, за камнем, за железом, — всего вернее, на другом этаже. Он сидел потатарски, калачиком, на точно такой же, на которой я спал, койке, поджавшись к стене, с ногами, бледный, изможденный, в разодранной рубашке. Но что меня больше всего резануло тогда в Юлии, — на груди у него, на шее, на черном лаконичном шнурке, висел крест. Чего это он? — я подумал. Религиозностью не отличался. В христианство не путался... Конечно, если рассуждать, крест, он все перекрещивает, перекраивает в нашей балованной жизни, начиная ее заново, от нуля. Вы можете до этого быть

кем хотите. Но стоит загореться кресту, и вам крутой перелом, конец, крест. Не то чтобы непременно человек умирал. Видоизменялся. Пусть он себе живет, плодится и размножается. Но каждому из нас, хоть раз в жизни, в знак моста, в напоминание о реальном, был переброшен крест. Не пугайтесь, не обязательно в виде какого-нибудь орудия казни или ноши, которую теперь изволь кряхтеть до неба. Нет. Только засвидетельствуй, признай, поройся в памяти: он был предъявлен. Совсем и не твой, возможно, а чей-то чужой крест. Но рано или поздно, куда ни прячься, он будет тебе поднесен. И — прямо к губам...

Во сне, натурально, в это во все я не вникал. Одно — удостоверился: где-то здесь, за стеной, Даниэль, не в своем виде. Болен, что ли, или хуже, не выживет, в тюрьме ли, в лагере, с вечным крестом на шее? Грех, черный грех на мне. Загубил своего Даниэля. Втравил в литературу, втянул, наркоман, в пустошь, в трубу, откуда живыми люди уже не выходят. Успокаивайся теперь: сам полез, я же отговаривал — схватят. Да в том, что схватят, и был, может быть, соблазн. Писателей, знаете ли, тянет иногда заглянуть за край. Тянет...

Незадолго до этого, на вечеринке у Даниэля, в компании, мы сидели с ним, полупьяные, на полу, в обнимку, и я его чуть ли не в голос оплакивал уже заранее, глядя по черствой, в каракуль, теплой, как варенье, голове негра, по свисающей по-собачьи, премудрой, большой морде, в тяжелых складках, которую, через полгода, я действительно увижу, с новой, еле-еле заметной, горькой ложбинкой у рта, уже под штыком, на удаленном от меня рас-

стоянии скамьи, как специально устроители рассаживали нас, не давая перемолвиться. Мы только переглядывались иногда и криво, понимая друг друга усмехались, да еще, опустив руки на колени, изображали рукопожатие, рот-фронт. Рот-фронт, Юлька! Писатель — внутри, заперт. Спросим себя, разве писатель, по-настоящему, это не конченный человек? Разве он не пытается всегда извлечь что-то новенькое из своей преждевременной, прижизненной кончины? Я предупреждал. Заперты. Но в другой узнать смертника?.. Литература — капут. Нет, так бросаться собой мог один Юлька...

Чем, однако, полезным заняться в пустоте ожидания, пока там, на небесах, судьи обедают, слоняются без дела, растягивая старательно таинственное свое заседание, как если бы что-то решали, оспаривали в нашей уже решенной без них, апробированной жизни? На счастье, у меня при себе оставались папка с бумагами и официальный карандаш. Ручку они запрещают, как орудие самоубийства. Но по статусу подсудимого пиши карандашом — не отберут, не придерутся, тем более что преступник проходит, так сказать, по писательскому каналу. А может, я себе обвинение сочиняю в предварение приговора? может, я какую-нибудь еще кассацию собираюсь накатать? На сей раз закон был на моей стороне.

И я начал намарывать какую-то бестолочь, приходившую на ум, не имевшую отношения к делу, — главным образом о книге, которую я со временем напишу, благо ничем другим был не в силах себе помочь. Не то чтобы какие-то замыслы роились в моей голове. Руководили не жар писательства, не

литературный зуд, но инстинкт самосохранения, подсказывающий держаться за жалкое призвание крепче крепкого в момент, когда его у тебя, на виду у всех, отнимают. Мне важно было остаться писателем в собственной памяти и только поэтому вытянуть. И если жизнь проиграна и карта перекрыта, перейти на клочок бумаги, на это маленькое подобие необитаемого острова, на котором можно попробовать заново обосноваться.

... Это будет, на самом деле, книга о том, как она пишется. Книга о книге... Когда пишешь, не знаешь, к чему это приведет. Но пишешь и пишешь. С закрытыми глазами... Речь должна переворачиваться. На то она и речь. Она полна глубоких, но осмысленных неожиданностей... Ко всякой вещи подобает относиться почтительно, как к слову, которым эта вещь называется. Слово почтительнее вещи. И жить уже не среди вещей, но посреди слов, серьезно... ..И погрузиться в сладостный, тихий, движущийся мир прозы... Придумать, на крайний случай, если понадобится, язык, никому не доступный... И, умирая, знать, что все слова были поставлены правильно...

Собственно, не было ни темы, ни сюжета, требующих воплощения. Не было ни героев, ни образов, кроме этой мечты о книге, которая не известно зачем и с чего начнется, а если и начнется, то как ее, когда и каким еще карандашом написать? Речь шла скорее о книге, которая не будет написана, но пребывает где-то там, в состоянии спорады, надежды, в самой себе, в отдалении от автора.

Я так и не написал этой книги и вряд ли напишу. Но прикосновение к мысли о ней всегда под-

держивает в самые беспросветные полосы, и когда, казалось бы, все пропало, она является невзначай и тихо-тихо бродит вокруг, как бы медленно созревая, наращиваясь, пускай весь ее смысл состоит в этой сладкой недосыгаемости. Да, да, ты только думаешь о ней и не решаешься подойти, не подаешь вида, что когда-нибудь, с годами, за нее засядешь. Она полна неясных и неутоленных возможностей, она в праве быть и этой, и совсем другой, на себя не похожей, сама не зная, куда ее потянет канва, как повернется сюжет и лягут фразы, она вольна существовать бессвязно, необязательно, полнясь до краев мечтами и образами замаячившей перед глазами, но все еще не знакомой, не использованной свободы, по примеру человека, выпущенного вчера из тюрьмы, перед которым отворились ворота на все стороны света. Пока он едет в поезде в неизвестном направлении, а мы в свой черед, ему на смену, по-новому, идем на этап, пока не подоспела, не подступила к тебе книга, ты ей медленно говоришь сдавленным от восторга голосом:

— Не надо. Оставь. Побудь впереди, в этом тайном сознании длительного к тебе притяжения, в предвидении блаженства и ужаса тебе повиноваться, меря всякий день по отпущенным за ночь страницам. Останься такой, как есть, раздайся за эти стены, забудь обо мне, погоди, дай свыкнуться с мыслью, перевести дух, без усилий, без навязчивой привычки писать, сжался, ты же видишь, как слаб и не умею объяснить, чего ты хочешь, что ты устала на меня с укором, словно ветхий пророк, чтобы мы решали, жертвовали, мне завтра в лагерь, насушить сухарей, снять комнату, спросить махор-

ку, добыть очки, заварить кофе, прежде чем годы и годы сидеть над твоей колыбелью, позволь пожить, предоставь отпуск за мой счет, разъедемся, прошвырнемся по городу, без дела, не думая, как сойдутся концы и улицы перевести на страницы, зайдем в кино, смотри, нет чернил, бумага кончилась и неостанет бумаги, в довершение дней, для совместных приключений. Уйди, пусти выйти, встретимся через семь лет, на том же месте, если хочешь, дай побыть без тебя, ну хоть в тюрьме, без тени, в неведении, хоть год, хоть месяц. Один день. Постой, куда же ты, слышала, бежим, никто и ничего, ни в мире, ни в камере. Кроме, без твоего покрова, где преклонить колени, залечь, сойти на нет — спаси меня, возьми меня с собой, унеси, книга!.. —

... Недели через три, к вечеру, за ночь до этапа, меня выдернули к следователю. Мы встретились как старые приятели. К тому моменту — за долгое общение — он как-то притерся и прижился в моем сознании, сделавшись, я бы сказал, наиболее приемлемой, доброкачественной маской среди судейских теней и привидений тюремного клана. При всех маневрах, он видел во мне более или менее живого человека, и я старался, ответно, то же самое в нем разглядеть. Не то чтобы от него исходило расположение. Благовоспитанный чиновник, он-то и подвел меня под обвинительную секиру, с вытекающим отсюда развитием. Но следователь Пахомов, в отличие от других инквизиторов, просто в силу хотя бы наших постоянных контактов, оброс материальным лицом в моих глазах и мелкими подробностями, которые, в общем-то, и поз-

воляют нам судить худо ли бедно о человеческом характере. Во всяком случае в призрачном мире тюрьмы он спланивался для меня в доступную восприятию, пускай и неясную, ткань. После суда на Пахомова было приятно смотреть.

На сей раз, в последний вечер, он представлялся огорченным. Удовлетворение и какая-то подавленность вместе были написаны на его полном лице. Ему меня было жаль, по-отцовски. Как и многие другие, он знал приговор наперед, но по долгу службы выражал соболезнование и грустно умывал руки, призывая в свидетели, что ни он, Пахомов, ни органы госбезопасности к моей судьбе не причастны.

— Честное слово, у нас никто не думал, что столько дадут!.. Нет, мы не хотели!.. Что поделаешь — закон! Вне нашей компетенции! Это много — семь лет! Да еще строгий режим! Вы сами заработали! Не надо было глупо вести себя на суде... Я предупреждал — и вот результаты. И потом это ваше заключительное слово на процессе. Лично я не в курсе, чего вы там городили, но это же, все говорят, скандально, безобразно... Ни в какие ворота!.. просто ни в какие ворота... Зачем вы так... вы сами себя... сами себе...

Он спихивал грех за тяжелый срок на меня. Это так понятно. Никому, за редким исключением, не хочется быть палачом. Сколько раз, и дальше, и прежде, люди, меня истреблявшие, объясняли мне доверительно, что сам я во всем виноват. И назывались — друзьями... С какой же стати Пахомову лезть в малюты? Он только со мной размежевывался, как с тонущей льдиной, поскольку был хоро-

шим, обыкновенным человеком, как сам рекомендовался. Ничуть не хуже меня.

Недавно, уже в Париже, мне привиделось во сне круглое, детское лицо Пахомова, с маленькой, сдобной бородавкой у рта, как это иногда бывает. И он брызгал слюной на то, что я сейчас рассказываю:

— А я не щелкнусь! Ты не думай. Это *те* щелкались, *те* — из старой гвардии! А я — не щелкнусь!..

К чему это он? Такими словами мы никогда не обменивались: "щелкнусь", "не щелкнусь", "старая гвардия"... Откуда они берутся? Сны и явь редко совпадают.

Конечно, его со мной многое связывало. И в следующий раз, при случае, я еще постараюсь поймать Пахомова на слове, как он ловил меня, выводя на чистую воду. Допрос — обоюден. И нет конца допросам. А пока — что сказать? Ну, средний класс. Хороший следователь. Добропорядочный человек. Одно уже имя говорит в его пользу и звучит спокойно: Пахомов. Виктор Александрович — тоже просто и немного по-домашнему, но в меру. Не надо бояться.

Сейчас, прощаясь, он казался почему-то расстроенным. Это после выяснилось, много после, чем, собственно, Пахомов был тогда угнетен. Процесс сорвался. Спектакль провалился, и ты помог этому, писатель. Не обольщайся: совсем не в тебе дело. Но дело получило толчок, ход, благословение, огласку, бешеный успех и, не дойдя до покаяния, до кульминации, упало. Это как в романе, представьте. Ни с того ни с сего герой выходит из строя, вылезает из фабулы, из кровати, буквально,

из объятий Прекрасной Дамы. И говорит: Я пойду пройдуся... Это после всех-то в публичных процессах завоеванных достижений? Когда всякому ясно, как правосудна страна. На Верховном-то Суде — не признать? Увильнуть? Вредительство. Как взорванный долгожданный Дворец. Как диверсия на транспорте. На фабрике. Только-только налаживалось. Фейерверк. Форум. О, не верь — не твои семь лет задели пахомово мохнатое сердце. Не был бы он подполковником по особо важным делам. Сам ты хвостатый! Сам во всем виноват! Тем временем, покуда, нахохлившись, без выходных дней, заседали, делили дело, сходил бы в универмаг: куры из Ирландии! Не возразить. Безболезненно. Пока там, в камерах, по лагерям догнивают, они ковали, трудились, не покладая рук, высиживая золотое яичко. Пасхальное. Разбилось. Мышка бежала, хвостиком вильнула, яичко разбилось. И вся сказка! Это надо оценить. Готовился к празднику, к 23-му съезду, партийный, от КГБ, подарок. Показательный, с оглаской Западу, на белоснежной, с хрустом, салфетке... Но куры из Ирландии — разве они поймут? И кто продолжит? Чем возместить? Что делать? Я спрашиваю: как выразить?! В миракли, в пристяжные ЦК, позванивая колокольцами, с Лениным в санях, во дворец, в казнях, с реабилитацией Сталина, въехать, в регламенте, с псалмами и залпами под звездой, под горькой звездой Семичастного. Под высокой его, под закатающей слезой...

— Вы сами виноваты, — бормотал Пахомов, думая о чем-то своем. — Вы сами виноваты, Андрей Донатович...

О товарище Семичастном я в состоянии размышлять исключительно отвлеченно, по звукообразу имени, которое остановило меня с чисто графической стороны, спускаясь на паутине в виде подписи на обвинительном грифе. Какое-то удивительно длинное и, чудилось, не вполне основательное для занимаемого положения имя. Даже генерал Волков, не говоря о Пахомове, весил больше. Сами посудите:

”Председатель Комитета Государственной Безопасности при Совете Министров СССР, генерал-полковник

В.Е. Семичастный.

Начальник Следственного Отдела СССР, генерал-лейтенант

А.Ф. Волков.

Следователь по особо важным делам, подполковник

В.А. Пахомов”.

Все ниже и ниже, по строчкам. И, наверное, потому, что писался Семичастный выше и протяженнее всех, он складывался у меня в уме в длинную, складную фигуру, вроде Дон-Кихота, для которой, если взойдет она в комнату, делались бы специальные проемы и прорезы в потолке, точно расчерченные, по линейке, чтобы было куда ей девать узкогрудое туловище и слаборазвитые плечи, терявшиеся в прорезях уже следующей надстройки, где она размещается верхней частью, всегда непостижимо отсутствующей. Мне-то снизу были видны только ее ноги, наподобие ходуль, неустойчивые, хилые ноги, спускавшиеся для подписи. Кто же мог пред-

угадать, что смутное это чувство, исходившее единственно от растянутых очертаний фамилии министра, вскоре оправдается и Семичастный, комсомольский работник, верзила, кулачный боец, на расправе с Пастернаком схвативший олимпийский приз, исчезнет с горизонта, словно конькобежец, уступая дорогу блистательному рекорду Андропова?..

— Вот и доигрались! — попрекал мягко Пахомов. — Вели бы себя умнее, и все бы обошлось.

А я, не горячась, излагал ему порядок судебного разбирательства, о котором он будто бы впервые от меня слышал, с удивлением, поскольку ведь это уже иная, дальнейшая, в передаточной системе идей и звеньев, коллегия, не зависимая от следствия, ну как я не понимаю, другая, во что вникать ему по закону не положено, во избежание воздействия заинтересованного лица, для правильности, в соразмерении выводов, чему я не перечил и, пользуясь видимым различием колес в конвейере, обрисовывал верховные головы на уровне помойного дна. Казалось, он сострадал мне и наслаждался нехотя мерзостью простоволосых своих, судебных коллег, пока, похохотав, не спохватился:

— Однако, знаете, какие мы письма получаем с той поры, как это — не по нашему, поверьте, желанию, — попало в печать? Сотни писем! С требованием для вас, не шутите, смертной казни... Вот пишет одна, бедная уборщица: у нее сын, за небольшую кражу, восемь лет схлопотал! А вы! — за совершенное вами! — семь?.. Что вы валите на Смирнова, на общественных обвинителей Кедрину и Васильева?.. Вам их благодарить надо! Благослов-

лять!.. Да весь народ считает, что мало вам присудили... Выпусти вас, предположим, вот сейчас, на свободу, на улицу, — вас бы растерзали...

В его тоне слышалась горечь, смешанная с откровенной угрозой. Откуда мне было знать, что мой Пахомов репетирует оборонную речь донского казака на 23-м съезде? Дескать, секим башка! на коня! газават! и слава партии! Шла джигитовка. Велась тяжелая артиллерийская полемика с Западом. Естественно, письма, пресса и весь народ были против меня. И только он, Пахомов, с его карательным аппаратом, еще охраняли нас от ярости народной. Но и они не всемогущи, намекал он, разводя руками. Если бы суд, по просьбе трудящихся, пересмотрел дело, то... В это я верил.

Сокамерник, из бытовиков, хороший парень, вздыхал:

— Лишь бы вас подольше попридержали в Лефортове. Пока волна не уляжется. Вы не знаете блатных. Политические для них — фашисты. А вы еще хуже. Могут изуродовать, свести счета по газетам...

Кое-что из газет я уже смотрел. Самую малость. Но и без этого, по всей атмосфере, было заметно, что народ не потерпит в своей среде отщепенцев, которым самое безопасное место в тюрьме. Сокамерник мне сушил сухари на батарее, готовя на этап, и все молил Бога, чтобы повременили с отправкой. Пускай сперва изгладится память обо мне и Даниэле.

— Хотите на прощание я вам дам добрый совет? — спросил Пахомов, светлея лицом, словно о чем-то вспомнив. — Не как следователь КГБ. Про-

сто как человек с известным жизненным опытом...

Я рад был его послушать. С тех пор, как допросы кончились, он мне даже нравился или, точнее говоря, занимал с собственно психологической стороны, как человеческая природа всей этой особой и странной для меня разновидности существ, сделавших своею профессией уловление и защемление ближнего. Всегда интересно знать: что ест крокодил? Казалось, через него я постигну когда-нибудь и тайну власти, и загадку современной истории, общества, положившего делом жизни истребление жизни, личности, искусства, меня, в частности... В качестве же человека, индивидуального лица, которое я за ним всегда подозревал, он не возбуждал антипатии, и я не держал на него сердца. Просто мы с ним немного разошлись во мнениях... Пахомов рассмеялся:

— Вы уже насторожились?! Да бросьте, Андрей Донатович, все время думать, что вас обманывают... Мой дружеский совет очень прост: сбейте бороду. До отправки в лагерь сбейте бороду. Рекомендую...

— А когда этап?

— Право, не знаю. Это же, сами понимаете, — вне моей компетенции...

Он сделал обычную свою, брезгливую гримасу, которую я уже заучил, означавшую, что тюремные порядки не имеют к нему касательства. Сопоставление с тюрьмой странным образом его коробило. Как-то, еще в начале нашего знакомства, он поинтересовался: "— Вас, Андрей Донатович, наверное, там плохо кормят?.." — с сочувствием, понизив голос, выражая одновременно крайнее сожаление,

что ничем решительно, при всем желании, не в силах мне помочь. Помнится, в раздражении, я осведомился: где это — там? — Ну-у, — помялся он вальяжно, избегая неприятного слова, — ну там, надзор-состав, персонал...” Стоило мне, однако, иронически усомниться, да возможно ли такое, чтобы он, следовательно по особо важным делам, всю жизнь проработавший бок о бок с тюрьмой, вот здесь, за этой дверью, не ведал, как содержат арестованных, чем их кормят в его тюрьме, как он искренне обиделся. И это не было, уверяю вас, обыкновенным его, изо дня в день, должностным хамелеонством, к которому я тоже достаточно уже присмотрелся. Нет, это был взрыв живого негодования! Почему?! Какая связь?! Одно дело — тюрьма, другое — следователь. Это же разные вещи! У них и министерства разные — МВД и КГБ. У одних малиновые фуражки, у других голубые. Но главное — функции, функции несопоставимы! Неужто я думаю, что это он, Пахомов, здесь меня держит, стережет, плохо кормит? Что он меня арестовал? Что он, может быть, и прокурор, и суд, и тюрьма, и лагерь? Все — он?! Да у него узкая специальность — следователь! Конкретный отрезок. От сих — до сих. Меня послушать, так он, Пахомов, — и все наше государство, и печать, и общество!.. Он не ошибался. Что все это он, Пахомов, — я так и думал, между прочим, откровенно говоря. Только сам он об этом еще не знает. Однако, когда этап, — он знал. Точно знал!

— Как вы думаете, Виктор Александрович, — меня вместе с Даниэлем отправят? В одном вагоне, в один лагерь?

— Повторяю, я не в курсе. Но скорее всего — вместе. Надеюсь... И сбрейте бороду, мой совет. Сегодня же вечером. Попросите надзорсостав — они сделают. Будете как новенький...

— А куда?

— Тоже не знаю.

— На север? На восток?

— Скорее всего — не на север: по секрету, так уж и быть... Может, даже — на юг. Южнее — Москвы...

Он улыбнулся. И следовательно кстати бывает сказать вам приятное.

— В Казахстан?

— Вот видите — вы какой! Все хотите допытаться... Нет-нет, больше я ничего не скажу! Но бороду — снимите. И вам не к лицу... И, потом, знаете, привяжутся... Воры, уголовники. Могут и поджечь. Поднесут, знаете, спичку — и вспыхнет. Как стог сена...

— Ну когда сожгут — тогда и сбрею. Успеется.

Следователь поскуchnел. Заботился он обо мне или запугивал, чтобы сбить спесь? Сокамерника вот тоже тревожила моя борода. К чему лишний раз обращать на себя внимание?.. Могут изуродовать... Но как это ни смешно, снять бороду в тот момент казалось мне спуском флага.

Внешности своей, портрету, я значения не придавал. Плевать мне на какую-то бороду! Но уж очень они что-то старались, настаивали... Раскаяние? Измена себе? Потеря лица? Чего этот Пахомов, по важным делам, крутится вокруг бороды?.. Нет, сволочи! Не дамся. Короче, мало-помалу я становился уголовником, как сами они называли,

злым и недоверчивым зеком, высчитывающим каждый шаг от обратного. Только от обратного!..

Да и то, пораскинуть мозгами, пройдет год, большой лагерный год, и к Даниэлю, на 11-ом, подвалится заезжий чекист, к станку, в производственной зоне.

— Привет вам от Синявского! — скажет, внимательно поглядев, как Даниэль вытаскивает какое-то, по норме, дерьмо. — Я только что из Сосновки, с первого лагпункта. Синявский просил кланяться...

— Спасибо, — ответит, не поворачивая головы, Даниэль. — Что Синявский?

— Нормально. Ничего. Здоров. Недавно побрился...

— Как — побрился?! — не поворачивая головы, Даниэль.

— Да вот так. Он теперь без бороды. Я сам его видел. Разговаривал. Вот привет вам привез...

Стоит ли пояснять, что я и в глаза не видал этого хмыря? И бороды не брил. Далась им моя борода! И никакого привета, с чекистом, не посылал...

Расставаясь со мной, Пахомов, в последний раз, посоветовал:

— Ох, подожгут вам урки вашу лопату! И не идет вам совсем. Помяните мое слово!..

И взаправду, утром — этап. Все как полагается, как читали: овчарка, автоматчик. "Шаг вправо, шаг влево..." Ноги разъезжаются. Март. Со свежего воздуха я шатаюсь. Неужели действительно выстрелит, если, допустим, поскользнусь? Дальняя, тыльная сторона вокзала. Кажется, Казанский? Не разобрать. Черные человечки копошатся на шпалах. Светает. Скользко. Всаживают в поезд на ка-

ких-то интимных путях. Безлюдно. Пустой вагон. Голое железо. Через весь зарешеченный коридор, дальше, дальше, в передний отсек. Стоп. Тройник. Один. Столыпин. Полчаса не прошло, слышу топот, ругань, лязг, толпа, забивают арестантов, в клетки, по отсекам, не докатываясь до меня. Ах да — я же политический, опасный! А за мной, за перегородкой, по клеткам, вперемешку — блатные, урки, бытовики — навалом! Бедняги! Я, как барин, сижу один, в отдельном тройнике, чтобы не было эксцессов, наверное. Ловлю имена, голоса. По вагону — гогот, брань, перепалка.

— Люба, Вера! Хочешь — пососать?

Уж на что я привычный...

— Иди на хуй! — огрызается Люба или Вера. Кокетничает. Бодрится, чтобы не заплакать. Весело кричит "на хуй", а в голосе злые слезы. Сколько ей дали — восемь или десять? Мне как-то совестно в одном купе на троих... Трогаемся, вроде. Куда? Я не верю Пахомову. На юг или на север? Не все ли одно? Едем. Кажется, едем. Не доводилось еще в вагоне без окон, где только по стуку колес успокаиваешься: едем!

Разносят кипяток. Хлеб, селедка. В зарешеченную дверь, ромбами, виден отрез коридора. Бегают конвой. Огрызается: кого в уборную? Меня, меня в уборную! Выводят. Спереди и позади по солдату. Руки назад! Не оборачиваться! Иду на оправку. Кошу глазом: слева, людской стеной, в зоопарке, — глаза, пальцы, носы. Не задерживаться! Быстрее! И вдруг — в затылок — призывным криком:

— Синявский! Синявский!

Не останавливаться! Шальная мысль: Дани-

эль? Юлька? Здесь? Его тоже везут? Кто другой узнаёт меня? Нет, не его голос... С оправки. Кошу направо. Зеки, зеки и зеки — как сельди в бочке. Сзади — опять:

— Синявский!..

И — смех... Нет, не Даниэль! Но откуда? Кто?.. Камень на сердце. Догадываюсь: конвой разболтал. Либо специально подстроено. Хотят проучить, напугать. Пахомов предупреждал: подожгут. Сбывается...

Подходит начальник конвоя. Молодой, собранный. Точеный. Затвор от винтовки. Смотрит спокойно и холодно ко мне в клетку.

— Откуда, — спрашиваю, — у вас тут, в вагоне, знают меня по фамилии? Все документы — у вас. Никого ж не было, когда меня — заводили. И, вообще, никто меня никогда не видел. Почему окликают? Это вы им рассказали?..

Тот долго и мрачно, через решетку, покачиваясь, всматривается в меня. Вспоминает. И злобно, словно я Пугачев, чеканя:

— А тебя теперь все знают!

Лицо мраморное, прекрасное, как это в мраморе бывает, с розовыми прожилками, в сдержанной ненависти ко мне, которые, не дай Бог, нальются чуть более розовой кровью, и треснет — мрамор, но белое покамест, как бюст. Из таких бы лиц высекать памятники legionерам конвойной службы, когда боец держит тебя на прицеле, а та рычит, та рвется с прицепки, но тот, усилием воли, ее осаждает назад, с непроницаемым, как пьяный, лицом, в исполнение дисциплины, презрения и гордого довольства собой, что он тебя не убил, только сме-

рил взглядом и, не удостоив внимания, цокая подковками, пошел дальше по вагону.

— А тебя теперь все знают!

Плохо мое дело. Ясно: конвой разболтал — кого везут и за что. Только вот куда и сколько еще ехать — не ведомо...

Вечером или ночью — в темноте, в прожекторах не поймешь, который час, — выгружают. На сей раз — всех вместе, не разбираясь в мастях. Сбитой в загон отарой мы вертимся, мы теснимся на снегу, в прожекторах, наставленных в наше крошево.

— Где мы? — громко спрашиваю.

— В Потьме! Мордовская АССР! — отзывается рядом какой-то, должно быть, бытовичок. — Вы что — не узнаете? Раньше — не бывали? Вы из какой тюрьмы будете, простите?..

— Из Лефортова.

Твердо — из Лефортова. Для меня Лефортово — марка. У меня отец еще сидел в Лефортове, и я ему деньги носил. Что ни месяц — 200 рублей, считая старыми деньгами. Для них — не известно еще, звучит ли это имя, означает ли что-нибудь? Но я — из Лефортова...

— Из Лефортова?! — разом откликнулось несколько голосов. — Смотрите — он из Лефортова! Один — из Лефортова! Где — из Лефортова?..

Когда я повторяю сейчас эти гордые знамена — "из Лефортова", — я знаю, что говорю. И мне хочется, чтобы Лефортово оттиснулось на лбу режима не хуже, чем Лубянка, Бутырка, Таганка... Лефортово почиталось, между знатоками, особенной тюрьмой. За Лефортовым стлались легенды, таинственные истории... Будет время — я об этом расскажу. А пока:

— Я из Лефортова...

Смотрю, проталкиваются — трое. Судя по всему — из серьезных. Независимо. Раскидывая взглядом толпу, которая раздается, как веер, хотя некуда тесниться.

— Вы из Лефортова?

— Из Лефортова.

— А вы в Лефортове, случайно, Даниэля или, там, Синявского — не видали?..

— Видал. Я — Синявский...

Стою, опираясь на ноги, жду удара. И происходит неладное. Вместо того, чтобы бить, обнимают, жмут руки. Кто-то орет: "качать Синявского!" И — заткнулся: "— Молчи, пададь! Нашел время..."

В большой, общей, — я никогда еще не видал таких больших и общих, — параше, куда вмещается разом полэтапа, где мы будем спать рядами, строго на правом боку, чтобы уместиться на нарах и не дышать друг другу в лицо, — все проясняется. Народ грамотный, толковый. Рецидивисты. У одного четыре судимости. У другого — пять. Я один — интеллигент, "политик". Послезавтра, говорят, нас развезут, кого куда, по ветке, по лагпунктам, которых всего, считая по номерам, девятнадцать. И мы уже не встретимся, не пересечемся. Политических с некоторых пор отделяют от уголовных. Чтобы не слилась, очевидно, вражеская агитация с естественной народной волной. Бояться идеи? Заразы? Им виднее. У них опыт позади — революция. Но куда еще идейнее, активнее добрых моих уголовников и кто из нас тут, не пойму, опасный агитатор? Каждый торопится выразить свое уважение. Еще бы — читали в газетах! большой человек в преступном мире! пахан!..

— По радио про вас передавали, Андрей Донатович!.. Я сам слышал!.. По радио!..

В блатной среде ценится известность. Но есть и еще одно, что я уцепил тогда: вопреки! Вопреки газетам, тюрьме, правительству. Вопреки смыслу. Что меня поносили по радио, на собраниях и в печати — было для них почетом. Сподобился!.. А то, что обманным путем переправил на Запад, не винылся, не кланялся перед судом, — выросло меня, вообще, в какой-то неузнаваемый образ. Не человека. Не автора. Нет, скорее всего, в какого-то Вора с прописной, изобразительной буквы, как в старинных Инкунабулах. И, признаться, это нравилось мне и льстило, как будто отвечая тому, что я задумал. Такой полноты славы я не испытывал никогда и никогда не испытаю. И лучшей критики на свои сочинения уже не заслужу и не услышу, увы...

— Ловко ты им козу заделал!

— Я — думал, а ты — писал!

— Семь лет — детский срок! И не заметите, как пролетит...

— Да за такой шухер я бы на вышак согласился!

— Скажи, отец, и я поверю! — выскочил молодой человек, шедший по хулиганке. — Коммунизм скоро наступит? Ты только — скажи...

Куда мне было деваться? Здесь же, среди них, в принципе, и стукачи водятся... Пахомов, еще до суда, напутствовал: учтите — за продолжение в лагере в устной или в письменной форме... Наша вольница, однако, не приученная к подводным камням хитрой 70-ой статьи, замороженная, умолкла. Все ждали от меня, наступит ли коммунизм.

Как опытный педагог, я ответил уклончиво:

— Видите ли, за попытку ответить на ваш интересный вопрос я уже получил семь лет...

Каторга ликовала. Казалось, эти люди радовались, что никакой коммунизм им больше не светит. Ибо нет и не будет в этом мире справедливости...

Перед сном уже, у противоположной стены, встал над телами, на нарах, чахоточного вида шутник. Я узнал его по голосу: это он куролесил с девушками в вагоне, заводил знакомства. А в чем душа держится? Чудилось, ребра просвечивают сквозь заношенную, до подкладки, кожанку. Он явно рисовался — на веселую аудиторию:

— Слушай, Синявский, это я кричал "Синявский", когда тебя вели на оправку!..

Вскидываюсь в изумлении:

— Но как вы угадали? Кто вам сказал тогда, что я — Синявский?..

— А я не угадывал. Вижу, ведут смешного, с бородой. Ну я и крикнул — Синявский! Просто так, для смеха... Мы не думали, извините, что это вы...

Да, Пахомов, не повезло вам с моей бородой. Подвели вас газеты. Обманули уголовники. И вам невдомек, как сейчас меня величают, как цацкают меня, писателя, благодаря вашим стараниям. И кто? Кто?! Воры, хулиганы, бандиты, что, дайте срок, всякого прирежут, независимо от ранга. И нас раньше, по вашему наущению, резали. Времена, что ли, не те? Верить вам перестали? Народ, ваш народ, Пахомов, из которого вы вышли, а не я, которым вы гордитесь, клянетесь, козыряете что ни час, а не я, от которого остерегали, который наускивали на меня: изуродуют! спалят! растерза-

ют!.. Вам, выходит, Пахомов, его надо бояться? Настала моя пора. Мой народ меня не убьет. Вас бы, боюсь, не убили. Не подожгли бы волосы, чего доброго, — и безо всякой бороды? В споре со мной вы проспорили, вы проиграли, Пахомов!

Не к вам, а ко мне потянутся в лагере заезженные вами люди — на исповедь, за утешением: а может, еще напишет? Меня будет спрашивать уркаган, с бойницами вместо глаз на лице, доведенный до петли бесчисленными сроками, кого для пользы дела из доносчиков, из начальства убрать перед концом. Все одно — помирать, больше не может, посоветуй, писатель, поконкретнее, поточнее — кого? И мне, а не вам достанется его уговаривать, чтобы никого не губил в подвернувшуюся, злую минуту. Ко мне приползет доносчик, подосланный вами, и, заглядывая в глаза, предаст вас, раскрыв карты, что выведываете вы обо мне и что ложное вам принести в зубах по вашему заказу. Меня вызовет нарядчик, определяя с этапа, куда поставить, и, заперев дверь на ключ, признается, что не в силах ничего полегче для меня изобрести, поскольку вашей рукой, из Москвы, от КГБ, наложена резолюция в деле: "использовать только на физически тяжелых работах", Пахомов.

За что мне такая удача, Виктор Александрович, как вы считаете? За добрый нрав? За прекрасные глаза, как вы любили выражаться? Да нет, единственно, за подлую репутацию несогласного с вами, перевернутого в сальто-мортале несколько раз и вставшего на ноги, на равных с ворами, писателя. За книги, по вашему обвинению самые ужасные, клеветнические, лживые, грязные, за

преступные книги, которые здесь никто и не читал, кроме вас, и не прочтет, напечатанные там, где никто не бывал и не будет, непонятные никому, ненужные, но все это уже не существенно, не важно. Меня высаживают — раньше всех, одного, из битком-набитого поезда, на первой же маленькой лагерьной остановке "Сосновка". — До свидания, Андрей Донатович! До свидания, Андрей Донатович! — скандировал вагон. У них направление ехать дальше по ветке, а меня внизу ждал уже автоматчик с овчаркой — вести пешком в зону. "Шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения". — Прощайте, ребята! — Мне вдогонку, в дорогу, неслось из задраенных вагонов:

— До свидания, Андрей Донатович...

— Еще раз обернешься — выстрелю, — сказал беззлобно солдат.

— До свидания, Андрей Донатович...

А ведь им, наверное, Пахомов, из клеток, в духоте, вслепую, так слаженно, коллективно выговаривать мое непривычное имя-отчество было ни к чему. Да и ласковое, радостное "до свидания" не шло к обстановке, Виктор Александрович, не шло к этим прокаженным устам. Это вам не театр. Что скажете сейчас, в продолжение ваших допросов? Я-то одно помню:

— Море приняло меня! Море приняло меня, Пахомов!...





Глава вторая.

ДОМ СВИДАНИЙ

Случалось ли вам, любезный читатель, бывать в Доме свиданий? Если нет, позвольте для начала, ради удобства рассказывания, описать вам эту скромную, барачного типа, гостиницу, прилегающую к вахте и контрольно-пропускному тамбуру, на рубеже лагерной зоны и вольной проезжей дороги. Дом свиданий служит нейтральным, я бы сказал, предзонни-

ком, хотя практически расположен уже на территории зоны, вдаваясь в нее невзрачным, продолговатым мыском, полуостровом, окруженным с трех сторон, не считая забора, перепаханной запреткой и проволокой. Четвертая сторона Перекопа — вахта с надзорсоставом: вход и выход в Доме свиданий. Баста.

Здесь, на тюремной земле, раз в год — на трое суток в лучшем случае, на сутки, на одну ночевку, — утраченная семья арестанта восстанавливает как умеет, законные права и обязанности сумбуром поцелуев и кладезем слез. Потому и называется это заведение, как в старые времена, — Домом свиданий, и все эти оттенки значений правильны, читатель. Публичный дом, постоянный двор, сиротский приют, последние проводы... Тюрьма, знаете, во все вносит свой превратный, саркастический смысл. Но и нет на земле прекраснее и святее обители и более, в то же время, высокой и удаленной Горы, откуда бы мы созерцали разбросанные по свету доли и веси, реки и ущелья. Здесь демоны сходятся с ангелами раз в год, по разрешению Начальства, мужья с женами, дети с отцами, живые и мертвые. Только еще неизвестно, кому хуже из них. И кто мертвый?..

Вдоль коридора — кельи, окнами на забор: ни свет, ни застенок. Разве что караул протопает по ухоженной дорожке, да "кто идет?!" разнесется, подобно эху в горах. Смена постов...

В отдельной комнатке — все как у людей. Два стула. Тумбочка. Стол. Кровать. На окне — белые шторы. Можно задернуть решетку, и — как дома... Раз уж дали вам личное счастье, на столе — что ду-

ша пожелает. Окромя птичьего молока. Белый хлеб. Сало. Ешь не хочю. Гужуйся! Консервы — тресковая печень. Сливочное масло. Сахар-рафинад. Повидло... Набивают курсак отощавшему постояльцу — за год назад, на год вперед. В три дня, максимум, надобно все съесть. Ответственно... И это главное, зачем едут бабы, с узлами, с баулами, с тремя пересадками, в очередях, на вокзалах, за билетами, ложась. Да еще скоро ли пустят? да и пустят ли? — не то сиди, кукуй в вольном поселке, снимай сенник втридорога у прижимистой жены вертухая, а дома — на другом конце света — корова не доена, дети болеют и отпуск, за свой счет, с МТС уже просрочен... А и кем, спросим, удержится дом без нее? Все сама, все сама, бабоньки... Но и кто, кроме нее, накормит и уважит хозяина? Хозяин-то совсем отощал. Еле ноги волочит. Не дай Бог, не... Впереди пять-семь-пятнадцать лет заключения...

О, русские женщины — о, тягловая, лошадиная сила страны!.. Почему — русские? Литовские, украинские, армянские, еврейские, киргизские, лапландские бабы — со всех краев едут в Дом свиданий. Слово-то какое: Свиданий! Как девушки — подкормить мужика. И по-русски-то иные "мама" сказать не могут. Лопочут по-своему. А мир — холоден. А начальство-то грозное. Играет трензелями. — Ежели, говорит, ваш супруг не одумается, не изменит поведения, не родит норму выработки, — не дам свидания. Не дам, да и только! — Смеется, змей. Что хотят, то и делают, враги народа...

Но пожрет хозяин — раз в жизни — от пуза. Передаст привет деткам. Смотреть бы век, любо-

ваться, пригорюнившись, как он жует. А ему уже и не кушается. Отодвинул тарелку: так много?.. У него дом в глазах. Пожаром в глазах — дом...

Пристроившись к ветчине, к пирогу с капустой (сама пекла), не позабудем о второй доходной статье нашей бухгалтерии — о кровати. За столом едят, на кровати... Чего греха таить. Извините за невоздержание, но что вы прикажете делать на кровати, коли, считай, раз в год довелось до бабы дорваться? Зайдут в номер, набросят крючок, чтобы надзиратель не вперся, и давай озоровать!..

Мы знавали бугая, что из-за этой вредной идеи прямо в бур загремел с общего свидания, под белы руки уволокли. Ринулся на жену, как танк, — дежурный кудахчет, — повалил на пол и успел спустить, пока его отдирали. Та, понятно, и ноги расставила. А он себе, горячее сердце, в буре вскрыл вены...

Другому ловеласу повезло на этапе пересечься с партией зечек. Начальство зазевалось. Так девушки, вообразите, устроили альков любовникам. Расположились полукругом, лицом к ментам, и ширмами прикрыли картину. Уж били его потом, били, да что толку: альков! Истинный театр-карнавал, дорогая читательница, — как в комедии дель-арте, с юбками, с веерами...

Вы, может быть, скажете: "пововой говод", — как говаривал у нас один губошлеп из вольнонаемных. Сомневаюсь. Все серьезнее, основательнее. Восстановление чести. Строительство семьи... Да и баба, с тремя пересадками, думает не о глупостях. Конечно, и ей хочется: давно никто не чесал. Но больше — ублажить мужика. Поддержать. На год

вперед, за год назад. И чтобы — помнил, жалел. А еще — чтобы не отказала машинка за столько лет бездействия. Всё о семье, о детях. А то явится на свободу, а у него и не работает. Ведь сопьется!..

Оттого, милые барышни, на кровати в Доме свиданий почитай и не спят никогда. Выспимся дома, в зоне — успеется — срок большой. А так — лежат, прислушиваясь: накормить бы, поддержаться за хозяина, — и на том спасибо. Хозяин-то совсем задичал... Это, пускай, жеребцы-надзиратели зубоскалят. И то чаще по-доброму, от собственного довольства: "— Ну как, Синявский, кинул палку?" А чтобы в зоне прохаживались: дескать, что? засадил? — этого я не слышал. Уходишь, бывало, — провожают, как на свадьбу. "— На вахту, на вахту мигом! Жена, слышь, приехала! Твоя какая — в очках? Значит — она. В проходной усёк. С рюкзаком и с чемоданом!.."

Возвращаешься — как с похорон. "— Знаю, только душу растревожат. Хуже нет этих свиданок! Моя вот восьмой год не приезжает. А я и рад. И мне легче, и ей..."

Кто-нибудь спросит, вместо шутки: "— Ну что там, на воле, новенького? Когда амнистию объявят?" И все смеются, ругаются — чтобы меня утешить. Понимают: пришел со свидания... Скорей бы отбой!..

Но давайте вздохнем поглубже и вновь переступим заветный порог пансиона, работающего, ровно завод, круглосуточно, без остановки, без отдыха. Только гости меняются, сегодня в той комнате, завтра в другой, да лязгает стража засовами, досматривая, все ли на месте или с выводом ко-

то в производственную зону... Не стану растравлять вас и себя рассказами, как обыскивают до и после свидания. Не схоронил ли, куда не след, десятку, записку? Пачку чая... Как обряжают, для гарантии, в гостиничное тряпье. И все равно: раздвиньте ягодицы, откройте рот!.. Не буду думать заранее, сколько суток дадут, да и с выводом или без вывода на положенные работы... Пусть оставят меня поскорее с глаза на глаз с женой, и мы, будто так и надо, не обращая друг на друга внимания, как чужие, зайдем в номер, накинем крючок, а потом уже обнимемся. Встретились, свиделись!..

— Маша! Машенька!.. Покажись — какая ты? Егор — здоров? Цел?!.. Ну слава Богу. Дай же тогда насмотреться на тебя. Выкупаться в лице, как в реке, на которую, помнишь, мы вышли наконец, колеся по Северу, и она вдруг сверкнула, выпрямилась и грозно пошла навстречу, так что мы вскрикнули, думая, что впереди обрыв, пока не привыкли, не поняли, что перед нами река, действительно та самая, Двина ли, Пинега, которую мы искали, и вот уселись, сбросив ношу, и смотрим медленно — стелется... На свидании уверяешься: лицо — не портрет, а пейзаж, поедаемый беспредметно глазами, до горизонта и обратно, и все-таки неохватный, за краем восприятия, которым ты напрасно шарить его закрепить и увидеть. Лицо дымится в мягких, размытых своих очертаниях, являя образ пространства, едва ли осязаемого, выбираясь из собственных контуров и раскидываясь рекой, утекающей из-под пальцев. Лицо не цветок, как многие полагают, но вход и выход в Доме свиданий: куда? — не знаем. И эта линия щеки... Бро-

сишь взгляд, и, как от камня, разбегутся круги по воде, удаляясь с места стоянки в сторону леса и неба... Только и слышно: Дуся! Люба! Валя! Татьяна! Да понимаешь ли ты, что ты явилась во сне? Привиделась, понимаешь, приснилась...

Ни бельмеса не понимает. Хлопает глазами, старается: "— Колбасы поешь. Колбасу я тебе привезла. Трудно достать..."

Но нет уже человеческих сил отделиться от магнита: Сбылась! Исполнилась! Если это не безумие, то что же это такое?... — Лицо.

Я начинаю с лица, как с самого главного. Не знаю у мужчины, но женщину мы любим и выбираем за лицо. Жестоко. Не выбираем — впадаем в сеанс лица и катимся вниз водопадом, летим, разбиваясь о камни, едва увидим. Красавица, прошлась по бульвару, сделала ручкой, носиком вот так, — и все кончено. Может быть, несправедливо, неправильно. Где разум? Про Клеопатру поминают, будь у нее ротик, носик там на копейку, на какой-нибудь миллиметр покороче, подлиннее, и вся мировая история потекла бы по-иному. Так ведь то ж царица. А мы?... И от этого зависеть! И сразу — красавица, барыня! Подумаешь, носик ей удался! Кривляка. Глазки там! Линия щеки... И уже невообразимая доля твоя, как артиллерийский снаряд, летит к заветной цели — бабах! — от случайных впечатлений. На всю жизнь, до скончания века — миллиметр?! Королева...

Сам теряюсь. Загадка. Тайна. С нее и начинаю: лицо!...

Носик, ротик и вообще вся вырезка были безукоризненны. Не в смысле совершенства: мои!

Мои, свои черты я различаю в лице встречной незнакомки. Как бы это поближе выразиться? Черты — души. Обратите внимание на женские имена. Так аугают свою потерянную душу: "— Дуся! Вера! Татьяна! Надя!" И никто не откликается...

А между тем твоя душа, в наилучшем исполнении, ходит перед всеми по филологическому факультету. "— Да ты ж моя! — восклицаешь, еще не зная по имени. — Нашлась! И нет тебе больше без меня ни дня, ни ночи. Ты замкнулась на мне..."

И не смотрит. Знаете, так гордо проходит, в профиль, будто ни хрена не слыхала. "— Нашлась! — кричу я беззвучно. — Моя! Попалась!" "— Кто идет?!" — разнесется у Дома свиданий, перекаты-ваясь как эхо в горах... И вот уже ваша судьба проложена столбовой дорогой от первого и до последнего окрика.

Каждый раз в лагере, думая о Марии, я становился в тупик по поводу нашего с нею знакомства. Точнее говоря, не знакомства даже, а встречи, которую она, естественно, и не заметила, торопясь на экзамен, стуча каблучками по филологическому факультету. Хотя тогда же сказал себе — с какой-то скорбью: "— Смотри, твоя жена проходит..." Сколько было потом! Понимаете, когда видишь лицо, тебе соответствующее красивыми, некрасивыми ли чертами, все равно, тут уже не споришь и не борешься, а — берешь. И не важно, ответит ли, нет ли взаимным интересом (потом ответит). И полюбит ли тебя (потом полюбит!). И каким ты ей показался в первый раз (какое это имеет значение?). И даже, представьте, если откажет (дура! кукла! сама себя не понимает!), — все равно бе-

решь. Берешь кота в мешке (потом рассмотрим). Берешь в общем-то, на первый случай, за красоту лица, какого нигде не найдете. Пусть — глупо! Не до раздумий тут! Какой-нибудь миллиметр отделяет нас от смерти...

Оглянется — куда ей деваться? Толкнет ее в бок, что даром так не спрашивают и мы бы разминулись, когда бы я не позвал. — Ох, скажет, Синявский, сними ботинки и посиди тихо со мной... Я стою за лицо, которое нас прельстило и пошло за нами, в результате, как собака. Я стою за искусство. Там тоже, знаете, удар резца, две или три кисти, и все зависит... Пускай художник один наслаждается увиденным. Никто не верит: — Да что вы нашли особенного? Где откопали? Но я-то знаю: дана!

В лагере открывается, к чему это было задумано. Жена должна кормить. Жена должна писать письма и ловить твои между строк. Воспитывать сына, хранить очаг и вести хозяйство, как будто ничего не случилось. И все, что заповедано, если ты не выживешь, место и дело твое, твою оборванную нить, вытянуть и проследить до конца, до собственной могилы... Понимаешь?

— Понимаю.

Она смотрела на меня так, что, казалось, у нее глаза выпрыгнут. Точно так же, наверное, я на нее смотрел. Чего бы не упустить.

— Понимаешь?

— Понимаю.

Не зря тарахтят бабы:

— А вот Борис говорит...

— А мне Костя сказал...

— Мы с Васей...

— Андрей считает...

Словно замороженные... И не важно, что же на самом деле сказал ейный Андрей. Заклятие памяти, знак: "всегда рядом" — и Боря, и Володя. Вы послушайте, как бабы судача, нет-нет, а ввернут имя своего мужика. Покойного ли, живого. Потерянного без вести, а вставит. К слову пришлось...

— Мой-то вчера...

— А мы с моим, Царство ему Небесное...

Вьет гнездо со страха. "Ты да я, да мы с тобой". Больше никого. Работаем на пару. Тем теснее на краю пропасти лепишься к жене. Кричишь во сне — на край вселенной: "— Марья! Держись! Вытягивай! Ты одна осталась — запомни!" И доносится ответно: "Сделаю! Все сделаю! Но и меня не забудь в своем Царствии Небесном, в тюрьме..."

Вот мы и сидим у разбитого корыта. А за окном паровозный гудок уже призывает к бдительности. Ребятам вставать: уголь завезли... Снова гудок. И вспышки электросварки — как северное сияние — в тяжелом, беззвездном, не знающем ни сна, ни отдыха небе...

Кто о чем, а шелудивый о бане. У меня с женой, если вам угодно, — индустриальный роман. Слыхали о таком, о рабочем классе: "Гидроцентральный", "Сталинградский тракторный"?.. Ричардсона и Руссо нашего века — читали? И так рано льняные локоны утративший Абеляр?.. Поточный метод. Конвейер. Брак по расчету. Кадры, сказано, решают все. Повысим график. Понизим себестоимость жизни. Откуда следует, что не так уж лгали

наши старые авторы. Фадеев, Авдеенко... Что нам семья? Производственная ячейка. Лицом в цемент: даешь пятилетний план!.. Вытягивает, смотрю, тетрадь из рюкзака, целенькую, в клеточку, — и ну строчить. Мастерница! А сама заливается, что твой соловей, как тут уютно, опрятно, прямо как в провинциальной гостинице. Где-нибудь в Кириллове... На Севере... Вспомни: в Переславле-Залесском!..

Но мне привиделась — Вологда. Забежавший мальчик, должно быть из хорошей семьи, на почте висел на телефоне. В дисканте звенела истерика: "— Прокурор говорит! Слышите? Тут убийство — на углу Чапаева и Фурманова!.. Слышите?.. Убийство!.."

Мы не стали дожидаться. Толпа уже собралась. Молодка редкой красоты голосила над поверженным телом. Я так и обмер. Ритуальное причитание!.. Древний обряд, однако, перебивали негромкие, миролюбивые реплики зрителей: "— Чего реवेशь? Не помрет твой голубь. Очнется..." Видать, прокурор, по юности лет, порол горячку. Убийство предотвратили ударом кирпича по затылку. Отключили драчуна. Выпавший нож кто-то уже притырил: не дошло бы до протокола. А девка разливалась рекой о злых и завистливых людях, сгубивших доброго сокола. Ее грубо одернули: "— Пошто сама, блядь, сунула ему нож в руку, когда он спяну полез драться? Вот и съездили по кумполу. Уберегли от тюрьмы парня..."

В неистовом изумлении, обрывая плач, она описала собрание ясноглазыми — ни единой слезинки — очами. И меня как полоснуло.

— Да-а, люди добрые. Сунула ему ножик... Сама-а. Так я ж его — люблю-у-у!..

Не сказала — пропела. И, прислушиваясь к струнам в груди, бесстыдно воспроизвела: "— Я ж его, бандита, люблю-у-у!" Видимо, слово "люблю" ей доставляло удовольствие. И ну — вопить, по традиции...

Сует тетрадку: читай!

".....
..... Стенограмма суда.
..... Переправила на Запад
....."

Вживаюсь. Игра на тетради ведется уже в четыре руки. Силюсь уразуметь. Вести с того света. Папирус. Думаю попутно: "Продолжение следует". Стараясь не щелкать ножницами, Мария стрижет письмена, как травку, и бросает щепотками бумажные макароны в кастрюлю: Арагон, Твардовский... Знатный выходит суп. Эренбург... Не шурши карандашом!.. Шаламов. Старому другу. Гинзбург... Солженицын... Не надо было соваться. У него другие заботы. Но какова мотивировка! Писатель должен зарабатывать славу у себя на родине... Сбор подписей... Вигорелли... Кто такой Меникер? Вику Швейцер из-за тебя выгнали с работы... У Голомштока вычитают зарплату за недачу показаний... Передай Даниэлю... Дувакин...

Белые письмена струятся по Дому свиданий. Будто телетайп. Или сердца перестукиваются. Только зачем эти безбожные обороты? Зарабатывать? Славу? Ничего я ему не должен... За Павловского можешь больше не волноваться. Требуется покаяния. Грозит разоблачить. Тогда — второй срок... Обыски! обыски! Нынче идет охота на вол-

ков. Высоцкий... Но мы попробуем. Не правда ли, мы еще раз попробуем?..

Вижу, светлеет лицом, переливая в меня правильность и ареста, и лагеря. Волки. Семья. Производство. При случае зальем кипятком и сплавим в нужник из кастрюли прокисшую лапшу. Смейся для отвода глаз. Дурим. В каком ухе звенит, когда исполнится? А за окном паровоз просится на разгрузку. Гудит и гудит, треклятый, предлагая себя обыскать, прежде чем запустят в производственную зону. Опять завезли уголь. Ребятам подъем. Аварийка. И круглую ночь — как северное сияние — мечутся в небе сполохи электросварки...

Как они искали, обкладывали!.. Поздно вечером идем по Воровского, забыли дома письмо, назад с Арбата, а Мария говорит: "— Смотри! Под аркой!.." И действительно, в десяти шагах катится по тротуару блуждающий огонек. Кто-то обронил сигарету. И хоть бы какая тварь! Под аркой сырой холод. Ни шороха. А сигарета еще тлеет... Толкает локтем: "— Давай заглянем!.." Но я не из храбрых. "— Ну их. Пускай следят. Привидения. И потом, это, может быть, просто какой-нибудь грабитель на работе. Не надо мешать..."

Мария дерзка и воинственна. Полная противоположность. Друзья острят: "— У вас обыкновенный симбиоз — актинии и рака-отшельника." Согласен. Индустриальный роман. Знала, выходя замуж: посадят. Только она не любила, когда я, все чаще, с ней об этом заговариваю. "— Не накликай! — скажет. — Пожалуйста. Слова — сбываются..." А я не накликаю. Мне важно уяснить ситуацию, подготовить почву... Так мы толком в итоге

ничего не разработали. Ни как ей жить без меня, ни что нам делать на следствии... Висим в воздухе...

Однажды мы ходили по Ваганьковскому кладбищу, и я что-то несу на границу, как обычно, что нет-де известий от нашего бедного автора... Три года, как отослали... Жди, когда арестуют... Она слушала-слушала и:

— Не греши, — отвечает. — Обещаю, если буду жива. Как ты просил. Рядом с матерью. Но я напишу на камне. Вырежу буквами. Или на медной табличке. Возле твоей фамилии...

Я, понятно, одобряю. То-то будет номер. Зловредный автор, на глазах у всех, лежит себе спокойно в земле. Не достанут. А рукописи, как перелетные птицы, откочевали в чужие края. Больше к этой теме мы с ней не возвращались. До настоящей погони было еще далеко...

Впервые о появлении Абрама Терца на Западе я услышал при обстоятельствах самых обычных. В ИМЛИ тянулось всегдашнее заседание нашего сектора советской литературы, на полтора десятка персон. Толстенькая брюнетка-референт, приглашенная из другого отдела академии, зачитывала годичный обзор откликов на соцреализм и советские достижения в каверзной зарубежной печати. Порядок таких обзоров, по иностранным источникам, утвердили прошлой весной, с 59-го года, с целью, очевидно, повысить боевитость академической науки материалами спецхрана. На барскую ногу, силами референтов, привычная демагогия оснащалась секретными сведениями, требуя от нас наступательных ударов на широком идеологическом фронте. Все устало зевали... Как вдруг пе-

реводчица с английского и французского металлическим тоном, отрешенным от суеты и собственной заинтересованности, внятно произнесла мой постыдный псевдоним. "Наконец-то! — пронеслось. — Вот Машка удивится!.. Обрадуется!.." А вышколенная брюнетка и бровью не ведет. Обвыкла, что ли, в недрах спецхрана, в нетях буржуазных изданий выщипывать живые крупички, высаживать имена? Мне, правда, вскоре послышалось, что экзотическое имя она немного смаковала, как женщина без степени, но доверенное лицо, или, возможно, как еврейка с языками, с легким оттенком загробного превосходства. Дескать, не спите, доктора и кандидаты, старшие и младшие научные сотрудники: объявился на Западе загадочный самозванец, родом неизвестно кто и откуда, паук, плетущий рукописную паутину якобы в Советском Союзе. Плетет здесь, публикуется — там. Может быть, фальшивка. В зарубежной прессе на сей счет имеются разные версии. И — выдержками, в обратном, дурном переводе с иностранного. Но все-таки можно узнать, догадаться... По блеску глаз...

Все как-то затаились. Вражеские вылазки вносили в ученую нашу жвачку электричество детектива. У меня с первой секунды, помнится, только уши зажглись. Беззастенчиво, словно у мальчишки. Ничего не выражаю на слепой физиономии. Сижу прямо, нога на ногу, будто так и надо. Но уши-то, уши на мне беснуются, растут. Текут уши. Куда их денешь? Как спрячешь? Это не рукописи — уши. Хоть беги вон из класса! С каждым упоминанием уши у меня, как вампир, наливаются но-

вой, бордовой плотью. Ничего не чувствую, не сознаю, кроме своих ушей. Проклятые! Пьют кровь! Глянут случайно, обернутся сослуживцы, и — пожалуйста, восседает среди них, с поличным, ужасный, ушастый Абрам Терц. Голыми руками хватайте! И не нужно доказательств...

Все, однако, с вожделением смотрят не на меня — на толстуху. Ну и пулемет! "Энкаунтер", "Культура", "Эспри". Цитатами, цитатами. Убийственными уликами. Люди, будьте бдительны!..

С окончанием доклада, подлетает Мехмат. Прозвище у него такое, сложенное аспирантами из рабочего имени-отчества нашего говоруна, за расчетливую скорость, должно быть, на холостом ходу и заводной темперамент в тактике партийного двигателя, с бескорыстной трескотней и петушиной, великодушной риторикой. Всегда на линии огня, на переднем крае — Мехмат.

— Эврика, Андрей! Я разгадал по стилю. Никакого Терца в действительности — нет. Фикция! Фальшивка! Сфабрикована ловким западным журналистом. Цитаты выдают. Нельзя представить, чтобы автор, живущий в Союзе, знающий нашу страну, историю, психологию, и вдруг приписал бы Сталину — "мистические усы". Менталитет не тот! Ляпсус иностранца! Вам, например, не пришло бы в голову... Какой советский допустит подобную оплошность? Мистика — в нашей жизни? "Небесный Кремль"? Анахронизм! Ошибка! Подделка!..

И поскакал дальше Мехмат. Напряженно улыбаюсь. Мямлю в спину: "— Да-а... по всей вероят-

ности... Михаил Матвеевич... трудно предположить... фальшивка..."

Уши на мне — как два фонаря — горят...

С другим сослуживцем плетемся восвояси. Свежо. Метель задувает. Под шапкой ушей не видно. Зажглось электричество. Можно подышать. Мы с ним соседи, семейственно, возле Института, и после советского сектора, обыкновенно раз в неделю, проветриваемся, беседуя, переулками, у Никитских ворот, провожаем друг друга, иногда захакиваем, приятельствуем на расстоянии, как старший он меня опекает, учит жить, посвящает в закулисные хитрости, спаниэля подарил, дивного пса, от своего помета, беспартийный, ладный властям и людям не враг, благожелательный литератор. Хоть и нет его больше в живых, пусть останется у меня анонимно — просто честным, милым моим, безобидным сослуживцем на белоснежной улице...

— Мехмат чепуху мелет. Щелкунчик. Бубенчик. Ля-ля-ля! Засматривает вперед, попрыгун. Высчитывает линию... Вы ему не верьте, Андрей: никакая не фальшивка. Явно — отсюда. Не стали бы огород городить. Давать сигнал. И скоро его арестуют, не волнуйтесь. Может, уже нащупали и держат на мушке, сверяют показатели, куда мы тут в Институте головы ломаем...

Слабо возражаю. Вдаваться, проявлять интерес, беспокойство — не резон. Но у меня отпуск сегодня, праздник все-таки и уши под шапкой. Дома хоть шаром покати. Мария с утра водит за нос экскурсии по Останкину: туристы из Китая, старшеклассники, пенсионеры, военные. Еще успею

удивить. Снег вертится. Найти иголку в стогу сена — это даже КГБ нелегко. Где ориентиры? Безымянный — из двухсот миллионов! Без адреса! Блаженствую, купаюсь в скрывающем нас от всего света снегопаде. Как такого распознать?.. Безусловно, поддакиваю, станет продолжать контрабанду, с годами, рано или поздно, откроют, не сомневаюсь. Рукопись, допустим, перехватят на таможне у залетного гастролера. Или кто-нибудь из неверных друзей протреплется в пьяной компании. Но если он один, один в мире? Как снег в небе...

Шел когда-то в Москве иностранный кинофильм с захватывающим дух названием: "Человек-невидимка". По Герберту Уэллсу, конечно, но мне казалось, интереснее. К сожалению, я не смог посмотреть по своей детской бедности, а потом его сняли с экрана и он больше не появлялся, сколько я ни выстаивал у сводных чернооких афиш. Как не было его, человека-невидимки... Правда, уже после войны крутили трофейную ленту под другим девизом: "Невидимый ходит по городу", — и я помчался, как маленький. Да разве поймашь? Явное не то. Дрянь какая-то. И все поблекло... Но тот, единственный, неповторимый, сидел у меня в сознании, запечатленный с удвоенной резкостью по жадным пересказам счастливчиков, видевших самолично исчезнувшую картину, как если бы я тогда ее не упустил.

Вот человек-невидимка разматывает в отеле бинты, распаковывает голову. Скидывает платье, очки, перчатки и остается абсолютно ни с чем — прозрачный и неуловимый как ангел — в истинном своем, воодушевленном образе. Лишь вещи безум-

но жонглируют в невидимых, конвульсивных руках. Грабит банк. Ассигнации, ценные бумаги, деньги так и летают по улицам, над домами и трамваями. Пускает под откос поезд. И бежит, бежит от полиции, оставляя на чистом снегу мокрые, босые следы. Стрельба — по следам, наугад. В больнице оживает, постепенно, уже мертвый. На подушке обозначается, сперва мутновато, — череп. С омертвлением, на череп накладываются мышцы лица. Былые ткани. В последнем кадре просветленные черты молодого человека. И в склонении над ним, вместо ветки сирени, чудесная девушка, вечная невеста утраченного уже навсегда человека-невидимки. Но если бы он бежал не по снегу?!..

Мой собеседник, однако, смотрит на вещи мрачнее. Рассудительно бурчит: кибернетические машины. В наше время, Андрей, вычислить человека по стилю, по языку ничего не стоит. Частотность лексики, индексы, теория вероятности. Машина заглатывает образцы литературной продукции и выдает готовый ответ. Искомое лицо — назовем в уравнении Икс — не с улицы. Из нашей братии. Образован. С модернистской жилкой. Какие могут быть варианты? Москва-Ленинград. В крайнем случае — Киев. Не из Бердичева. Значит, круг работ на вычислительных машинах сужается. Неужто вы думаете, никому не известный автор? Я действительно так думаю, но об этом ни гу-гу. Тайна. Снег падает. Завеса. Как хорошо, когда снег. Стилль, слава Богу, не отпечатки пальцев. Даже не характер. Не образ жизни. Бывает, человек и писатель совершенно несовместимые личности. Другой почерк. Не вычислят. Да и нет причин кого-то вычислять, истреблять...

Вот уже и спор. Старый спор о свободе слова. Сползаю на Пастернака. Так оно безопаснее. Это же невинно — стихи. Лирика. Почему не публикуют? Ахматова... Мало вам досталось?... Всегдашнее карканье: "покайся!", "покайся!" Мехмат прибежал в подвал уговаривать Марью, чтобы на меня повлияла. Но есть в ней какая-то мальчиковость и выносливость подростка. Стойкий оловянный солдатик... И зря не покаяться. Зря! Вы не в курсе! На закрытом партсобрании Овчаренко — как припечатал: изгнать! В Институт проникла чужеклассовая бацилла. Гнилой либерализм!.. Стучал кулаком, мыслитель, в чахоточную, рабоче-крестьянскую грудь. Как Сулов. Анемичный сталинист. Спирохета... Вы не думайте. Мне ту кухню кое-кто из коммунистов в лицах изобразил. Щербина вторил с амвона. Вы же знаете, он у нас слова не выговаривает. А тут разошелся — прямо дьякон. Анафему возгласил, настоящую анафему. У Финяшского, — у вас то есть, — антифофешская фа-фа-да!.. Бросьте, просто ему зубы во рту мешают. Слюна. Пена. Э-э, нет. Это, извините, уже серьезное политическое обвинение. По старым временам, после такого... Вот у Бабаджиева, объявляет, — тоже молодой работник, — борода советская. А у Синявского — антисоветская... Ну да что вам Щербина! Уже не авторитет. Известно. Всех аспиранток у нас перепортил — без этого бедным девочкам не попасть в Институт мировой литературы. Пропускает через себя вместо вступительного экзамена. Казацкая кровь у старика играет. Чуть на Александрове, помните, на актрисулях, не погорел... Но ведь Храпченко тоже требовал увольнения! Быв-

ший Комитет по делам искусств, не шутите. Министр!.. Вас, между прочим, Андрей Донатович, спасли Демѐнт и Мехмат. Как бы я лично плохо не относился к Мехмату, но он тоже тогда, против Овчаренки, за вас подвывал. Возьмем на перевоспитание. Ленинские принципы. Способный парень. Начинающий критик. Исправим своим коллективом. И Дикушина, Дикушина — поддержала!.. А вы опять за старое, за Пастернака?..

Снежная пыльца вертится на асфальте. Струйками, легкими вихрями ползет впереди. Поземка. Как в деревне. Подхлестни ветер, закрути смерчем, и пронеслось бы в народе — бесы с ведьмами свадьбу играют, шалют, пляшут. Так что пыль столбом на ледяной дороге. Бросить сбоку, ловко, нож в смертное верчение, и лезвие, по древней примете, оросится кровью. Вот и доказательство. Кровь. Там, в штопоре, кто-то живой... Да разве дождешься? Только снует белый паучок по асфальту и опутывает паутиной московские переулки...

Что вы! что вы! Пустые страхи! Пастернак никому ничем не угрожает. Государство не развалится от десятка-другого изданий. Ах, какие прекрасные книги могли бы появиться в России! В витринах! А как же — Польша? При чем тут Польша? Прямая связь! Мы издадим Пастернака, а в Польше, на радостях, разрешат независимые журналы. Это вам не ГДР. И так нос воротят. Дайте в России свободу творчества — и Польша отложится. Чего держать? Себе дороже. За Польшей — Венгрия, Чехословакия... Вассалы... Сателлиты... Мановением руки я отпускаю всех на свободу. Летите, птички! Вы спятили — за Восточной Европой пока-

тится Прибалтика! На здоровье! Насильно мил не будешь... Украина!... Кавказ не за горами... Не-ет, из-за какого-то Пастернака — разбазаривать Империю? Вы этого хотите? Впервые, вы слышите, впервые в мировой истории Россия вышла к Индийскому океану! К Африке! К Центральной Америке!.. И все это — отдавать?.. Не переварим. Подавимся... Не спорю. Просто слова кружатся на ветру. Останкино. Терпи. Заслужил... Китай! Мы забыли китайцев!.. Хотите пари? Несколько месяцев, от силы год, и -- можете быть спокойны — этого невидимку накроют. И правильно. Нельзя допускать. Оставьте щель — начнется утечка рукописей. Вторая литература полезет. Дурной пример заразителен. Учтите, если сегодня до нашего болота сочли нужным опустить информацию, то что же в эту минуту делается там, наверху?!.. Агентура. Контрразведка. Международный шпионаж... Снег на самом деле не падает, а садится. Поди сосчитай снег! Государство с его интересами... Простите, при чем тут политика?.. О если бы жарче поддала пурга! Нас бы вообще не открыли... Кибернетические машины. Листки. Машинописные страницы. Индексы. Лексика. С какой частотностью встречается слово "задумка"? "Проклянулась"? "Своеобычный"?.. Ненавижу. Китай. Америка. Снег. Вторая литература... "От Нила до Невы, от Ганга до Дуная!" Это вам не Пастернак!.. У снега своя кибернетика... Китайцев в Москве даже я еще помню. Продавали у Никитских феерические цветы-веера. Сложишь вот так, на палочке, получается феникс, а сложишь по-другому — дракон. Я только смотрел. У мамы не было денег. Мя-

чики, туго набитые опилками, на резинке, и я покупал. За пять копеек. Всегда улыбались. Никого не трогали. Куда дели китайцев? В каком году они исчезли? После озера Хасан?.. Снежинки... Каждую взять... И никто не остановит. Какое дело снегу до людей? Что они — в небе — всемирный коммунизм строят? Зачем нам Америка, Дунай, Прибалтика? К чему Империя — если не будет искусства?.. Цель и средства...

— Перестаньте, Андрей Донатович!.. Вы уже рассуждаете почти как Абрам Терц!..

Странно, что эти речи, многолетней давности, сползаются к Дому свиданий. Точно у нас тут развязка полицейского сюжета, макет настольной игры в сыщики-разбойники, затеянной Бог знает когда, и ключ в кармане от оперативного досье. Нет, беглец не ведает плана всей рассыпанной по оврагам и буеракам охоты, в обхват, с разных сторон. Только мелькают в глаза лоскутами, похожие на вымысел и не размеченные по карте, сигнальные рефлексy опасности, лежащие за пределами человеческого познания. Мария стрижет купоны и складывает аккуратно в горшок варить отворотное зелье, а я, склонясь над тетрадкой, пытаюсь задним числом реставрировать события по скачущим конями теням, на манер аппликации, на которую у меня не хватает ни клея, ни терпения. Тут прореха, здесь выкройка, а там заведомый бред... Говоря по правде, распутать лабиринт наших неутомимых преследователей мы не искали, довольствуясь случайными и разрозненными клочками, выпадавшими по временам, от перенасыщенной

жизни, в осадок. Что толку в тюрьме выяснять, где и как персонально они вышли на след? Снявши голову, по волосам не плачут. Да и не любитель я детективов. Бегство, сдается, увлекательнее погони. Как летом, бывало, заляжешь в лопухах!.. В детстве, в деревне, в самой интересной массовой игре в "казаки-разбойники" — а мы бегали по лесам и оврагам, разбившись на две партии, — мне всегда хотелось остаться в партии не "казаков", а "разбойников". Бывали, однако, охотники бесменно ходить в казаках...

И все-таки Даниэль, в конце очередного допроса, подписывая протокол, заметил на столе знакомые абзацы. Сам выстукивал несколько лет назад, одним пальцем, в одном экземпляре, и я не в праве умолчать: через меня они уплывали на Запад. То была фотокопия его повести "Искупление". Подлинник, с помощью Божьей, достиг иных берегов и вышел книгой, а оттиск машинописного текста, какой-то обратной почтой, очутился в мышином портфеле. Юлька в лицо узнал свой единственный экземпляр...

К делу, впрочем, это не имело приложения и покоилось как музейный трофей на столе у следователя. Может быть, им хотелось блеснуть степенью своей проницательности. Научной полнотой и законченностью рисунка в уловлении сбежавших страничек. Таи, писатель, корпи, скрывайся, спускай в уборную грешное свое рукоделие, — фотокопия в Лефортово!..

Поистине, я был изумлен, слизнув на свидании ту изюминку из рук Марии. Какой размах! Какой широкий забег! Но какого чорта?! Что они са-

ми не знают, куда деньги девать, как расходовать казну? Не с безликой же машинки они начинали свой долгий поиск? И даже не с имени автора. Не кто писал, а кто доставил, канал связи — вот что требовалось доказать. А дальше просто: в каких домах околачивался, с кем встречался иноземец? И ставь подслушники, засылай наблюдателя в круг подозреваемых лиц. Так, по всей вероятности, мы и были найдены... Зачем же еще, в умножение расходов, шастать по заграничным шкапам, ворошить бумагу, кого-то подмасливать, рисковать ценным агентом, — и все это ради выкрадывания стандартного шрифта, с кое-какими, пускай чернильными, от руки, помарками?..

Сумрачный генерал-лейтенант, в сердцах, прекнул меня дефицитной валютой, уплаченной за мою голову. ”— Одиннадцать тысяч долларов — золотом — стоило нам удовольствие!” Недорого, — вяло подумал я. Совсем недорого. Да разве кагешник скажет вам правду? Может, он сумму взял с потолка, в надежде расшевелить во мне слабые остатки совести. Вот в какую копеечку влетели вы Родине! Либо в уме все еще прокручивал закупку валютных бирюлек, прилаженных к нашим домам, как я подсчитал, месяцев за семь до посадки. А кто подсчитает зарплату высших и низших чинов, пущенных следить за развитием искусства, за циркуляцией иностранцев? Я бы лично повысил цифру с учетом всей операции. За десять лет одиннадцать тысяч? — обидно.

Не будем, однако, с другой стороны, заламывать себе цену. За такое и расстрелять недолго. Представьте, уже в Париже, информированное

лицо нас клятвенно заверяло, что в США своими ушами слышало от какого-то сенатора, будто лицензию на Терца в КГБ приобрели по сговору у американской разведки, — за параметры новой советской подводной лодки. Тут уж мы с Марией взбеленились. Сбавьте гонорар! Имейте совесть! На такой культурный обмен и КГБ не пойдет. Одиннадцать тысяч, вам говорят, и ни гроша больше. Ведь она, небось, на атомном ходу, с двумя боголовками? Нет, так высоко, на уровне подводной лодки, даже я себя не ценю... Но было дело, если память не изменяет. Рассказывали...

Советский посол во Франции, в те времена Виноградов, устраивал высокий прием в честь русско-французской дружбы. В антрактах, между гостями, в порядке очевидно милого козери, ловил рыбу на спиннинг, забрасывал виртуозно блесну в сторону моего тогдашнего импрессарио, оставив деликатно ловитву добрейшим смехом, шуточками, пузырьками шампанского, приятно отдающими в нос. Как же, как же! Читал. Забавно. Однако, честно говоря, я сомневаюсь, чтобы авторство принадлежало нашим пенатам. Стил, знаете, стил не тот... Что это вам кто-то привез? Из Москвы? Из Ленинграда? Какие у вас гарантии? Не с неба же она упала? Рассуждая абстрактно. Чистое любопытство. Культурные связи. Гранд-Опера. Большой театр. Импрессионисты. Дебюсси. Но кто же все-таки принес рукопись? Рукопись — откуда?

Издатель, тертый калач, знавший канал, нашелся: — Никто не приносил. Сама. В конверте. Из Советского Союза. По почте.

— По почте?!...

— Да, по почте!

Посол прикусил язык.

Окольным путем, с опозданием, порою в несколько лет, с коэффициентом искажений возможно, эти розыски беглого автора достигали нашей фактории. Мы путали карты. Удавалось иногда. Надолго ли только? Бог весть...

Года четыре спустя, с тем же моим анонимным сослуживцем, прогуливаемся, как обычно, после советского сектора. И снова снег, и снова только что на языке у референтов все тот же снующий где-то здесь, невдалеке, за поворотом, невидимый паук-чернокнижник. На сей раз ему хана, ворчит сослуживец. Допрыгался. Аминь. И месяца не протянет. Держу пари. Уже сами иностранцы выдают с головой своего корреспондента. С потрохами... Аминь, подхватываю, но где же все-таки звон? Откуда слух? На днях, объясняет, был у него с поклоном, по ученой части, незнакомый один славист. Ну выпили, закусили, и начинает заморский гость хвастаться контрабандным товаром. У него с влиятельными газетными кругами, видите ли, контакт. Хорошо, мы тет-а-тет, а если б кто еще за столом — подумать тошно! А я рас-по-ла-гаю, улыбается, всеми секретными данными вашего фривольного автора, которого безуспешно разыскивает ваша тайная полиция, а я его большой, большой почитатель. И фамилия псевдонима, смотрит в блокнот, до-под-линно мне известна, и место-пре-бывание... Это он в блокнот редкие для себя слова заносит и попутно тренируется на мне, скотина, в русском произношении. Но говорит

без ошибок. За этим, говорит, Монте-Кристо сейчас у вас по Москве, смотрит в блокнот и смеется, — шурум-бурум, базар-вокзал... А он у меня, шурум-бурум, вот где сидит! В боковом кармане! Я-а-а — капиталист! И хлопает себя по накрахмаленной рубашке, болван. В подтяжках. Стараюсь отвлечь. Уипьем уодки, уипьем уиски. Перевожу разговор на профессиональные рельсы. В романе Алексея Толстого "Петр Первый", говорю... Ни в какую! И слушать ничего не хочет. Лезет с разоблачениями. Только просит фактам развития не давать. А то его конфиденнты будут очень огорчены. И он тоже весьма озабочен судьбой своего протеже, если того почему-либо вдруг обнаружит полиция. Вы же сами понимаете, чем это ему аукнется и как откликнется... Я-то понимаю. Да он-то откуда знает, татарин, что я не побегу доносить? Да, может, я пригласил его на квартиру — по специальному заданию? Да, может, перед ним — сексот? Душу норовит открыть, паразит, первому встречному советскому человеку. "Я вверю в вашу порядочность"...

Украдкой озираюсь. Смеркается. Прохожие поодаль неслышно перебирают лапками, словно сонные мухи. Если б Марья была под руками, она бы — эскадроном уколов, градом издевок, подначек — дезавуировала фигуру скандального, прозрачного умолчания над нами. Она бы воздух разодрала — на промокашку провокатора!.. Но Марья в это мгновение тащит свои часы по истории искусства в Абрамцевском ювелирном училище, и ей не до меня. В критические минуты мне отказывает разум. Мне всегда недоставало бодрой на-

ходчивости, очерченности жестов, реакций. У тебя, Синявский, замедленность и вязкость характера, — говорит Марья, — и все эти недостатки в себе ты культивируешь. Ничего я не культивирую. Просто не способен сочинить экспромт, сказать к месту пристойную остроту. А снег валит как в зимней сказке начала прошлого века. И сердце трепещет, в засаде, — как Мотыкин хвост...

Принимаюсь осторожно выколупывать взрывчатку из немецкого пирога. Безучастно, неспеша, будто это нас не касается, и опера идет на другом конце света. Ну и что?.. — спрашиваю. Ну и кем он оказался, этот, как его... человек?.. Местожиительство?.. Род занятий?.. Пол?.. Возраст?.. По мере произнесения, кажется, я удаляюсь по воздуху и оставляю взамен себя бесформенную снежную бабу. "Пол" я, вообще, уже притягиваю за уши, вроде спасительной, смягчающей обстоятельства, вымученной ужимки мнимого непонимания, какой мы, случается, как девушка цветным рукавом, заслоняемся от прозорливой судьбы. Сперва пол установите (мужчина я или женщина), возраст, город, а потом уже лицо. Об имени — и не упоминаю. Боюсь, ответит, как Порфирий Петрович Раскольникову: вы-с, вы-с и убили-с!..

Нет, указать пальцем иностранец постеснялся. Да, полно, знал ли он имя своей намеченной жертвы? Скорее он кокетничал несколько эрудицией слависта в нашей национальной политике. Зато — все позывные, все точки пересечения ударных линий, разбегавшихся в разные стороны от правды, — радостно удостоверил...

Какой-то миг сослуживец, мнилось, колебал-

ся передать мне заветные нити, на которых далеко-далеко, как в прицельном зеркале снайпера, корчилось мое мелкое тело. Помычал и махнул перчаткой: чорт с ним — все равно славист раззвонит!

Искомое инкогнито проживает в Ленинграде. Холост. Одинок. Инженер по образованию. Сидел. В преклонных уже летах. На пенсии. Рукописи шлет, периодически, через Польшу. В Польше у него родственники. Из особых примет: лысый, как черепаха...

Я чуть не упал... Польша — сработала! И Ленинград — сработал! Остальное досказала молва. Снимаю шапку. Отряхиваю снег. Приглаживаю волосы. Пронесло...

Мы живем по анекдоту. Как переходить государственную границу? Лучше всего ночью. Под Новый год. Берете в дорогу пустой мешок, посох и фонарь с огарком. В пограничной деревне, с вечера, ловите кошку и прячете надежно в мешок. У скованной льдом реки зажигаете фонарь и несете перед собою на посохе, в открытую, по снежному полю. Пусть издали видят: "— Идет — Нарушитель!" Где-нибудь на середине реки боец-пограничник, в укрытии, вас окликнет за полкилометра: "— Стой! Стой! Стрелять буду!" Замри как вкопанный. Фонарь на палке, безукоризненно, по команде, воткни в снег. Пусть издали видят: стоишь! А сам с мешком иди дальше. Боец-пограничник спешит к фонарю на лыжах, обнаруживает подмену и ваши следы на снегу, уходящие на Запад, Тогда он за вами, по следам, посылает собаку. Вы же в эту минуту, на второй половине пути, выпускаете из мешка — кошку. Кошка — назад, в деревню,

на советскую территорию. Собака, натурально, за кошкой. А вы уже перешли государственную границу... Но где посох?..

— С Новым годом, Маша! С новым счастьем! Новый год мы всегда встречали вдвоем. Только вдвоем. Елка. Шарик мерцают. Свеча. Как старые пираты, пьем за удачу. За то, что уцелели в прошлом году. За то, чтобы в новом году повезло, как в старом. Еще бы год продержаться! Еще бы год!.. Хлопочем, заматаем хвостом следы за границей. Играем в прятки. Выбрасываем ложные флаги. Кошку — в Польшу! Фонарь — в Ленинград! Опереем облаву...

Вечером вахтерша в подъезде, из бывших, манит пальцем и на ухо: "— Марьвасильн, двое приходили. Выспрашивали: кто к вам ходит? Иностранцы бывают? Как мне знать, говорю, иностранцы это или нормальные люди?.." Вахтерша с давней поры, с отцовской еще истории, нам покровительствует. У нее сынок-уголовник, в расцвете лет, покончил с собой в лагере, успев отписать: "Мама! Здесь — как в сказке!.." Раздумываю: если как в сказке, то чего же он покончил с собой?..

Стук в подвал. Курьер из Института. З дирекцию вызывает Щербина. Меня? В дирекцию? Щербина любезен. Со мной? Любезен? Никогда не здоровался, и вдруг с улыбкой. Мне? С улыбкой? Срочная командировка от Академии Наук: Кишинев—Киев. Налаживание научных контактов. Я? — для налаживания? Меня? — в командировку? Впервые в жизни. Не такая птица. Сами норовят пройти по буфету в союзных республиках. Предпочитают, правда, Кавказ. Кому-то, видно, понадооби-

лось убрать меня из Москвы в назначенные числа. Зачем? Отрезать предусмотрительно от вражеской делегации, с которой и не собираюсь встречаться? Сделать негласный обыск в доме, пока меня черти носят, а Марья торчит во ВГИКе, погружая глянцеви́тых артистов в пото́пы готики и барокко? Или подключить, через стенку от соседей, какой-нибудь секилятор. У Даниэля сосед — намекал. Напрасно, Юлий Маркович, отлучаясь надолго из дому, вы не замыкаете дверь в ваши апартаменты на ключ. Кабы кто чужой не проник в хоромы. Кому проникать? Вору там делать нечего. Одни книги. Сосед-пенсионер, невылазно, сторожит пустую квартиру. И смотрит понуро в сторону, словно уже кто-то недобрый побывал у Даниэля с визитом. Эх, Юлий Маркович, какие вору? — не будьте идиотом!..

Нервничаю, бегу за билетом, а Марья сочиняет проект адской казни моему институтскому руководству. Народ-то все больше безграмотный, безталанный, даром что доктора, академики из выдвиженцев: Щербина, Храпченко, Овчаренко и сам директор, Иван Иванович, по кличке Ванька-Каин... Хоть и бывал, говорят, на приеме у Королевы Великобритании и у Королевы Бельгии Каин, — с нашим младшим братом он только матом объясняется. Подражает, что ли, нравам в аппарате ЦК, патриарх, а то и выше кивайте?.. Теперь меня, вообразим, по рекомендации Марьи, на время и вместо поездки Киев—Кишинев, каким-то волшебным путем возводят в степень Директора, с вытекающими возможностями по отбору персонала. Нет, управлять наукой я не берусь. Но долг свой испол-

ню. Из головы нейдет, как Иван топал на нас ногами: "— Только чтоб у меня никаких оригинальных идей!" — и месть моя будет страшна, предупреждаю. Для всех вышеперечисленных лиц из нашего начальства объявляется экзамен. Запирают поочередно в директорском кабинете, на срок до пяти дней, и каждому отдельную письменную тему для сочинения, как это практикуется в средней школе. Самый простой, без подвоха, урок. Ну там "Горе от ума" Грибоедова, "Ревизор", "Отцы и дети"... А желаешь Кафку — валяй Кафку. Хоть Ромен Роллана... Текст на столе, in folio. Но пособия из фондов, критическую промышленность, я вас попрошу, на эти дни исключить. На компиляциях они собаку съели. Телефон тоже пока отрезан, во избежание подсказок аспирантов и референтов. Ночевать, будьте добреньки, на директорском широком диване. В одиночестве. Без девчонок, шепчущих на ушко свои студенческие грезы. Питание — по вкусу, из ресторана "Прага". Коньяк не возбраняется. Сиди и высасывай из пальца какое хочешь исследование. Садистическое условие конкурса: хоть одна оригинальная мысль, одно свежее слово... Еще пожелание — орфографию не ронять ниже уровня 5-ых классов... По прошествии, ручаемся, у каждого, проверив успехи, мне останется в конце сочинения вывести резюме красным карандашом: *"Уволить за профнепригодностью"*...

— Как же! Слыхали — что вы в душе вынашивали под крышей Института! — истолкует по-своему Марьин проект печальный начальник лагеря. — Вы же хотели всех нас на Красной площади — за яйцы — повесить. Все руководство...

Однако, пока мы шутики шутим, они роют шурфы. Просеивают песок, процеживают решетом воду... Что происходит и как? — вне доступа, за полем обзора... Только эхо докатывается... С опозданием. Но ближе и ближе. Вон кто-то побежал-побежал и как сквозь асфальт провалился. А сигарета еще тлеет... Огонек — не от человека... И вот уже весь, разом, обступивший тебя горизонт заговорил незнакомыми, гортанными голосами. О чем, собственно, речь? Ни о чем. Сделай шаг и наткнешься на сыщика. Оглянешься — ни души. Снова померещилось? Нет, здесь они! При дверях! За окном! В воздухе! Не один ты хитрый. Полный мир невидимок...

Розовощекая девушка на выдаче, потупившись как чайная роза, приоткрывает иносказательно, не придраться, что мой формуляр в Ленинской в понедельник брали на перлюстрацию. Бисер выданных книг в течение двух лет. Кланяюсь низко опустившей глаза цветочнице. Куда брали — не спрашиваю. Профиль изучают по старым координатам — что человек читал? Помните у Дидро: "Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты?.." Мне мама жаловалась не раз на свою библиотечную жизнь. Является Некто в сером в юношеский зал и юрк за полки, в картотеку. Регистрирует пофамильно, какую беллетристику заказывал тот или иной подозрительный подросток. Непедагогично! Дети! Наша смена! Да и книги-то двадцать раз прошли через все фильтры!..

Впрочем, перлюстрация напрямую меня не пугала. Все-таки — научный сотрудник. Формуляры, помню от мамы, на каждого читателя хранятся

ровным счетом два года. Не больше. Потом их сдают в утиль. Ничего основательнее в помощь КГБ библиотека им. Ленина создать не в состоянии. Физически нет места. И если они рассчитывают поймать меня на словах, на цитатах к "Соцреализму", так это же делалось не два года назад, а дай Бог память... Еще мама была жива...

Досадно другое — хвост. Мы у них на приколе. Не унюхали вплотную, но идут по пятам. Эх, всегда я собирался, запутывая картину жизни, выписывать множество книг, не имеющих ко мне отношения. Вместо мебели. Обложиться бы, не читая, Тургеневым, Шолоховым, Алексеем Толстым... Меня подозревают в симпатиях к декадентам, допустим, а я, в качестве алиби, — Абеляра, Фадеева... Они мне — Пастернака, а я им — Геродота. Они мне — Геродота, а я им — Дарвина. Они мне — Дарвина, а я... Глаза разбегаются. Ведь тысячи книг, и за каждой не уследишь. Баррикада! Не мешайте. Изучаю. Научный я сотрудник, в конце концов, или не научный?! Что хочу, то и читаю. Преступники, я где-то читал, делают иногда на лице пластическую операцию. Пересаживают кожу. Вот бы и мне видоизменить профиль — путем фиктивного чтения. Прикинуться, по формуляру, лояльным, положительным гражданином. Нырнуть. Исчезнуть на несколько лет. Раствориться в книгах. И, вынырнув с другого конца, требовать в наглую, для респектабельности, "Библиотеку приключений". Шерлок-Холмс. Нат-Пинкертон. Не юноша уже. Имею доступ. Знал бы английский язык — подать мне Агату Кристи! Подать мне "Убийство на улице Морг"! В подлиннике! Да и наш Граф Монте-Кристо — взять

— чем не хорош в роли доброго гения всех беглых каторжников?..

Это бы оправдало меня в глазах госбезопасности. Оставьте в покое. Видите, у него на уме, по списку, — Дюма, английские сыщики... Ничего плохого. Читает человек. Интересуется — литературой... Да все нам некогда, все недосуг. Обойдется. Откладываем в долгий ящик. Спихватишься однажды. Ан ты уже на крюке...

На банкете, в ученом застолье, мы — пьем. Узбекская девочка, у Щербины, потеряв девичество, защитила диссертацию. И мы пируем по Шекспиру. Гудим. Папаша, что будда, глава Обкома, в честь защиты дочери-невесты, купил этаж в ресторане "Прага". Тосты, тосты!.. "Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы!.." — попытался и я, когда подошел черед, вставить свой комплимент девочке, но она не поняла... Университетская старуха, в усах, с мировым именем, под скатертью пихает коленом: "— Андрюша! Если б вы знали — как надоело быть проституткой!.." О чем вы, Тамара Лазаревна? Какая проекция? Ради красного словца? Труды и труды. По науке, без трупов. Сама Шекспир. В женском роде, конечно, безобразна, как подобает профессору, в усах, — не об этом же толковать? Девяносто лет. У нее супруг — академик. И тоже с мировым именем. Сравнительное языкознание!.. "— Я устала проституировать..." Притворяется баба-яга. "— Говорю вам — как сыну... Сидеть за одним пасьянсом — с вашими Храпченкой, Овчаренкой... Я устала поддакивать..." А-а, вон оно что! Кто заставляет? Могла бы, кажется, уйти на покой, работать в стол для потомства, издаваться

за границей. Не посадят, не такая... Корпусом — ко мне. Все лицо состоит уже из одних морщин. Усов не видно. Усы теряются в разрисованной гравировальной иглой, благородной, как будто к бою татуированной, темнозеленой бронзе. "— Не забывайте, Андрюша, в какой жестокий век мы живем!.. Будьте осторожны... Заклинаю... Я немного из цыганок..." Как если бы я спал. Я сам знаю, в каком я веке! Что она имеет в виду? Пусть скажет — я никому не скажу!.. Темнит: "... Бирнамский лес пошел на Дунсинан..." И уже отворотилась, надменная, царица Тамара, гордая собой, помогла, через столовое раздолье, к Храпченке, громко, с бокалом, грудями, как леди Макбет. "— Михаил Борисович! Выпьем за 30-е годы!" — "— Может быть, за 20-ые, за 10-ые, за 900-ые? Вы оговорились? — шепчу. — Я ослышался?.." Толкает толстой ногой: "— За 30-ые!.." Храпченко устало кивает: "— Ваше здоровье..."

Тогда, за ее предсказанием, я вспомнил три ведьмы в "Макбете". Как, разжигая пламень честолюбца, болотные духи ничуть не лгут, что король и что дети не унаследуют трона, но ввергают в обман, в протрацию сарказмами беспрецедентных последствий. Да. И про лес, сошедший с ума, и про возмездие от руки не рожденного женщиной Макдуфа. Никаких надувательств. Сила темных пророчеств в их неправдоподобной буквальности. То же — "О вещем Олеге". Загадка скрывается в конском черепе Олега, в его голове — непредсказуемой ядовитой змеей. Между тем: "но примешь ты смерть от коня своего" — звучит убедительно. Хотя далековато, заманчиво. Как это от

коня? Можно избежать. Не забоялся бы коня — и жил бы припеваючи дальше вещей Олег. Какой он — "вещий"! Это кудесник — вещий. Нет, Олег своими руками навлек на себя погибель: предвестием. Искал, как лучше ускользнуть от беды, ну и доискался. Однако и кудесник, взгляните, что-то не договаривает. Нет чтобы прямо сказать — в конкретность исполнения: череп. И ведьмы хитрят. Не кесарево сечение. Не срезанные ветви деревьев, одевшие войско в зеленые маскхалаты, как у нас десант. Усатыми губами предсказывают. Призрачным ребенком в короне. Бирнамский лес! Кто поверит? Гадания нас увлекают все дальше и дальше в соблазн, засасывают и бросают безжалостно рядом с грянувшим, все-таки по-своему, нелицеприятным фактом. Немыслимое сбывается с пугающей очевидностью. Туман черновика внезапно, порывом ветра, рассеивается, и ты остаешься с глазу на глаз с обещанной готовой концовкой, сраженный прямее и проще, чем все мы думали и гадали. Ясность и точность свершившегося события, опровергая разум, гласят устами Шекспира, что в будущее засматривать грех и будет только хуже, когда мы загодя что-либо там разглядим. Не обман обманет, а правда, выросшая и настигшая нас благодаря усилиям предупредительно ее обойти, распознав на расстоянии. Не потому ли наша судьба всегда туманна вначале, двусмысленна, иносказательна, чем и пользуются ведьмы? Пока не исполнится. Умоляю: не надо предсказывать! Что толку в намеках? Где человек, не рожденный женщиной? Где кесарево сечение? Какой еще лес на горе сдвинется с места и пойдет стеною на Макбета?..

Тот лес нам повстречался в швейцарских Альпах. Он шел в наступление, ничего не оставляя в памяти от ландшафта, кроме черных елей, бравших приступом горы, одну за одной. Но чем дальше и отвеснее, тем реже становились деревья, скошенные контрударами камня, ветра и льда, словно пулеметным огнем, бившим в упор с пропешин, с окованной облаками вершины, хоть снизу и подпирало, карабкалось на подмогу новое хвойное войско, не ведавшее последних, смертельных очередей и перебежек. Лес не мог одолеть, ему было не под силу, и он ложился костью, он жертвовал собою ради поддержания означенного рывка, произведенного, казалось, в согласии с горой, обязанной ему легким, оперенным восхождением в небесный чертог, откуда, внезапно оборотясь, оскалась, она отбрасывала его с холодным негодованием, как ненужную ей больше и подпорченную ее высотой немощную словесность. Глядя из мирной долины на разыгравшуюся трагедию между высокогорным хребтом и ветхим, прокопченным ельником, что ни час идущим на штурм заведомо неприступных твердынь, я мысленно становился на сторону последнего. Я болел за него. Столько упорства! Здесь завершается, чудилось, все, к чему мы стремимся. Как некогда в Доме свиданий, здесь обрывались, сойдясь, пути бесчисленных наших подельников и сподвижников. Бредут, один за одним, на высоту гробницы. Кто ползком. Кто немного пригнувшись. А этот, смотрите, уже кувырнулся вверх корнями, дойдя до льда. Какой порыв к невозможному, и та же готовность сойти на нет в обеспечение побега, подъема. В их суро-

вой, подрывной работе было что-то религиозное... Но тут же мне открывались, словно это моя печаль, дерзость и неокончателность речи, на чем висит, лепится и пропадает впустую всякий авторский замысел. И то, что мы с непривычки принимаем за слог, за художественные особенности, всего лишь очередная и обреченная на неудачу попытка выйти за пределы отведенного нам языка и пространства и в лоб или обходным маневром сказать, наконец, о вещах, не подлежащих разглашению. Речь идет о недоступном...

Не этим ли бредил Пушкин, измышляя, "во-тще", свой поэтический побег? Или не о том же у Мцыри?

Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы...

Родимся-то мы, как выяснилось, для тюрьмы. Но думаем всё — о воле, о побеге... Побег, пускай неудавшийся, но побег, входит как составная волна в любую поэму. В любое, если взять на просвет, произведение человеческой жизни. Побег — это венец. О да, мы все короли! Незримо. Неслышно. Не мы бежим. Душа — беглянка... Сколько тюремных легенд, сплетенных в ковровый узор, преподают нам технологию и поэтику побегов!..

— Не спорьте. Не сидели с мое. Не пробовали. Кишка тонка... А был, при мне, один вор, ко-

торому жить надоело. Так что ж он, морда, придумал? Заховал пилу с кухни и, только успело солнышко закатиться за тот горизонт, начал с двумя пацанами, по-тихому, тою захованною пилой подрезать строевую сосну или, я точно уже не помню, могущественную столетнюю ель, которая там росла по недосмотру надзорсостава — метрах в десяти от запретки. Затер надрез мылом, припудрил землицей... И на третью ночь они влезли на дерево. Сидят. Раскачиваются на корабле. Снизу дружки подрубили последний якорь, а он уже все рассчитал — и угол наклона, и долготу падения, — и ровно в четыре часа оно, сука, как шарахнет, вроде авиабомбы! Раскурочило забор, покалечило на хрен все эти ихние силки-витки, всю хуемудрию: стволом — в зоне, кроной — по ту сторону... И — ни одной царапины! Спланировали, приземлились. И попрыгали, как мыши. Ветви ему сыграли роль рессоры. Покуда вертухай проснулся, поставил гарнизон кверху жопой по боевой тревоге, задедюлил в небо две ракеты из ракетницы и стало светло как днем, — они уже на триста метров, считай, нарастили расстояние. Ну пацанов он по дороге прибрал из карабина. А Хаджи-Мурат — у него кликуха была Хаджи-Мурат, а звать Ванька Муратов, — ноги в руки, и как сдуло... Он, морда, подошвы сапог намазал щенячьим салом, и овчарки — не берут. Вот что хотите с ними делайте после этого, стреляйте, бейте, скулят, сука, ползут на брюхе, а не берут. Щенячий дух отбивает у них закалку идти по смертному следу. Она ведь тоже не дура. У меня у самого был интересный пример. Переполз я запретку по-пластунски, вырезал квадрат-

ное отверстие в доске забора и только просунул голову на волю, как тут мы с ней и встретились — лицом к лицу. Она — с той стороны, я — с этой: на четвереньках, с ножом в зубах. Молча смотрим друг на друга — не шелохнувшись, — наверное, целую минуту смотрели. И она ушла, поджав хвост. И не зарычала... С того побега, пришла из Кремля инструкция: в глазомере запреток все деревья спилить — к матери, под корень! И вообще хорошего дерева, с тех пор, вы по зонам уже не найдете. Боятся, козлы, полета... Кто? Хаджи-Мурат? Какое там — с концами!.. Около Котласа взяли. Но все же до Котласа в тот раз он додул. Это я точно знаю. Додул до Котласа...

— Большое вам спасибо, ясновельможный пан, господин русский писатель! Но только я лично, как человек западный и стреляный уже воробей, советую вам: не верьте вы тому апатриду. Не с дерева прыгал наш храбрый Мурат, а путем канализации уходил от тирании здешнего Гестапо, которое после первого побега, с больнички, под землей, не давало ему спокойно досидеть последние десять лет. Вы бывали на семерке? Ах, вас тогда еще не было? А я так уже был! Вообразите! Деревообделочный цех!.. Реченька... Текет себе и текет, не обращая внимания. Химотбросы выносит с мебельного завода. Так наш Ваничка — что бы вы думали? — склеил себе из пластика подводную лодку — на одного пассажира. С балластом, все как надо, с запасом воздуха, с провиантом. С лопастями из консервной тары. Лежи внутри и крути. Поднимается — опускается, как нежная девушка, — по приказу... Этим же непроницаемым пласти-

ком — только в один слой — мы и сейчас обделываем импортные диваны для соцстран. Ну для Монголии, для Ирана — я знаю?.. И едва красное солнышко закатилось за горизонт, погрузился он, в чем был, в свою глубоководную пирогу, оттолкнулся, закрутил колесами и уплыл бы, может быть, вниз по матушке по Волге, наш Ваничка, если б не одно коварное обстоятельство. Преграда в форме буквы "ха"! Ситечко, решето стояло там, сука, неведомо, на дне водоема, — из толстых русских бревен. Пропускающая воду в бассейн и не пропускающая другие, инородные тела. Знал бы он заранее — он бы заготовил какой-нибудь бушприт впереди, какой-нибудь ватерпиль для прочистки судоходства. Но после того эпизода пришла из Кремля инструкция все подводные решетки заменить из сварочной стали. И больше вы уже никуда не уплывете. Нет! Я так плакал... Почему — утонул? Откачали мальчика. Сломали два ребра, повредили немножко зубы... И сейчас, говорят, он, словно граф Монте-Кристо, гуляет опять на свободе!..

Выстрелы и крик: "— Человек — в запретке! Человек — в запретке!" Бросив свою заготовку — письмо к Марии, я выскочил из барака. День был праздничный, 2-ое мая, никто не работал, и мы кинулись к вышке, откуда раздавалась пальба. Сквозь щели в первом заборе, на перепаханной полосе, в узком загончике между заграждениями, мелькал уже обезображенный зек. Это был сумасшедший, его хорошо знали, наш лагерный сумасшедший — в халате, в кальсонах и в тапочках на

босу ногу, — средь бела дня, по соседству с нами, с больнички махнувший за колючую проволоку. Куда он собрался? У него не достало бы мышц перелезть второй частокол, не говоря уже о прочих силках. В своих кальсонах и в тапочках он все равно бы не ушел. И ничего не стоило просто увести его за руку, как ребенка, с запаханной земли, из отсека, — когда по нему открыли огонь.

Били, очевидно, разрывными пулями. Я не бывал на войне и не знал, что в людях столько крови. Говядина! В мясных лавках видали говядину? Вот точно такого же цвета и состава. Впервые я наблюдал ее в живом и в человеческом образе... Он упал на колени, сумасшедший человек в больничном халате, совершенно уже простреленный, и поднял руки вверх, видимо поняв, наконец, что с ним происходит. А по нему стреляли и стреляли, пока он не перестал дергаться. Несколько мгновений спустя это мясо еще приподымалось, но не своею волей, а силой бивших по нему и рядом, в пашню, разрывных пуль...

Мы — вся жилая зона — столпились подле запертки, благо было 2-ое мая, пролетарский праздник, и что тут поднялось!

— Фашисты! — орали те, кто сидел за коммунизмом.

— Коммунисты! — перекрикивали их уже ожегшиеся на коммунизме.

А мужики попроще, не причастные к политике, бросали старое и самое оскорбительное лагерное определение:

— Педерасты!..

И эти слова в моем сознании звучали тогда как синонимы...

Автоматчики — подступив с той стороны к зоне — тихо предупреждали:

— Разойдитесь по баракам! Не то — откроем огонь!..

Безусые мальчишки, завладев говядиной, они дрожали от страха и побелевшими губами твердили свой устав караульной службы: "— Откроем огонь!.." Хорошо, никто сдуру не метнул камень за проволоку, и толпа отступила, глухо рыча, — свитком бессмысленных, равнозначных ругательств: "— Педерасты! Коммунисты! Фашисты!.." Я вернулся к письму.

"Дорогая Маша!

Ты никогда не получишь этого письма. Сколько ни зашифровывай, ни плети околичностей — цензура не пропустит...

Только что, на моих глазах, за попытку "бежать" убили в запретке нашего бедного Клауса. Это был не совсем нормальный психически, но тихий и рассудительный зек — из немцев Поволжья. Сидеть ему оставалось всего полгода — из его десяти (за побег). Я его мало знал, но сравнительно недавно меня с ним связало странное одно обстоятельство: ложная весть о моей преждевременной смерти.

Помнишь, полгода назад, на личном свидании ты рассказывала, что по Москве, в узком кругу, внезапно пронесся слух, будто я умер. Откуда пошло, кто принес на хвосте? — неизвестно. Говорили потом, что это какой-то западный журналист что-то перепутал. Ну слух — как слух. Только наши друзья, ты рассказывала, в эти дни стали относиться к тебе вдвойне предупредительнее и поти-

хоньку вздыхать вокруг тебя, а Супер, молодчина, не выдержал и говорит: "— Марья Васильевна! Все-таки вам надо знать правду. Ходит упорная версия, что Андрей Донатович скончался на днях в лагере. Нет ли у вас чего-нибудь выпить?.." И заплакал... Представляю, что было с тобою в эту ночь!.. Наутро (звонки! звонки! звонки!) в КГБ, со смехом, опровергли глупую утку: "— Мы бы первые знали, если бы это случилось..." И, впрямь, КГБ все это было не выгодно. Тогда они даже ускорили нам свидание, чтобы ты сама убедилась, что я жив и здоров... Потом, в результате, ты писала, у тебя был инсульт. Но все обошлось...

Теперь представь, возвращаюсь я со свидания с этой нелепой версией, о которой никому не рассказываю в зоне, и тут же выходит в зону из бура наш Клаус. В таких случаях, ты же знаешь, мы отпаиваем человека чаем. И вечером, в нашей компании, ходит черная кружка по кругу, и Клаус немного оттаивает. Смеется:

— Думали обмануть дурака! Про тебя, Андрей, кричали три ночи подряд: умер, умер, умер в зоне!.. Но я эти фокусы уже знаю! Они хотели, чтоб я попросил у них прощения. Чтобы меня до срока освободили из бура — тебя проводить! Но я не дурак! Я их раскусил! Не унизился...

Восстанавливаю дату: когда были крики?.. Совпадает, примерно, с временем твоей московской истории. Спрашиваю, кто же кричал? мне это интересно... Другие не обращают внимания. Да брось, Донатыч! У Клауса, ты же знаешь, с головой не в порядке... Но меня заело, и вновь появилось сознание, что здесь КГБ примешано. Хотя, повто-

ряю, я уже понимал, что КГБ тогда ни в смерти моей, ни в слухах на этот счет не было заинтересовано. Но кто же еще может, как сова, кричать по ночам в буре — по аналогии с Москвой?.. А Клаус все свое. Смеется: ”— Но я же им, Андрей, не поверил! Я — не дурак! Я же знал, что ты не умер. А все это нарочно подстроено...”

В огне печки — одни черные щеки. Умеют они в буре людей замаривать. Нечего делать. После чая отвожу за барак, и в темноте, без свидетелей: ”— Кто же, все-таки, кричал, Клаус? Охрана? Надзиратели?..”

Он страшно удивился. Почему надзиратели? Никаких надзирателей... Кто же тогда? Зеки? Нет, всех зеков, сидевших с ним в изоляторе, он перечисляет по пальцам. Все — свои люди. К этим крикам никто из них отношения не имеет и не может иметь. Это же — обман! Подлость! ”— Слушай, Клаус! Соберись с мыслями. Кто же тебе кричал, будто я умер? — пристаю я к безумцу. — Мне это крайне важно знать. Понимаешь?..”

И тогда он спокойно рассказывает, что на весь его лагерный срок, на десять лет, к нему приставлены два тайных агента от КГБ. Они-то и кричали. А ты их видел когда-нибудь? Нет, их нельзя увидеть. Они же — тайные... Но они сопровождают его повсюду — по зонам, по бурам, по больницам... С двух сторон. И всюду мутят, обманывают. Однако Клаус им никогда не верит. Он изучил их повадки. О, Клаус — не дурак!..

Теперь ты понимаешь, Маша, — кто кричал? Бесы кричали. Бесы, сопровождавшие бедного Клауса. Кто, кроме бесов, в буре ведал сплетню,

ходившую тогда по Москве, ими же, возможно, и пущенную? Какое совпадение! И кто знает, как далеко простирается тень этой вражьей силы над нами?.. Я-то жив и невредим, как видишь. И шесть уже месяцев прошло с той вздорной истории. Обман рассеялся. Но сегодня, 2-го мая, Клауса убили в запретке. Всего полгода ему оставалось дожить — до освобождения. Может быть, эти двое и толкнули его прыгнуть в запретку?.. До скорой встречи. Целую. Всего полгода...”

— Который час? — спросишь.

— Половина второго.

— Ой, уже половина? второго?!..

Все свидания сливаются в одну освещенную ночь. Но к чему нам жить, если не было и не будет свидания? ”— Не уходи! побудь минуту!” — мы всякий раз повторяем с тайным опасением, что уйдет и не вернется. Да и в нашей, взять, заурядной жизни мы оттягиваем смертное время разговором, или кофе, игрой в кости, рестораном, или скажешь: ”почитай что-нибудь вслух — вдруг когда-нибудь понадобится...” Просто, чтобы продлить, отодвинуть и находиться поблизости, покуда не отнимут.

Но все равно вы не споетесь, и она скажет, подвигаясь: ”— Посиди еще немного... Здесь, на кровати...” А ты ответишь небрежно: ”— А чего, собственно, сидеть? Успеется. Схожу-ка я лучше в магазин. За пивом и за хлебом...”

Женщина лучше нас по одному тому, что просит обыкновенно посидеть рядом, без расчета, без дела, так что время с ней, выходит, мы оба теряем

зря. Говорит: "— Посиди! Останься!.." Зачем? — спрашивается. К чему тянуть резину? Нам, чуть выпало, пора уходить на службу. На войну. Победить или погибнуть. А она все свое: "— Ну чего тебе стоит? Посиди еще немного. Побудь минуту..." Или — полюби меня. Или — еще лучше — женись... Этого еще нехватало!

Вы видали — водопад? Падает, ни о чем не заботясь, и разбивается о камни. И нам жалко. Не оттого ли, что себя распознали? Падает и падает себе с крутизны, как демон, совершенно уже изверившийся, и каждая преграда только повод ему лететь еще безотказнее и стремительнее вниз. Наши станции с объяснениями не попытки ли удержать водопад? Та, что в это время подставит вам руку, о которую вы не споткнетесь, как всегда, чтобы, бешено завертясь на мгновение на одном месте, еще бешенее падать, но — плывете, вдоль и вдосталь, по направлению к реке, — становится твоею женой...

— Ты где, Мария?

— Я здесь.

— Где? Не вижу!

— В саду. На улице.

Бегу на голос. Но и там ее нет.

— Ты — где?

— На чердаке...

Залезаю на чердак: одна паутина.

— Где ты?

— В подвале.

— В каком подвале?..

Фольклорные образы нас продолжают, вам подскажут: "а я — деревце", "а я — уточка", "а я —

твоя шапка"... Хватаюсь за голову — напрасно. Никого неймаешь. Потому что пуст дом твой давным-давно. Да и не было у тебя никакого дома.

Вдруг скричат: — Донатыч! Вставай! Твоя, слышь, приехала. Твоя какая — в очках? Значит, она самая. Беги на вахту!

И — сбывается...

О женщинах в нашем бараке лучше всех рассуждал горький один скоморох, как бывают горькие пьяницы. Сидел он за террор, а повинен был в самом тривиальном и убедительном убийстве. Мать занемогла, а председатель колхоза, как водится, лошадь не дает. Везти в больницу? За сорок верст? Оклемается. А нет — сдохнет бездохтура! Да спяну — драться. Да обматерил. Стеганул кнутом... Парень был не промах. Сбегал за берданкой, и пожалуйста, — терракт. Не кого-нибудь застрелил — председателя, кандидата в депутаты...

За двадцать лет каторги наш террорист женщин изучил по книгам, но разбирался досконально — и в Анне Карениной, и в Кармен... Имени его называть не стану, чтобы опять не припаяли политику. А так — мудрец и поэт несколько, какие обычно вычурными своими речами потешают барак.

— Карл Маркс заявил, что в женщине главное — женственность. Ё-моё! Ни хуя себе пророк! В лошади — лошадиность. В овце — овечьность. И тэ дэ, и тэ пэ... Но чем нравится нам баба, если она нравится. Она похожа, Карл Маркс, на кружку бражки, полную огня. Или берите изысканнее, по 18-му брюмера: "Мускат", "Узбекистон". Что кому по вкусу. В женщине, Марл Какс, дороже всего

— веселье. Чтобы мы видели, глядя на бабу, что все в ней резвится и пенится, независимо от этикетки. Без этикетки-то мы обойдемся, Марс Кал. Не в рекламе счастье. Бывает, колхозница, рожа рожей, крепче и забористее какой-нибудь великосветской кокотки. Пускай наружно будет — как ничего не чувствующая мраморная скульптура. Но внутри, Фридрих Энгельс, заключается та самая бражка. Внутри баба должна смеяться, играть. Тогда, Фейербах, и будет в ней настоящий градус. А так, без веселья, пусть лучше бабу трактор задавит...

И я — согласен. Разве не сказано: из ребра? Плоть от плоти, кость от кости. Однако ж — из ребра: сбоку, в сторону! В отступление от правил. В сторону смеха, веселья, слез, огня, воздуха, воды и глины. Я вылеплю тебя. Смотри: уже груди! Слабее и выносливее. Бесстыднее и добрее. Крикливее и тише. В сторону зверя и дерева. Рыбы и змеи. Чаше смеется, легче плачет. Поет, как птица. Чихает, как кошка. Одевается — как тюльпан. В отклонение от человека. Не особь, а народ. Не камень, а ландшафт. Трава. Костер. Озеро. Дорога...

...Но что в ту пору в других комнатах? Да все то же. Лялякают. Баюкают. Тараторят. Колобродят. Но главное — не спят.

— Не хотел я, маманя, ехать. Консул окрутил. "Чего вам бояться, Васильев? Срок давности истек. Судимость не висит. Хотите — туристом — в Минск? Хотите — как хотите. Свидитесь с родными. Понравится — останетесь. Не понравится — вернетесь. Никто насильно держать не станет. Нам-то что? Это ваша старушка-мама... Вся извелась.

Пусть, говорит, погостит, пока мы еще живы. Отец до горкома дошел: найдите сына! один у меня сын!..”

— Что ты, Степа, окстись! Отца в 62-ом похоронили...

— Да откуда мне знать? Консул божился...

— А ты и уши развесил...

— Ничего я не развесил!.. От тебя из Минска — тем же часом — письмо. Подкосила...

— Ведать не ведаю. Не посылала я никакого письма.

— Как же не посылала? Твои слова, мама: ”Приезжай, Степан, без опаски. Ничего не будет. Срок давности истек. В Президиуме, из Москвы, подтвердили...” Тебе подтвердили, а мне — червонец! Прямо с поезда, в Бресте, сняли... И второе твоё письмо, тоже по почте...

— Да не писала я писем, тебе говорят! Чуяло сердце. Приходили, умащивали: напишите да напишите Степану, он-де за вас скучает...

— Вот и доскучались...

— А я говорю: не буду. У меня и адреса нет. Что еще за Бельгия? Где? И не слыхала. А они — любезно так: ”не беспокойтесь, не сомневайтесь, гражданочка, мы доставим адрес...” А я упёрлась: не надо мне ваших адресов — я малограмотная!

— Но твой же почерк! Помню: твой почерк!

— Почерк, почерк! Я только Дашке в Свердловск пишу — в полгода. Как курица лапой...

— Что ж, по-твоему, письмо — подставное, подложное?!.. Какой еще Дашке?

— Ну сестре твоей, Дашке. Забыл? Она уже замуж вышла, девочку родила — в Свердловске...

— В Свердловске?.. Может, почерк подделали? Может, твое письмо в Свердловске, Дашке, подправили кислотой и мне переслали? Но почему из Минска?.. И штампель на конверте... Штампель!

— Помру я скоро, Степочка... Не доживу я — де-есять ле-ет...

Ночью в Доме свиданий тихо-тихо. Слышно — скрипнет половица. Либо мышь прошуршит. И не мышь это совсем, а магнитофонная лента голубого майора Постникова, верховника в нашем Явасе. В зоне его и не встретишь — прячется, аспид. Но все без того знают: Постников за главного, серый кардинал — крутит-вертит машину по инструкции с Лубянки. И от него, от Постникова, в лагерь проведена звукозапись — подслушивать разговорчики, искать связи, каналы... Только в точности пока не известно — куда и как?! Вот Валька Соколов, первостатейный поэт, гений, на свидании раздухарился — кофе с чаем — и давай стихи молотить. Самые-самые.

Ты душе глоток озона:
Здравствуй, зона!

— Читает и приговаривает:

-- Постников, записывай!..

А потом как перднет, как выпустит, со страшным треском, пар из задницы. И тоже кричит:

— Постников, записывай!..

Так что ж вы думаете? Лишили парня свидания. От живой жены увели. Какой вывод мы можем сделать, исходя отсюда? Один вывод — записывают!.. Как Валька и доказал. А вы говорите: не

может быть... Конечно, рассуждая логически, за каждым подслушивать, записывать бессмысленно. Смешно. Сколько палок накидают?хлопотно, да и пленки уйдет вагон. А все ж таки новенького всегда предупредят: "Смотри! В Доме свиданий не разевай варежку! Там у нас каждый звук прослушивается. Там у них, под полом, тайная аппаратура!..."

И правду сказать — лагерь у нас не простой, шпионский. Художественный, хитрожопый, прямо скажем, у нас лагерь. Для особо опасных, государственных диверсантов. Ну — как мы с вами! И вы поверили: *они* не сочтут нужным? *Они?!* Не будьте идеалистом. На это у государства дерьма хватает. Первым делом. На чаше весов качаются вопросы войны и мира. Чекисты за золото все достанут. Из-под земли. В Америке, в Японии. Выкрадут в крайнем случае. Слыхали о таком: "Слива-шпион"? В журнале "Наука и жизнь" помните фотоснимок? Японский! Слива, обыкновенная слива, в коктейле, в бокале, дуй через соломинку, а на дне — ягодка на полупроводниках. В косточке передатчик на ультра-звуках. Вы думаете, наши прошляпили? Да они только этим и дышат... У них — институты! Комбинаты! Академия Наук... Так неужто вы, господа, допускаете, к нашему Дому свиданий они не подведут все, что мыслимо и немыслимо, по последнему слову техники? Не воспользуются моментом, каналом связи? Это было бы с их стороны непростительной наивностью... Постников, не спи! Крути машину! Постников — записывай!...

Запишем и мы разговор: не видались, почитай, лет восемнадцать, а расстались как вчера. Хло-

пец и не помнит: тетка выходила. Добро. В погреб, говорят, от Советской власти не отсидишься. Нашли. Работал у немцев, приговорен к расстрелу с обычной заменой на твердый четвертак. Сотрудничает с чекистами. В меру, не теряя достоинства, подыгрывает и нашим и вашим. А сын — безусый, начинающий лейтенант в мелких погранвойсках, почтительный, воспитанный. Старик — скала. Сын — еще теленок...

— Мой наказ, Александр, — больше не приезжай на свидание. Не надо. И писем не пиши — обойдусь. Я нашу власть не хуже тебя знаю. Тоже — служил, учился... Не показывайся! Не высовывайся! Служи. Честно служи, как подобает офицеру. Предвижу: тебе мое прошлое мешает. Не мешало по недосмотру — так еще хлебнешь. Еще как хлебнешь! Опереди и отрекись. Ничего постыдного в этом нет: на то — мое тебе — отцовское благословение. Извести командование. Встань на собрании по стойке "смирно" и объяви: "раньше от меня скрывали, думал — помер, а как выяснил правду — не хочу больше называть отцом подлого изменника Родины!" Так и скажи: "подлого!", "презренного!" Вот на это мой крест. Вступи в партию. И живи себе по-тихому, как люди живут. Посылки не шли: отрекся и отрекся, — тетка пошлет. Помни, продолжаешь корень. Умру — не волнуйся. Выбирайся в начальники. С оглядкой. Не торопись. Не при на рожон. Ты уже пограничник — раз! Офицер — два! Вступишь в партию — три!..

— Постников, записывай!

Да не нужен майору Постникову этот лагерный хлам. Он и так знает. Отец на него работает.

Носит повязку, поет в хоре. Сын, по наказу отца, если сделает карьеру, — готовый майор Постников. Стоит ли расходовать пленку? Сам не утерпит, расхвастается старик, нашим и вашим, как сына-лейтенанта (это ж надо ж! — лейтенанта!) учил вступать в партию...

А чего худого?.. Прав отец, пострадавший из-за немцев, желая запечатлеться и увековечиться в потомстве. Пусть хоть тому повезет, коли у меня сорвалось. Разумно. Законно. Забота о продолжении рода. Всем хочется жить. И начальству — доступно. Сын за отца не ответчик. И видите: выбился в люди. Молодец хлопец!.. Как сказал мне сокамерник, отваживая от писательства: "— Сына, я вам рекомендую, в будущем постарайтесь пустить по военной лестнице. Отдайте в кадетское училище. С малолетства! Пускай жена отдаст, когда подрастет. На себе же теперь спокойно можете закрыть книгу. До смерти не отделаетесь. Но о сыне вас призывает отцовский долг — позаботиться. Чтобы вышел он у вас настоящим человеком. Возможно, когда-нибудь он достигнет вершины. Станет большим офицером. Начальником тюрьмы..."

— Чтобы — мой сын?! Да лучше...

— А чего плохого? — нахохлился сосед-наседка. — Посмотрите на Траяна. Умница. Образованный. Все Лефортово — под ним. А как женщины его любят! — я представляю. Начальник тюрьмы, скажу я вам, это почетная должность. Полковник!

И я — прислушиваюсь. Я начинаю постигать, на чем вертится земля. Вы думаете — на штыках? на страхе? на обмане?.. Ничуть. Ничего похожего. На великом и уникальном — классовом — един-

стве страны, сшитой на живую нитку стальной иглой, нервущейся и нержавеющей связью — кагебистов, партийцев, промышленников, генералов и лейтенантов с последним, догнивающим в лагере немецким полицаем...

Вон и Постников со мной согласен. Выдернул для профилактики — со свидания — новичка, а тот и разнесет: "— Не понимаю я нашей сегодняшней молодежи, — скажет в сокрушении Постников и всплеснет печально руками. Руки у него белые и взгляд бесцветный. Сам я Постникова за все эти годы и в глаза не видел, но рассказывали: змея. "— Носитесь тут со своими "идеями", "самиздатом", Чехословакией, будто, извините, курица — с тухлым яйцом. За границей про вас по радио байки складывают: "диссиденты", дескать, "правозащитники", "герои"... А какие вы герои? Так, болтовня одна. Вредная болтовня. Мозги у вас вывихнутые. Жизни не видели. Сами не знаете, чего хотите. Вот вы учились. Институт уже заканчивали. Могли инженером стать. Технологом завода. Начальником цеха. Кооперативная квартира. Жена молодая. Красивая. Ленинград. Архитектура... Советую, однако, впредь вести себя... У нас тут всякой заразы!.. Даже "писатели" есть. Знаю, знаю, уже познакомились тут с одним. Остерегайтесь контактов. Это страшный человек. Махровый антисоветчик. Держитесь ближе к рабочему классу. Разумеется, и тут вы столкнетесь... В семье не без урода. Что делать — не курорт! У многих руки — по локоть... Массовые казни, газокамеры. Бухенвальд. За это понесли заслуженное возмездие. Но, знаете, тоже люди. Люди как люди. Работают. Норму вы-

полняют. Исправляются. Даже можно понять. Ну спасали жизнь в исторических условиях. Приспосабливались к реальной действительности. Конечно, недоучли, ошиблись. Сейчас расплачиваются. Но все-таки это можно представить. Естественно. По-человечески. А вот вам — что надо?! Таким как вы — "идейным", "политикам", "писателям"... Отказываюсь. Не понимаю..."

— Не понимаю! — вздыхает Постников где-то далеко, за проволокой, на другом конце ленты. И все это кругами расходится по Дому свиданий, по зоне, медленно, на манер утечки с огромного магнитофона...

— Слышишь? Опять — мышка! — улыбается жена, выдавая пленку за мышку.

— Да, — говорю, — похоже мышь... Что-то мышей развелось в нашем Доме свиданий. Понятно — еда. Всем есть хочется. Вот они и пищат. Шуруют. Мыши как мыши. Ничего особенного...

Действительно, — пискнуло, побежало... Заедает, должно быть, катушка, пленка кончилась или плохо накручивается и поскрипывает на больших оборотах. Неловко и прислушиваться. Барахлит аппаратура, подержанная, списанная на нашу бедность. Много ли надо лагерю? И все-таки никогда не знаешь до конца: а может быть, мышь все-таки? кто подтвердит? Может быть — по недоразумению — мышь?!..

Не будем, однако, друг мой, предаваться иллюзиям. Не надо очаровываться. Мышь разнеживает, рассеивает. Теряешь внимание. Нужен контроль над собой. Все равно ничего рискованного в Доме свиданий мы уже не скажем. Будем нести ахинею,

вилами писать на воде, а не скажем. Будем плакать, а не скажем. Скрежетать зубами, отчаиваться, превозноситься в мечтах, любить, умирать, хоронить — не скажем... А скажем то и единственно, друг мой, что нам угодно и выгодно в данной ситуации, чтобы там у них записалось. И нам выгоднее, скажу цинично, чтобы не мыши это были, а ленты, магнитофонные змеи голубого майора Постникова... Слушай, слушай, майор, и думай, будто мы сейчас, в объятиях, ни о чем не помышляем и не слышим твоего шуршания в рассуждении о мышах. И прими за безобидную пойманную мышь ответную змею-информацию. И хватай. Заглатывай. Живьем заглатывай!..

Что-то змеиное, действительно, заползает в душу, и я говорю с грустной задумчивостью, будто открываю государственную тайну. На испуганные глаза машу рукой: не хипешуй! Так надо! Отмазка!

— Открою секрет, — говорю, — никому ни звука. Последнее время я что-то не понимаю Постникова. Вроде бы — майор! С образованием. С большим стажем. Умный, по слухам. В людях разбирается. Психолог. Но для них почему-то писатель это самое криминальное. Хуже нет. Ко мне, по их наущению, многие уже подходить не решаются. Еще бы! "Махровый антисоветчик!" Точно — к прокаженному... У нас тут один людоед, не смеяся, — настоящий людоед: съел товарища в побеге... Так он, в глазах КГБ, по сравнению со мной, младенец. Нет, я неправильно рассказываю: не съели они третьего, а только кровь выцедили. Где-то еще в Южной Сибири было. Жажда их замучила.

Они и напились — из шейной жилы. А через двести метров, чуть прошли — ручей...

Я чувствую, как все эти лагерные рассказы меня распирают. Потому и отвожу глаза от правды — сказать. Иногда — срываюсь. Но задача иная: обойти и перехитрить Постникова.

— Или вот недавно. Парень. Работяга. Попал за настоящий военный шпионаж. Ну какой там шпионаж? Жалкая попытка. Без всяких убеждений. Доллары хотел зашибить. Шейнина, Ардаматского, советской прессы начитался. Так и его предупреждают, едва завезли, в Штабе: не общался бы с Синявским: могу заразить сифилисом, буржуазной идеологией... То есть, представь, для них писатель сейчас опаснее шпиона!.. Тот, конечно, не приближается. Стороною дошло... А мне, между нами, на руку. Спокойнее жить в относительной изоляции. Пора подумать о чем-то своем — об отвлеченном, научном. О будущем. О Пушкине, о теории искусства... Люди, лагерь, откровенно говоря, мало занимают. И совсем не интересно. Устал...

На всякий случай, чтобы не подумала чего и дабы не шелестел карандаш вослед сказанному, рисую в воздухе, нашей сигнализацией, противоположные иероглифы. Магнитофон у них покамест еще не снабжен телевизором. Крепкий зек, из блатных, сформулировал обстановку: "— Они думают, как нас об... ать, — восемь часов в день, — все свое служебное время. А мы, как их об... ать, думаем 24 часа в сутки".

Так и я — не пишу, а черчу. Рассекаю себя на части. Дескать, так и так: не верь произнесенному: не верь словам моим, а верь — мне: полно друзей:

никто не боится: пустили козла в огород: у меня голова лопается от свежих впечатлений: как в сказке: не успеваю: только бы запомнить, вместить: потому и говорю...

Как это делается, вы спросите, — писать без бумаги? — и я, позвольте, вам не отвечу. Секрет. Вот уж это мой секрет! Еще пригодится. Не мне, так еще кому-нибудь... В сущности, все наше лицо и тело — это письма. Нос, например. Или глаз. А не хватит названий, пальцы на что? Их ведь — десять. Считая на ногах — двадцать. Чем не букварь? И весь человек сплошное междометие! Все знаки препинания, вся азбука — в нас. Пишите не словами, не чернилами, пишите — мимикой. Как глухонемые. Пишите, наконец, слюною на ладони. Фруктовым соком на лбу. Синицею в голове. Журавлем в небе. Только пишите. И до кого-нибудь дойдет...

А ночь, между тем дежурит на столе куличом, отбрасывая сияющие сигналы-тени от всех этих чашек с черным кофе, от банок, склянок со сгущенным молоком. От свадебного батона... И за окном пока что, слава Создателю, — ночь. День движется, а ночь, как часовой, стоит на месте. В самом деле, наступление вечера, рассвета, заката, обусловлено развитием дня, но никоим образом ночи. Даместишь ты, ночь, в Доме свиданий, сколько можно вместить. Всё заодно. В свои бездонные просторы. Посреди беспорядочности и неизменности дня, темным краеугольником, ночь.

Продолжаю рассуждать громогласно, глядя в потолок, с расчетом где-то насолить Постникову. Нет, на сей раз без обмана, без утайки, от чистого сердца, как есть. Пускай вырежет с пленки все, что

может помешать его дальнейшему продвижению. Да и возможно ли в чем-нибудь воспрепятствовать Постникову? Возьмет свое, снимет сливки. Но и шанс еще есть закрепить в памяти, в сознании Марии, пока не развели, не отделили нас, все эти созерцаемые мной серебряные рудники и золотые жилы, чтобы наши богатства не исчезли без цели, без попытки состязания, соперничества на ленте, которая пишит, но записывает. Пиши, крутись машина! Ну а мышь, на худой конец, — мышь не повредит!..

Повествую о "Бухенвальдском Набате", о гимне, который поют мертвецы с эстрады по праздничным дням, по настоянию начальства. Такого больше вы нигде не услышите. Хор немецких полицаев, бериевцев, военных преступников (других туда не затащишь) исполняет лагерный реквием по ими же загубленным душам и по себе самим. Близость колорита, и голоса со вкусом, анафемствуют со смаком, с пониманием материала, — бывшие палачи, от имени безымянной, но все еще требующей публичного воздыхания жертвы, ради самовоспитания, каясь в старых грехах, и от собственного уже изможденного и мученического венца. Двойное, тройное кощунство, страстно перекаываясь в полумраке смрадной столовки, служащей одновременно ареной концертной самодеятельности, доставляет горькое, извращенное удовольствие слушать в Мордовском остроге неутихающий "Бухенвальдский набат". И ведь как истово поют фашисты! Какие испытанные у них, выжженные лица!..

Еще более угрожающе в этих старческих устах, распахнутых страхом и жадностью, звучат за-

ывания "Ленин с нами!" и "Партия — наш рулевой!" За посылку, за рупь к ларьку чего не споешь? Даром, что после концерта истерзанный насмешками кто-нибудь из хора оправдывается в бараке: "— Да я, ребята, только пасть разеваю, а слов этих поганных вслух не произношу..." Но кто-то же произносит — в загробном восторге: "Ленин — с нами"...

Мария делает пальцами знак, — словно играет гамму на невидимом клавесине.

— Слышишь, мышка пискнула... Как здесь все-таки тихо...

Дескать, не зарывайся! Уймись! Или просто утомилась этой вынужденной игрой на двух, на трех диапазонах сознания, где мышь и змея чередуются, меняясь местами, и зона с ее фантомами составляет уже не среду, а если хотите, стиль и стимул еще не написанной книги. Ловлю себя на том, что здесь я, в общем-то, в собственной коже. Не просто как человек, вжившийся в окружающий быт, но нашедший себя наконец-то в произведении создатель. Что мне сладостно вползать в этой мучительный сад, полный дивных творений, продолжающий странным образом мою капризную мысль, мое длинное и скользкое обличие змеи. Кто бы мог предвидеть? Я! И мое место — здесь! И — развитие замысленной в давних низинах стези. Я счастлив, что я в лагере.

Сознаю, что рассказываю о Бухенвальдском ли набате, либо о Постникове с его загадочной пленкой, которую пытаюсь поймать, — о чем угодно, — все, абсолютно все, принимает в моем изложении дразнящий и двоящийся образ. Как если бы

это двойное, превратное существование, ставящее фразы и факты крест-накрест, как кроют крышу, плетут корзину, имело касательство формы, тождественной со мною и с тайнами злачного дома, где мы находимся. Со всеми его каналами, углами, перегородками, которые точит и точит всеслышащая мышь. Укрытие, облегающее плотной, гуттаперчевой кожей, заодно с обстановкой, подавленную волю художника, биографию авантюриста, прокравшегося, не желая того, соглядатаем рая, с которым сам соглядатай персонально совпадает. Не все ли равно, как обозначить, назвать его физический образ? Тонкой поступью, острым взглядом он обводит свои владения, словно какой-нибудь Казанова. Фабула, извиваясь, следует небрежно за его взвинченным плащом. Никуда не пришел, ничего не построил. Но достигнута искомая точка, начиная с которой тебе становится интересно и весело. Как вы думаете — зачем я это пишу? Поделиться увиденным? пересказать переживания?.. Нет, когда ты в душе перестаешь быть собою, теряешь скромность, заносчивость и змеем вползаешь в Эдем — не с целью соблазна или познания, но ради совпадения с телом человеческого рода, для какой-то красоты и законченности найденного замысла, — вот тогда все твое изобретательство, сочинительство, как бы оно ни называлось, само, произвольно, обрастает фабулой романа, равносильно жизни, любви, путешествиям в дальние страны, пускай ни строки не написано, а злодей уже за решеткой. Простое размышление о случившемся нам заменит и слог, и сюжет. И закуливаешь сигарету с острым чувством греховности. Оно сопутствует

мысли, действительности и страстному, противоположному поползновению писать...



ТРАКТАТ О МЫШАХ И О НАШЕМ НЕПОНЯТНОМ СТРАХЕ ПЕРЕД МЫШАМИ

У нас во Франции завелись мыши. До сумасшествия, и что поделаешь? Если бы две, три, мы бы примирились. Мы были бы только рады мышам. Все-таки кто-то свой в доме, и такие хорошенькие. Ушки на макушке, словно у медвежонка; глазки бисерные; конусом, вечно ищущая что-то, щупающая мордочка и длинный розовый хвост. Я всегда спрашиваю окружающих: а зачем у мышей — хвост? И никто не объясняет...

Мышей я люблю, в общем-то, и не имею ничего против. Но они же, в принципе, уже прыгают, где вздумается. Сидят на обеденном столе, посреди бела дня, на сахарнице, хотя, казалось бы, для них пакетов с крупой, с мукой — хватает. На буфете недавно Мария, моя жена, углядела-таки мышонка. Он метался, идиот, под ее пронизательным взглядом, не зная куда деваться, как слезть, и скатился под конец с высоты прямо на пол, визжа от страха. Небось ушибся, перепугался бедняжка. Да и как тут не напугаться! Сами представьте, смотрит на вас большая-большая громадина в очках, да еще в довершение ужаса двумя пальцами делает вот так: "тип-тип, мышка!" Как щипцами.

Жена у меня не боится мышей, и потому они ходят у нас уже по голове. Вот смотрите — бежит, смотрите! — я пишу, а она бежит по полкам, по книжным шкафам XVIII века. Вообразите! Восемнадцатого! И я, следя краем глаза, думаю, как скоро они начнут грызть переплеты и что тогда? На кухне пакетов, раскрытых, с мукой и сахаром, с разными пряностями, сухарями... Так нет — по книгам побежала! по рукописям!.. И это мне обидно, как писателю. Зачем же, говорю, так уж сразу по книгам? Разве это терпимо, лояльно?..

Я с детства боюсь мышей. Вот жена моя, Катерина, мышей не боится. Котик, говорит, они же такие маленькие. Я и сам знаю, что маленькие. Но чем они меньше, тем, как бы это сказать?.. Мышь, смотри, — мышь!..

В лагере я не боялся. Даже — крысы! Крыс там у нас было видимо-невидимо. И чем они питались, когда ничего не было, кроме железа, — вопрос. Но, бывало, всякий раз радуешься при виде крысы. Они жили с нами более-менее на одном уровне. Большие, тяжелые такие крысы. С толстым хвостом. И ничего! Помню как сейчас, перед этапом они зашевелились, забегали. И мы вычисляли, мы судили по крысам: не завтра, так послезавтра этап! Прекрасно! Но откуда они знали? Почему беспокоились? Все равно, кроме железа, откровенно говоря, есть там было нечего.

А сейчас, когда я на свободе, живу во Франции, и у нас с Татьяной собственный дом в Гренобле, стоит появиться каким-то несчастным мышатам, и мне как-то мрачно делается. Не то, чтобы я, как все европейцы, опасался эпидемий. А просто

неприятно. Зачем, думаю, здесь?.. Мне Линда, жена, медик по образованию, еврейка, внушает целыми днями: у тебя, Мурочка, во рту больше бактерий, чем у наших мышей. Рот у человека, вообще, самое грязное и заразное место, учти. Я бактериолог. Ешь чеснок. А ты скользишь по поверхности жизни и каких-то грызунов принимаешь близко к сердцу. Вот если бы ты меня по-прежнему любил, ты бы о них не думал. Ты бы сказал: — Юля! Юленька! мышка моя! прижмись ко мне! И все пройдет.

Отвечаю: — Киска! мышка! Прижмись ко мне!.. Какая Линда, с другой стороны? При чем тут Юленька? Ведь ты же — Гертруда! Не правда ли, ты из Голландии? Ну да, ну да, и я всегда подозревал — Гертруда! Но посмотри, радость моя, они у нас уже всю печку разобрали на части. В собственном доме, в Бретани. Выволокли наружу весь этот асбест, полиэтилен, всю эту готовальню, из которой складывается газовая плита, и — грызут. Вот тебе и Линда!..

— Но они же такие тихие, — возражает Варвара. — Ну как я, совсем как я! Зачем же так грубо? бестактно?!..

И сейчас же — плакать.

Я согласен. Я со всеми согласен. И все же когда серенький, неслышный шарик скользит по книгам, шныряет на столе, подле хлебницы, я как-то вздрагиваю. Ты, Полина, не вздрагиваешь, а я вздрагиваю, если увижу. Не известно отчего. Ведь я не женщина. Случалось и надо мной, под Волоколамском, нашествие мышей, наводнение. И я ставил мышеловки, регулярно, всякую ночь, а на ут-

ро вынимал три-четыре тельца и скармливал нашей сороке с поврежденным крылом, питавшейся, как выяснилось, исключительно падалью, — ни хлеба, ни картошки, ни овсянки она не признавала и жила в сарае, как у Христа за пазухой, пока не убежала. На мышей у меня в тот год был урожай. В ту зиму они сначала, судя по мышеловкам, перевалили за сотню, потом за две сотни, за три, за четыре, и я перестал считать. Но была польза от них и задор — сорока!..

А теперь — женщина, стоящая ближе к мышам, нежели я, ослепительная, с гениальными пальцами врожденной пианистки, в ярко-красном халате, с багровым, как кровь, маникюром и белым, как бумага, лицом, визжа от страха, хватающая острыми, накрашенными, как ястреб, когтями, не знаящая, куда бежать с этим теплым комочком, кидаясь по комнатам, сходя с ума, боясь, что я не иду на помощь, находит выход в уборную и спускает в унитаз. Мышь выныривает, мышь еще живая, мокрая, лапками цепляется — по мраморному унитазу...

Прости, читатель. И не взыщи. Не пугайся. Все это я сочинил. Не было никакой женщины с ногтями. Ничего не было... Просто я не знаю, что с ними делать, куда деваться. Пищат. Скачут. Царапаются, если застрянут, во избежание осложнений, шмыгают, поют и танцуют. Мыши, мыши, почему мне так страшно жить?..

Далеко не отходя, вижу себя в детстве, в электрической комнате, запертым на ключ. В гнетущем ожидании мамы, которая все не идет и не идет с работы, из своей библиотеки Гоголя на Пре-

сне, так что всегда боишься, не попала ли она под трамвай. Не дыша, сижу, пытаюсь читать, рисовать, думать ни о чем, а мышь все скребется и скребется под шкафом. Кричу на нее, топаю ногами, кидаю книгу на пол. Смолкнет на мгновение и опять принимается пилить и тянуть из меня душу. Или, к стихийному моему ужасу, бесшумно выкатывается шариком из-под шкафа — на самую светлую середину комнаты. В ее способности исчезать и появляться неожиданно — неслышно, когда ее видишь, и невидимо, когда слышишь, было что-то мистическое. Казалось, мышь существует вне разумно, беспричинно, посланницей иного света, нам невыносимого, — тьмы. Стыдно ее бояться, я знаю. Но и нельзя отогнать, нечем избавиться. Побежала-побежала и — скрылась. Была она или нет ее — не известно. Только память сосет: вот-вот явится!.. Скребется. Не успела исчезнуть, а уже скребется...



... Слышу, направо от нас, за перегородкой, тоже беспокойно. Голоса не долетают, но по скрипу половиц: ходит и ходит взад-назад, как нанятый, по старой арестантской повадке. Кто там и о чем, — в зоне узнаю. Добрый мой сосед, "Свидетель Иеговы", отольет слезы на брата — не по вере брата, по крови, из города Кишинева. Прикатил за четыре года на одни неполные сутки, да и те показались долгими обоим. Но не то горе, что не могут они поладить, хоть и куролесят всю ночь, а утром одного со свидания выведут на пилораму, а другой поскачет назад, в Бессарабию, преподавать полит-

экономии в высшей партшколе. И не в том беда, что в глазах второго брата первый, лагёрный, совсем и не страдалец за веру, за Божье, неотступно, свидетельство, но упрямый кретин и садист, не желающий выходить из тюрьмы, лишь бы досадить ближним. А та обида, что прибыл-то второй на свидание с одним портфелем, да и тот пустой. Восседает за столом, как в президиуме, пьет воду из графина, трет лоб, чтобы не уснуть, и учит уму-разуму брата, чтоб вернулся тот в человеческий образ. Мог бы, кажется, подписать заявление, прямо здесь, за этим столом, заготовленное братеньником впрок, о разрыве с Иеговой, — только мах-ни пером, и вон она, эвон, рукой подать, за воротами — свобода!.. Так нет, ходит и ходит, как зверь в клетке, мракобес, и темнее ночи изуродованное оспой лицо.

— Ты бы, — говорит, — хоть полкило сахара привез...

— Что тут у вас — сахар не выдают? К чему зря таскать?

— Таскают же другим? Везут? Видал, небось, когда запускали? Дети, старухи, и те с грузом...

— Ну мало ли... Может, у них для себя провизия. На три дня запас. На обратную дорогу. Мне-то на что? Я, например, в поселке пообедал. А тебя, с утра, на производстве обеспечат горячим завтраком. Между прочим, у вас тут с питанием неплохо организовано. Я взял на обед, например, котлетку с вермишелью. И ничего — съедобно. Спросил даже вторую порцию. Компот...

— Так это ведь — в поселке. За проволокой...

— А тебе и в поселок уже лень сбегать?

— Как прикажешь — по воздуху? Через за-
претку?..

— Никогда я не поверю. Скажешь, вас не пускают? До столовой рукой подать. И кормят, скажу, почти как в Кишиневе...

— Вольных кормят! Вольных!..

— Ну, знаешь, братец, на тебя не угодишь. Не так обслуживают? Нет официанток? Скатерти не такие?.. Прости, но это — фанатизм. Нездоровые настроения... Принадлежность к секте...

И снова начинает зудеть о вреде подпольных собраний, суеверий, о журнальчике "Башня Стражи", сызмальства задушившем башку. Тогда он и первый срок заработал: отказался служить в армии, на посмешище всей деревни. Батя в пылу чуть голову не отрубил топором. Вывел во двор — кладит голову на колоду! Не было еще в нашем роду этаких иродов. А тот и положил: руби! Мать отбила... А теперь у самого — двое. И — третий срок.

Ответственный товарищ в Явасе, с юридическим дипломом, майор, буквально плачет: "— Мы не в силах! Не поддается сородич моральному воспитанию. Так вы учтите — пусть пеняет на себя: мы не из пугливых: мы намотаем и четвертый, и пятый срок... Детей — бросил. С женою не живет. Не расписаны. В паспорте у нее пробел — никакой отметки о браке. Приезжала разочек. Но вы сами войдите в наше положение. Не можем же мы — в трудовой колонии, в Доме свиданий — поощрять разврат? Так и уехала ни с чем... Сама не лучше: все с Иеговой! с Иеговой! Она еще у нас — досвидетельствуется!.. Хоть бы за это время вышла за кого-нибудь замуж. Завела бы хахалю. Может

быть, вы, там, посодействуете, по партийной линии? Подскажете?... Ведь того и гляди — детей отберут. В интернат. Разве не жалко? Детей!..

На что уж старший надзиратель в Доме свиданий, закаленный человек, и тот содрогнулся: "— У вас, гражданин, стыдит, партбилет, педагогический стаж, большой воспитательный пост занимаете в государстве. Людей обучаете марксизму и ленинизму. А собственного брата до такого зверства допустили?!.. Сердце разрывается: детей не пожалел — третий срок тянет. Вы бы немного — того-этого — повлияли на брата. Родной же брат он все-таки вам, а не хер собачий!.."

Тоже мне — брат! Одно название. Вечный упрек и пятно в анкете. Повлияешь на него! Ходит, каин, словно в клетке, и все свое, все свое долдонит:

— Привез бы ты мне хоть сахара полкило. Белый батон в гостинец...

— Что тут у вас — уже и белого хлеба нет?! Никогда я не поверю...

И всю ночь напролет, долгую бесплодную ночь, препираются братья о хлебе и за сахар. Не поваышая голоса, упорно, — до Страшного Суда, до последнего Армагеддона...

А у меня Марья, тем же часом, развела канитель, заплела историю с курицей. Прекрасная была курица, я вам скажу, посланная нам, должно быть, в компенсацию. За Юру Красного, за Михаила Бураса. И того, кто не дерзнул принести мою последнюю, окаянную, но все еще почему-то причитавшуюся по Институту зарплату: "— Я вам не Дон-Кихот!.." За друга детства, за одной партой

сидели, на Скатертном, соседи, богатый купец и почти антисоветчик, — так нет, перешел дорогу, за-видя жену арестованного... Герой войны, инвалид, из штрафного батальона, выдавил в глаза вдове, после суда: "жаль, не расстреляли! и буду вечно жалеть!.." Страшно, как меняются люди, в один миг, под влиянием страха.

Да. Знаю. Были и другие. Храбрецы. Альтруисты. Мартиролог до сих пор не иссяк... Но тогда, вначале, в моем сознании все перевесила — курица. Она лежала в синей обертке у нашей запертой двери на полу, и, вернувшись с очередного допроса, жена вдруг обнаружила: курица! Кто ее принес? Ни записки, ни фамилии. Если бы друзья, для Егора, не оставили бы так, без присмотра, на произвол судьбы, в коридоре нашей вымороченной квартиры — в ярко-синем конверте, всамделишную, из военного, должно быть, продмага на Воздвиженке. Она была подобна молнии в душный, угнетенный полдень. Отсюда, из Дома свиданий, я вижу ее — как живую. Свежая курица! Золотой дождь...

Загадочный этот подарок вызвал раскол в поколениях. Сердобольная бабка, десятая вода на киселе, из бывших большевичек, напичканная предрассудками и ужасами чисток, твердила: выкинуть! выкинуть! подослана из органов! и наверняка отравлена! хотят сквитаться!..

Мария, новая поросль, на опыте допросов основывалась, что вырубить нас под корень могут законным путем. Ничего не стоит. Материалов — достаточно. Нужна им какая-то курица! Не те времена... Споры упирались — и в том загвоздка — в

особенности нынешнего исторического развития, балансирующие как чаши несогласованных весов. "Жажда крови?" — один расчет. "Сытые тигры?" — совершенно другое. Короче, дилемма века сводилась, как я полагал за кулисами событий, — варить или выбросить волшебную курицу, положенную к дверям в качестве шарады... Был же, в конце концов, или не был XX съезд?!..

Победило, как всегда, молодое поколение, и курицу вслепую сварили. Егор, откушав бульончик, проснулся живым и здоровым, даже не было поносика. Страна, трясясь и оглядываясь, переваливала новый рубеж. А в мире, между тем, появились незнакомцы, приходившие в дом арестованного не с камнем за пазухой, а с курицей в хрустящей бумаге!

Я чувствую, как впадаю в экстаз, едва слышу о ней, душистой, из морозильника, в заколдованном чем-то портфеле. Диккенс и сказки Андерсена. Сверчок на печи. Быть может, потому, что еще Екатерина Вторая писала Дидероту о курице, что ни воскресный день плавающей у всякого русского пейзажника в супе. И курица, Екатерина Великая, магазин на Воздвиженке, Дидерот как-то совмещались в уме — в одной чашке бульона. Она испарялась нектаром, под облака, в золотистых инициалах Российской Императрицы, покуда снизу, разинув рты, мы взирали на голубые плафоны, дымившиеся музами, купидонами, которые ее возносили в содружестве корзин с фруктами, кадильниц, одухотворенных задов, — все более и более, по законам перспективы, удалявшимися от нас. Следом за ними, за ангелами, за облаками, в си-

нюю высь влекся и аз, в инициалах, упиваясь ароматом дарованного младенцу бульона, и уже не замечал свисавшей с потолка, на спор с Дидеротом, старческой, ослабленной маски Вольтера. — Курица-то, курица оказалась неотравленной!..

Незнакомец, разумеется, как сгинул. Пришел, положил у порога, как голову кладут, и ушел. Только и делов-то? Но требовалось решиться... С тех пор для меня затрепанное, газетное словцо "диссидент" все равно, что благоуханный подарок. Нет, господа, что-то изменилось в России. И первым "диссидентом", возможно, был безвестный человек, который принес курицу. После этого что хотите пойте. Я меряю отсюда, с порога. Вы можете умереть и ни до кого не докричаться. Никакого добра не было и нет. Бог один остался, но Бог — далеко. Надо трезво смотреть на вещи. И принять все, как есть, сполна: и Юру Красного, и Михаила Бураса. Но кто-то приходит и кладет у дверей — в сверкающем, синем пакете...

— Лед тронулся! Лед тронулся! — возглашаю на перекрестке дорог, в нашем укромном трактирчике, где мы заночевали, словно в свадебном путешествии. Хотя, признаться, я и тогда сомневался и сейчас не верю, что лед тронулся. Но — приходит незнакомец...

— Проветри, — попросила Мария, — тут так накурено, дышать нечем. Пусть продует...

Я снял осторожно крючок, приоткрыл дверь и отпрянул. Там, во глубине заведения, стоял на четвереньках дежурный по вахте, лейтенант Кишка. Свисая нагрудными знаками, как беременная сука сосцами, он вел прицельное наблюдение за

нашими соседями слева. Сколько он созерцал уже, четверть часа или более? как подполз, без сапог, в шерстяных носках? — мы и не слышали. Казалось, зажатый глазным отростком в пробое, Кишка не мог расцепиться с образом соития, который воспроизводил в одиночку, собственным обликом, наподобие склепившихся в жаркой вязке собак. Громадный сперматозавр, почуяв мое дыхание, не оборачиваясь, красный как факел, разорвался-таки пополам и ринулся назад, к вахте, откуда выползал, судя по всему, полакомиться к нам, на свидания, в скудные, ночные часы дежурства. Будто и не было его, и он исчез в зарослях, за железной завесой, раньше, чем я догадался, зачем его сюда угораздило. Тогда рядом с нами расположилась на ночь молодая чета, не помню уже за что и по какому приговору разлученная то ли на пять, то ли на семь лет. В ее постели Кишка нашел золотую жилу...

Выждав, когда он уберется восвояси и задвинет за собою засов, я все же, ради страховки, прикрыл дверь поплотнее и выругался нецензурно и длинно страшной матерной бранью, на которую сподобился.

— Ты о чем? — удивилась Мария неожиданно повороту.

— Да так просто. Вспомнил... К слову пришлось.

Мне, сознаюсь, не хотелось вводить ее в курс событий. Скандалить? Возбуждать тревогу? Портить ночь? Возможно, это последняя — и у нас, и у тех... Не хотелось.

— Все в порядке, — говорю. — Ничего. Одну минуту...

По счастью, в нашей каморке старанием, очевидно, семьи, которую мы сменили, бесполезная замочная скважина была заткнута ватой. Добрая предосторожность. Ватка... Какая жалость, — подумал я, — ваткой из-под манды... А тот, гад...

Что было делать, спрашивается? Будить юницу? Конфузить молодого, неопытного любовника непрощенной заботой: "гасите свет, закройте щелку... не то завтра, если будет у вас завтра, снова подглядят"?.. Срывать чадру целомудрия с брачного чертога, напоминая — наблюдают, и все, что вы там у себя вытворяете на кровати, для них одно кино и цирк один?!.. Какая разница. Я не оракул. Раковину, раковину обращать в карцер, куда проникает Кишка приватно, как по заказу, развлекаясь, вслед за ястребом, каким наделен ее невероятный, уже теряющий разум понапрасну, но пусть клюет, пока есть что клевать, посланец и создатель?.. Увы, я не моралист. Детей воспитывать, повергая в стыд и отчаяние? Сами не маленькие. С меня хватит... И я выругался еще раз дикой российской руганью, от которой стены трескаются, но которая, впрочем, ничего не обозначает, кроме нашей общей беспомощности. Потом, вторично, отворил дверь — проветрить...

В самом деле, в номере было хоть топор вещей. Брань, пополам с протухающими, опухшими в блюдце окурками, издавала смрад, что тьма крошечная, не считая миазмов, желудочных и иных отправлениях. Последние все же, как нарочно созданные для этих стен, вносили дозу совести в то, что происходит. Мне сделалось не по себе: "Ромео и Джульетта"!..

На руках, на щеках, по всей коже, мнилось, выпадает осадок, вроде порошка, которым морят клопов. Бессмысленно. Хотелось умыться. Обтереть лицо полотенцем. Хотя что-то духовное мгновениями как бы источалось из воздуха, оно было мерзостней, нежели сам запах, на манер какого-то густого первородного греха, не локализованного, однако, в одной точке пространства, но равномерно посеянного по всей галактике, в виде сыпи или кори, какую болеют дети: порываешься, как во сне, стереть вместе с лицом, но все время отвлекают...

Мне снова вспомнился поэт Валентин Соколов, бросивший при высоком начальстве, когда оно играло на струнах — дадут не дадут свидание, как будете себя вести, зависит:

— Жена, примечай внимательнее, твоей пиздой торгуют!...

Верно: Дом торговли. Раствление. Запускают, кипятят, снимают приварок. Как посмели? У нищих? Из рта? Красть! Подсматривали бы за вольными бабами, без привязи, не возражаю, хоть в бане. На голую бабу, согласен, всегда приятно положить глаз, — успокаивает. Но здесь? Перед смертью? Раз в столетие? На том, что противится разуму, срываешься...

Передо мной воздвигался, свисая орденами, лейтенант Кишка. Страж во вратах рая, по оперативному заданию, с коротким мечом, на карачках. Как если бы уродливым, головоногим богом позавидовал Адаму и, выпятившись, с орбиты, просекал сеанс. Уходит в пробой... В промежность. Зачем?! — бросаюсь. К чему сотворил еси, с яблоком в кар-

мане, клеймом позора, и сам запроектировал в позе, утяжеленным животным? На воле мы без тебя обходились и жили беспечно, как звери. Но здесь ты запер и подкрался. Восстал. Что ни ночь, вдыхаешь сперму, которую мы выпускаем, раз в год, воздев сердце кадильницей. Дивись, любуйся! Лезь с потрохами! Все равно ты ничего не увидел, не разглядел. Ты все проворонил, Кишка!..

Бывало, приплетешься к жене сказать спокойной ночи, а она уже засыпает. — А ты смешная, — скажешь, подтыкая одеяло, как ребенку, на спине. — А почему смешная? — спросит сквозь сон, не дожидаясь, впрочем, ответа. Подумаю: а потому что люблю. С грустью. Кто тебе, милочка, подоткнет спинку, когда меня не будет? Вот и все объяснения. Уйду, подумав...

А рассвет не дремлет! Его еще нет, рассвета, до него ехать и ехать. Мы скрываемся в ночной глубине, как в коконе, как под плащом во время ветра, и еще, еще чернее — в прыскающей черноте электричества. Но рассвет приближается и уже невидимо бродит призраком покойника в доме, собирая дань с постояльцев за то, что жили здесь, как все люди живут. До конца осталось пять, нет, еще шесть, нет, еще восемь часов. Все время такое чувство, что кто-то умер. Наверное, по-настоящему так и быть должно. Пока мы живем и живем, каждую минуту кто-то среди нас умирает. По тюрьмам, по больницам. И просто на проезжей дороге. Только мы на замечаем. Не думаем. Это делается втайне. Но все время, пока мы живем, кого-то уводят в расход. Невольно озираешься: не тебя ли?.. Не за

мной ли?.. Здесь не говорят о веревке. Она — витает. Только улыбнешься:

— Ты еще жива?

— Жива. А ты еще живой?

— Живой!..

Хожу и хожу по комнате, как маятник, в опровержение распространенного мнения, будто звери ходят монотонно по клетке, не понимая ситуации, в какую они угодили, с наивным расчетом найти выход не с этой, так с той стороны. И звери бездоказательно мечутся от одной запертой дверцы к другой. Понюхав, бегут обратно... И я бы остался при том же предубеждении, когда б не усвоил на практике, вживаясь, этот премудрый закон медленного челночного шага от стены к стене, которым достигается исподволь широта обзора, спокойствие и равновесие духа, позволяющие лучше обдумывать всевозможные коллизии, в пределах и за пределами стен, в их ритмическом развитии. Твое мягкое скольжение по камере, из стороны в сторону, заведомо бесцельное, принимает форму работы по извлечению и прояснению смысла, точнее говоря, совпадает с его собственным уже, без тебя, произвольным ростом. Что-то вроде настройки на звуковую волну. Ходишь и ходишь туда-сюда, набирая сторонний, далекий и сопутствующий твоему блужданию ум. Звери, я убежден, ведут себя так же. Попав в неволю, исчаявшись, они не ищут выхода, но, чтобы не издохнуть, вступают путем хождения в некий резонанс с иными пластами пульсирующего всюду сознания и живут уже на правах литературного бытия, которое не упирается в стену, а просто-напросто ее минует и, рассказывая о

себе, вслушивается в такт всемирной, речитативно доносящейся жизни, в согласованности с которой, сами того не ведая, мы существуем и думаем. Неужто вы полагаете, что все ваши мысли так и зарождаются у вас в голове, как черви? Голова такая маленькая, а мысли большие-большие, и берутся они, в основном, из воздуха, из космического, если хотите, пространства, которое трепещет в зарницах еще не пойманных слов, так что вам остается лишь своевременно к ним повернуться, прислушаться, слоняясь туда-сюда, туда-сюда в ограниченных условиях клетки, камеры или книги.

Звенит гитара в уме. Струна дрожит в тумане, исходная точка наших бедствий, навевая успокоение узнику. Нетерпеливо спрашиваю Марию:

— А ты помнишь, — кажется, нам это пел Шибанков? Здесь, между прочим, это почему-то не поют, хотя тут бы, кажется, ее и петь, ее и петь?!.

Петь, на самом-то деле, я положительно не умею. Без голоса. Пробую изобразить на пальцах, что, собственно, имею в виду и ловлю по слуху. Действительно, была такая... одна... вначале...

— "Когда с тобой мы встретились"? — читает она мысли. — Конечно, помню...

— Да, то самое!..

Продолжил неслышную музыку и хожу по кругу, восстанавливая про себя милый недостающий подстрочник. Хорошо, она подсказала зачин:

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела,
И в шумном парке музыка играла,
А было мне тогда всего семнадцать лет,
Но дел успел наделать я немало...

Бывают такие мелодии — даже не мелодии, обрывки мелодий, — слышанные давно, словно в другой жизни, забытые, возможно и незнакомые вам, но все-таки странным образом припоминаемые, всплывающие по одной какой-нибудь нетвердой ноте. В одиночестве или в тюрьме, на чужбине, нам особенно дороги эти стертые или мнимые записи нашей ранней и, казалось бы, уже утраченной памяти. Будто по улице, в уютном шуме толпы, бредешь по песне и говоришь сам с собой, перекладывая на себя чью-то встречу, о которой поется, как он ее зарезал из ревности и теперь ждет расстрела. Иди и пой, сопровождением жизни, твоей единственной и всеобщей, когда не важно как? почему? да и было ли убийство или только померещилось? Блатной репертуар. Из тех жестоких романсов, от которых у меня смолоду, чуть заслышу, пересыхает во рту и грудь сжимается страстной, тлетворной тоской по неумению запеть вместе со всеми. Что это — сродство душ? Или, быть может, ирония, скрытая в чудных звуках, глубже пролагает дорогу к сердцу современника, нежели классический песенник? Ведь не было ни парка, ни шумной толпы, ни музыки. Ничего похожего. А вот, поди ж ты, все это как будто и было только вчера, да только одно это и было в жизни!..

— Как дальше, Маша?

— "Потом я только помню..."

— Ах, да!..

Потом я только помню, как мелькали фонари
И фраера-лягавые свистели...

Я долго-долго шлялся у причала до зари,
И в спину мне глаза твои блестели...

Ага, это он ее, значит, уже убил!.. Но, вы думаете, убитая уставилась ему в спину, провожая глазами возмездия, Немезида?! Что его мучает призрак совести, которого он страшится и бежит, перепрыгивая изгороди? Как бы не так! Такого разве проймешь? Она смотрит ему вслед удлинённым, внезапно вспыхнувшим, как прожектор, взглядом с благодарностью и сожалением. Бедный! сколько еще ему бежать, по круговой дорожке, до обещанной встречи с ней, до назначенного в парке свидания?..

Когда вас хоронили, ребята говорили, —
Все плакали, убийцу проклиная...

Правильно: детей хоронили. Но убийцей на сей раз был уже я, автор. И я один не плакал.

Я дома взаперти сидел, на фотографию глядел:
С нее ты улыбалась, как живая!

Все плакали, жалели. А я радовался: оживает! Предвестие коснулось меня: спасена!.. Что она ему изменила, с кем и почему, — это второстепенно, это самая, кстати, слабая сторона и часть песни. Но верх берет поэзия, едва он занес нож, и закрадывается надежда, когда, перехватив, я его вонзаю, — воскресла! Спрашивает, заливаясь слезами, — локти на стол: что ты наделала, девочка? и кто бы исправил? как бы ты жила, куда бы подевалась, если б я тебя не зарезал? Мало что вор — убийца! Да и она не ангел. Но хотелось тоже иметь что-то красивое в жизни. Душа просила — вернуть по-смертно в лоно первоначальной невинности, на дет-

ский праздник в парке, как Ромео и Джульетта. Теперь проклинайте, сколько хотите, — дело сделано! Вернись! Приникни! Не тебя, а себя принес он в жертву неутоленной любви и бежит по направлению к ней, не оглядываясь, в лучах ее просиявшего встречным счастьем лица...

Завтра прочитают мне смертный приговор,

Завтра я глаза свои закрою,

Завтра меня выведут на тот тюремный двор...

И вот когда мы встретимся с тобою!

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела...

И опять за старое. Будто заигранная пластинка крутится в мозгу, всякий раз зачиная тот же цикл жизни — не мне, так другому, не другому, так третьему, не все ли равно? Только не в парке мы встретились, не на модном курорте и не в приморском ресторане... Ты не видишь, не знаешь, где мы находимся...

— Прости, пожалуйста, — говорит Мария, перебивая мои мысли. — А если бы нам, например, дали свидание в морге? Не фигурально, а по-настоящему — в морге. На трое суток. На один час. Ты бы — отказался?..

— Что ты!.. Да где угодно...

— То-то же... Молчи. Мы встретились — в морге. Понимаешь? В морге. И пользуемся условиями...

В Доме свиданий ночь больше дня. Но и помноженная на все, без сна, проведенные здесь ночи, она бледнеет под конец и сходит на нет. Пора! Тут уж не до смеха. Часы отсчитаны, и двери на замке. И речи уже исчерпаны. Рассвет напоследок закрадывается в окно, кажется, уже с вечера незванным

гостем и примешивается к молчанию, делая горьким питье и объятия теснее, порывистее, подхлестывая не упустить оставшийся на прощание шанс. Как если бы вам предложили однажды испить "кубок жизни" залпом, сдав на подержание, на ночь, эту меченную позором и потерявшую голову комнату. Тогда начинаешь догадываться, что плотское в тебе или, как еще называют, животное начало, в нормальное время внушающее стыд, либо, кому повезет, гордость собою и веселое расположение духа, это не прихоть сбесившегося богача и гурмана, но способ досказать недосказанное на словах, при жизни, единственной сообщнице и заместительнице твоей на земле — на весь, уже ей отпущенный Богом срок.

"Язык глаз, — писали в романах, — бывает красноречивее уст!.." Бывает. Все бывает. И уст, и глаз... Но теперь, осмелюсь заметить в родовом определении, все красноречие, сосредоточенное в тебе, необходимо перенести, за неимением иных аналогий, на язык жестов, исполняемых к тому же нижней, в основном, половиной туловища, незрячей и безгласной. Это было бы неправдоподобно, когда бы не мгновенный инстинкт самосохранения, бросающий нас цепляться за соломинку в минуту крайней опасности. Мы, как слепые котята, как земляные черви, тычемся нащупать друг друга в поисках наибольшей доходчивости, способной в зашифрованной форме передать сигнал о себе и о бедствии, которое мы терпим. Последнее, не снимая любовного колдования, делает его осмысленнее и добрее. И если смерть, говорят, проистекает из греха, то здесь, в ее соседстве, весы склоняются

внезапно в его пользу, словно это грех во спасение, в помощь вам, мольба о помощи, исповедь и заклятие вместе. С бодрого галопа он сбивается на диалог, построенный на одном осязании, но имеющий, в принципе, быть зафиксированным даже и словесно, в самом приблизительном и схематизированном виде. Что-то вроде:

— Узнай меня и прости. Нет никого на свете. Нигде и никогда. Ты же понимаешь. Запомни перед концом. До конца. Запомни. Запомни. Пойми и запомни...”

Нет, я не берусь пересказывать так буквально эту древнюю пантомиму. В моем изложении, я знаю, все теряется. Интеллектуальный оттенок невольно сообщает пересказу не идущий к делу технологический элемент, как бы приглашая угадывать за словами кадансы и спазмы детородных органов. Между тем в предлагаемых обстоятельствах в мою задачу не входит запечатлеть ощущения, пускай и весьма приятные, но — логику свершаемого в этих стенах оплакивания. Тут не наслаждаются жизнью, тут с нею расстаются, прощаются. Старательно хоронят надежду: а вдруг прорастет?!

Логика, однако, не поддается переводу на внятную кому-то, помимо участников обряда, рассудительную и членораздельную речь, поскольку, в довершение бреда, она нечленораздельна и нарушает границы нашего естества и сознания. А то, чего доброго, вы бы еще спросили: а что он сказал? а что она ответила?... Здесь нет делений на ”него”, на ”нее”, на вопросы и ответы. Вопрос и есть ответ. И грех — наравне со смертью. Наконец-то!.. Я всегда этого ждал. И вот совпало. Не смех, но смерть рас-

творяет мои уста: заговорить о недозволенном. И смолкнуть. Исчезнуть. Рассыпаться в блеске подступающего дня. Лишь на миг в уме будто что-то просверкнет.

— Запомни, — говоришь. — Мы расстаемся! Мы больше не увидимся — пойми!..”

Но опять-таки не говоришь, а вдалбливаешь, доказываешь обрубком, когда нету рук и встреча на исходе, а ты, бездарный дурак, все проспал и не успел ни о чем поведать. И ты повествуешь сызнава, сначала, с конца, колотишься лбом в стену, ловишь, зазываешь в гости, жалуешься и утешаешь... Эта кропотливая, в общем-то, церемония, всем хорошо знакомая, любопытна в том отношении, что ходишь ты с битой карты — как с козыря! Будто дерзаешь, порываешься куда-то... Не из самомнения — просто у тебя ничего нет за душой. Ты бестактен. Ты разнуздан, как шулер, пойманный на месте, с расчетом, что и она — шулеровка. Вы оба шулера, а третьего не дано. Свои люди — сочтемся!.. И этот последний довод делает речь убедительной, имея на примете каким-то нелегальным путем укорениться в жизни, вопреки всем показателям, что тебя не существует. Бесстыдство твоя единственная очевидность. И знак доверия между вами.

— На! Прими, как есть. Я — таков!”

И словно в ответ, долголетняя дрожь из-за стен. Выкрики и песнопения. Как это перевести на вразумительный язык?

— Я страшно тебе благодарен за прожитую с тобою совместно, обоюдоострую жизнь...

— А будешь помнить всегда?..

— А еще приедешь?..

— А помнишь, как мы ездили на Север?..

— А будешь помнить, когда я здесь, без тебя, убьюсь?..”

А дальше, дальше пусть она думает. И делает, как знает. Со мною кончено! Раздавлен и оболган... В ярости, что с тобою кончено, ты выказываешься уже не лицом, не членом общества, но придатком себя, обуянным разумом и продолжающим ораторствовать на тех же громоподобных глаголах: ”— Поверь! Пойми! Запомни и останься!” Высокопарным тоном, почти трагически, но, уверяю вас, совершенно голословно... Зато в итоге мне стало тогда яснее, откуда дети родятся и что вообще это значит, само по себе, — зачатие. Жена тебя сокрыла. Запомнила. Доверилась. Поняла. И понесла. Не гены это совсем. Не молекулы. Но понимание и память...

Имеются породы рыб, говорят, а также насекомых, которые гибнут прилежно в акте оплодотворения, но к этому более всего и стремятся, и готовятся... Вы думаете, мы так уж далеко от них отделены? Или что им — не хочется жить? Еще как хочется! Но смерть, по-видимому, у них пересекается с зачатием, как двойственная цель бытия, и служит условием продолжения рода и вида. Так и у нас? Не знаю. Но что-то похожее, во всяком случае, я наблюдал за собой и на себе в Доме свиданий, в лагере.





Глава третья.

ОТЕЦ

Всякий раз, подымаясь по лестнице, я поминаю отца. Тяжело. Кряхтя пересчитываю ступеньки, как залистанную книгу. Дистанция. Сколько еще площадок — три или четыре? Больше мы не потянем. Самому-то мне тяжелее не взбираться, но спускаться по ступенькам. Все боишься упасть, потерять сознание...

Не то — отец. Под старость он карабкался на третий, на четвертый этаж и страдал одышкой, изжогой. Пил соду. Бывало скажет: "старость — не радость, пришибить некому". Любил шутить.

Поднимаясь по лестнице, я повторяюсь. Все уже было — и одышка, и изжога. Не со мною — с отцом. Он раньше меня прошел по этим ступенькам и завещал кряхтеть, отдуваться, поминающая старость. "До чего ты похож на отца!" — ужасалась мама. Когда кашляю, сморкаюсь, когда поворачиваю тяжелую болванку-голову, либо спину, скособочась, — все он. Отец точно так делал. Раскрою ли газету, насуплюсь, рыгну ли — подлинник. В детстве отца не помним. Отца боимся, отцом довольствуемся в неслужебное время. Помнить, вживаться в отца начинаешь с возрастом. Когда сам уже — отец.

Правда, стареть я начал рано, лет с тридцати, с двадцати пяти. То все — детство, отрочество. А потом — затяжной прыжок, и старость, пожалуйста. Потому и с отцом наладился общий язык. Но понимать отца я только сейчас начинаю. Сейчас, во Франции? Какая разница — в России или во Франции мы поминаем отца! И нет уже горше заботы. Мне бы успеть, дотянуть. Кряхтеньем, харканьем. Храпом во сне — воскресить.

Иногда — пугаюсь: настолько меня нет. Он меня вытесняет, замещает — поворотом спины, шеи, хождением по лестницам. Все — несамостоятельно. Теряюсь, исчезаю. Но чуть опомнюсь, приду в себя — так и Слава Те, Господи: — Значит, ты жив, отец? Ты — жив?!..

Все это, естественно, начиналось с детства, с

манной каши, которую я не жаловал. Тогда начиналось: за маму, за папу — чайной ложкой. Я честно выполнял обещания. Это было ритуалом. Почти молитвой. Не до и не после обеда — на протяжении кормления. Постарше, я не смел привередничать. Мы жили нищенски, и мама выбивалась, чтобы эту прорву наполнить. Но в расцвете младенчества, знаете, мне было море по колено, и я изображал из себя нечто значительное, спасительное для жизни. Все зависело — съем я, или не съем тарелку. Она возвышалась вулканом, требуя утоления, покуда не застыла кора и не пошла на смарку вся задуманная процедура. Взывание к лучшим чувствам, к высшему во мне, смиряло отвращение, которое засасывалось в искупление грехов. С ложкой в руке, казалось, я вызволяю человечество из пекла, по моей же застарелой вине впавшее в детство, в немилость, и свисавшее тягостной, белесоватой массой, сталактитами в пещере, не лезущее в рот, забивавшее горло на первой же, неиспробованной, непроторенной стезе. Нет, это не было капризами. Исполнить долг безвозмездно мне было бы не под силу. Но у меня засело в уме, что на этом держится что-то более серьезное, нежели десертная ложка, висевшая в руке взамен ковчега, и следом сам я, замазанный, погрязший и все еще медливший в борьбе.

Тогда, с назиданием о семье, об ответственности, вступала мама:

— За папу!..

И разве я мог отказать?.. Сейчас, перебирая по пальцам, смею заверить, что никогда уже впоследствии я так усердно не молился и не жертвовал со-

бою, как над этой тарелкой, которую надлежало заглатывать каждодневно для поддержания баланса. Словно с меня причиталось за право моего интересного водворения на свете и требовалось, вместе со всеми, это право зарабатывать, впрягшись в лямку. Но не надо перебарщивать. В виде награды меня поджидало в конце самое приятное испытание, ради чего, собственно, я сейчас излагаю, как проскальзывала манная каша. Опереждать события, однако, было бы с моей стороны, мягко говоря, не деликатным. Лишний раз остерегаешься думать о будущем. Бывают ступени, которые мы не в праве сами решать. Давайте по порядку: "за маму, за папу"...

И я, маленький, я старался. Наверное, в системе моих тогдашних убеждений это было что-то вроде неотложной помощи. Меня окрыляло сознание собственной пользы в доме, который между тем медленно расползлся по швам. "За бабушку и за дедушку, оближи ложку..."

Потом шли родственники, знакомые (их было, по счастью, немного), и мое революционное рвение жертвовать собою сникало. Это было так утомительно, так бесперспективно есть за тетю Лизу, за дядю Федю и даже за московского мальчика Алика Либермана, жившего по соседству, на Хлебном, и уезжавшего всякое лето загорать на пляже в Алушту. Видя, что дело не клеится, а силы мои на исходе, мама пускала, как довод, дедушкину собаку и кошку. Было бы предательством обойти их поминанием.

— За Бульку и за Муську!

И мы катились с горы. Финиш близился. С

волнением я предвкушал, когда же призовут имена самые заветные, мне в поддержку, и более всего нуждавшиеся в подношении. Когда же скажут во здравие:

— За Велосипед! И за Ружье!

За них я бы съел без зазрения двойную порцию. Но оба они стояли в конце моей обеденной эпопеи и на этом много проигрывали. Временами назвать их поименно почему-то упускали, и каша оканчивалась ни с чем. Может быть их берегли, как резервный батальон, для последнего удара, — не знаю. Или мама, сохранявшая крестьянские привычки и навыки, не решалась все же вводить в равноправные члены семьи эти идолы мужчины. Мать подозревала за ними влияние отца и побаивалась. Во всяком случае я бы тоже постыдился, вопреки обычаю, вносить их в список вне очереди. Да и вылезать за столом со встречными предложениями как-то само собою считалось непозволительным. В итоге мои кумиры страдали неохваченными, а меня утешало сознание, что завтра мы с ними возьмем реванш. Правда, придется начинать сначала: за маму и за папу, — строго по форме...

Подрос, но долго еще моими иконами в доме оставались Велосипед и Ружье. Впрочем, у нас и не было в семье больших сокровищ. Отцовские Велосипед и Ружье пользовались у знакомых почетом, и заезжие охотники уважительно почмокивали. У Первого была удвоенная против обывателей передача и задняя втулка бельгийской фирмы. Второе — тоже редкой, западной марки "Пидер Баярд". Остатки былой роскоши...

В раннем детстве отцом я наслаждался больше всего в Рамене, в его летний отпуск, едва он покажется у нас, на проселочной дороге, потный, запыленный, верхом на велосипеде, с ружьем через седло. На зиму велосипед запирали в Сызрани, в дружественном кругу Курочкиных, а ружье путешествовало за отцом в Москву и обратно. Я просто не представляю его тогда без ружья. Явится и сейчас же: патронташ, смазка, и — вылетело из головы (свинчивается из ореховых палочек), да, вспомнил — шомпол, форма дроби из медного стаканчика, экстрактор, порох, пыжи. К пороху притрагиваться было не велено, а с дробью — сколько угодно, и поэтому я все хорошо помню. Как набивали патроны, латунные и картонные. Мастырили пистоны. Как прикатывал, тоже на велосипеде, Богданов, сидящий электротехник из Сызрани, серый, защитного цвета, с серебряной цепочкой часов у жилетного кармана, в железных очках, тоже на цепочке, строгий, подтянутый, убежденный холостяк, пропахший табаком и собаками. Мне слышался в нем еще запах пороха, и выстрелы словно поблескивали в его стеклах на цепочке.

Отец почитал Богданова за его неразговорчивость и старомодные манеры электротехника-аскета, иссушенного охотничьей страстью, о которой он никогда не болтал. Лишь спросит бывало, укладываясь спать: — Во сколько будить, Донат Евгеньевич? В три или в четыре? — А в полдень, посмотрим, приносит красноперую тетерку, да куропатки пачкой свисают с ягдташа. И, уписывая дичь, мы выплевывали дробины на скатерть, чтобы не

повредить зубы. В лесу же, как позднее откровенничал отец, Богданов себе позволял лишь одну дежурную реплику: — Поерим, поурим? — что значило перекур. Сиделись отдыхать.

Отец не курил, не пил и к этому времени стрелял хуже Богданова. Поэтому он к нему ревновал, не подавая вида. Он давно уже начал слепнуть на правый глаз, поврежденный лучом прожектора. Там, на голубом его поле, зрело белое пятнышко. С правого плеча стрелять он уже ничего не видел и научился вскидывать приклад слева, что давалось ему нелегко и он часто мазал. Словом, перед Богдановым отец заметно сдавал. А в молодости, говорят, приплетется с охоты, увешанный вальдшнепами, как гроздью винограда, к неописуемому ужасу мамы. Вальдшнеп, мы знаем, вылетает внезапно, маленький и зигзагом. А — попадал!

Папа вообще ставил перед собою задачи самые невероятные. В нем билась жилка неудавшегося изобретателя. В первую мировую войну, ожидая мобилизации, упражнялся писать левой, на случай если на фронте оторвут правую руку. Из нашей диаспоры нам это непонятно. Это кажется барством, чудачеством. Когда оторвут, тогда и научимся. Мы мыслим прагматически. Но его привлекали вещи, требующие напряжения. Прочитав несколько книг по современной энергетике, он выработал для себя диаграмму, где ничего не пропадает, но входит в мировое пространство облаком натренированной воли. Атеист, он ввинчивался в небо, как электрическая лампочка, и, естественно, на этом терял. Всегда — терял...

Любил рассуждать о странностях науки в эпоху революции, когда сам одно время работал по изучению народных гипотез. Больше всего тогда изобретали перпетуум-мобиле, и, представьте, случалось, академики ахали и растерянно разводили руками: батенька! знали априори, что такого не бывает, но доказать не хватало догадливости — настолько по чертежам, на бумаге, все получалось аккуратно. Потом другой самородок нашел секрет погашения вулканов. Секретом пренебрегли, благо на Руси вулканы не так актуальны. С отчаянья самоучка списался с Муссолини, предложив утихомирить Везувий. За связь с фашизмом его пустили в расход. Отец допускал, что в результате мы прозевали мировое открытие...

Но оставим смешочки на совести профессоров. В наш дом в Москву раз в год приезжал дядя Леня с тетей Верой из Сухума. Тогда еще этот великолепный город именовался по-старому — Сухум, где, я слышал, много русских. Химик, с ореховым от сухумского воздуха черепом, дядя Леня заведывал важной лабораторией, откуда раз в год наезжал в Москву на разведку, надеясь, что отец протолкнет его опыты в оборону. В белом балахоне и в белых же, полотнянных штанах, казавшихся мне почему-то не совсем уместными, он, как негр, бросался в глаза кожаной черной перчаткой вместо левой руки, оторванной веществом, много превышающим силу динамита. Однажды они с тетей Верой подарили мне кубики. Все же я старался на дядю Леню лишний раз не смотреть. На правой руке у него тоже не доставало двух пальцев. Не знаю точно, что из этого

вышло, но впоследствии отец говорил, что, может быть, наши катюши — это дело дяди Лени. Очень может быть.

Между тем я тоже не отставал от века и старался изобрести что-нибудь полезное. От первого изобретения до сих пор не отрекаюсь. Нужно было выдумать плотный газ, делающий вокруг самолета точную копию облака. Плывет себе потихоньку, высоко над землей, выпускаемое пульверизатором, и никто не подозревает, что внутри у него — самолет! С помощью такого облака мы долетаем до Берлина и неожиданно бомбим.

Другой способ, более долгий, рыть подкоп через Польшу и, обойдя с тыла, поднять восстание. Все мы тогда грезили мировой революцией и искали к ней скорейших ключей...

Наверное, за идеи надо расплачиваться, и, когда в 51-ом отца арестовали, соседи сплетничали, что мы с ним по ночам рыли подкоп под Норвежское посольство — из нашего подвала на Хлебном, через улицу Воровского. Подземным путем собирались переправить на Запад что-то шпионское. Подвал после ареста отца и вправду был опечатан. А меня арестовали только через четырнадцать лет. Отца уже не было в живых. Но тот подземный ход за спиной остался. Какое упорство! И как давно это было — подкоп до Берлина, за маму, за папу чайной ложкой...

Отец вообще хотел сделать из меня человека. Себя же держал неизменно в революционерах, но в партию не вступал, и, может быть, это его спасло. Революцию он встретил в левых эсерах, и с тех пор это висело за ним как судебное

обвинение, создавая в семье атмосферу неуголенного подвига и длительной, беспросветной нужды. Отца, сколько помнится, всегда откуда-нибудь вычищали за его революционное прошлое. По счастью высоких постов он уже не занимал, друзей не заводил, в разговоре не позволял себе ничего такого и гордо нес одинокую преданность делу, от которого был давно уже отлучен. При первом же допросе он сказал следователю: "даю вам слово революционера!" Тот так и покатился: Мамонт! Мастадонт! Он мог бы с ббольшим успехом дать слово дворянина.

Помню, идем из бани, и, подмерзнув на остановке, я скулю, что пятнадцатого трамвая не видно: "опять не наш номер!", "и этот снова не тот!" Отец терпел, держа меня крепко за руку, и вдруг придумал. " — За то, что у тебя нехватает выдержки, — произнес он авторитетно, — вот подойдет 15-ый и мы его нарочно пропустим. А будешь ка-нючить — еще пропустим. Пора в тебе вырабатывать силу воли". И мы действительно пропустили наш трамвай, и я не пикнул, и ждали до бесконечности, хотя было поздно и холодно и мама волновалась. В итоге я не стал менее слабонервным, но речь не обо мне. Отец вечно выделял из себя революционера. Или, готовясь к худшему, воспитывал волю и выдержку, и его не обошло.

Папа спал без подушки, пользуясь плотной, как войлок, думкой. Свободную подушку клал на голову, и шум ему был не страшен. Взрослым я несколько раз пробовал его переспорить, и напрасно: " — В тюрьме, — отвечает, — могут не выдать подушку. Не надо приучаться к мягкому!"

Я не согласен и до сих пор с ним мысленно спорю. Но речь не обо мне — об отце.

Кажется, он был прекрасным оратором и умел зажигать массы. Где-то на Урале, в 17-ом, 18-ом, в Питере, в Сызрани. Получал удивительные записки на митингах. "Мы натянем ваши красные шкуры на барабаны!" — ждали реставрации. Девичьи комплименты: "Вы похожи на Калаяева". Цитировал с улыбкой: был тщеславен, неудачник. Несколько раз уходил от петли, от пули. То наступление чехов и он в кольце: спасал велосипед. То красные по оплошности запрячут в каталажку. В ожидании, когда расстреляют, — спал. Выпускали...

От дворянства у отца оставалась завидная привычка не заботиться о еде, об одежде, не убирать за собою ни посуды, ни постели (все равное ее вечером расстилать), проявляя тем самым холодное высокомерие к низменностям буржуазного быта. Революционный дворянин умеет опрощаться натуральнее и полнее дорвавшегося до власти мужлана. Те, новые, из пастухов, в 30-ые шили уже габардиновые костюмы, примеряли шляпы, серванты. Папа считал ниже своего достоинства думать о таких мелочах, и мать мучилась с ним, сгорая за нашу бедность, бесправие, страх, притеснения соседей, и я трепетал с матерью, но лучше понимал отца.

Один раз, в 33-ем, мама выцарапала в библиотеке льготную путевку со скидкой в Дом отдыха — на Черное море, в Новый Афон. Отец, как водится, остался в Москве и в то лето не отдыхал. В Рамене было голодно, подгоняли коллективи-

зацию, и мы сушили дедушке черные сухари. Мы с мамой тогда увлекались Кавказом, я с луком и стрелами охотился на кабанов, пренебрегая островами бритоголового завхоза, что на кабанов следует охотиться с хреном и солью. Он просто не был охотником и не ведал, что творилось вокруг, в пальмовых и бамбуковых, почти африканских зарослях. Понятно, я не мечтал встретить ни тигра, ни даже барса, который, судя по "Мцыри", однако, здесь где-то крутился. Но кабаны с клыками, дикие вепри, выбегающие из человека из чащи, были естественной принадлежностью этих гор и санатория, в который был обращен старинный монастырь.

У моря мы познакомились с девочкой по имени Мэджи, аристократической грузинкой из города Тбилиси. По-видимому, я влюбился в нее, не отдавая отчета, что она старше меня и окончила этой весной 2-ой класс. В ней была, я бы сейчас сказал, женственная томность, и усики уже пробивались на смуглом очаровательном личике, как это случается у брюнеток южного происхождения, которые становятся барышнями гораздо раньше, чем мы воображаем. Пока наши мамы толковали, мы, лежа на песке, тоже затеяли с Мэджи острый обмен мнениями — своего рода соперничество за место под солнцем. Она призналась кокетливо, что у них в Тбилиси квартира из четырех комнат и ее папа так зарабатывает, что подарил ей ко дню рождения пианино, на котором она уже учится играть. Но оттого, вероятно, что она мне нравилась, я ей не поверил. Не ведая стыда, который на себя навлекала, Мэджи явно

завышала ставки. И я тоже прихвастнул — с тем чтобы красавица, бросив молоть вздор, последовала моему примеру. Я громко сказал, гордясь собою:

— А мы в Москве живем в одной маленькой комнатке — в подвале. Там нет ни уборной, ни умывальника. Ничего нет. Там стоит посередине одна большая железная кровать, и еще — письменный стол, заваленный папиными бумагами. Две книжные полки, и на ремне висит в углу ружье.

И впрямь, в это мгновение я живо представил себе темное отцовское логово, заросшее паутиной, поскольку папа не позволял никому у себя убирать, чтобы не затерялись бумаги. Но это была не вся правда. Я скрыл от Мэджи добрую половину истины: что на первом этаже — в том же доме и в том же подъезде — была у нас в коммуналке дополнительная жилплощадь, где от соседей прятались мы с мамой и вечером читал газету и пил чай вместе с нами — отец. Эту вторую комнату я на минуту как бы выпустил из памяти, представ перед Мэджи в полном блеске. Я не врал. Я просто немного идеализировал действительность.

В глазах у нее метнулся испуг, губки изогнулись в презрительную ижицу, но, вовремя опомнившись, она засмеялась, как это делают умные женщины, чувствующие юмор, давая понять, что мальчик из порядочной семьи, каким я ей рисовался, просто почему-то неудачно пошутил.

Мама вдруг начала беспокойно собираться и, сказав, что нам пора, увела меня с пляжа. До са-

мого Дома отдыха, покрывшись красными пятнами, что с нею редко бывало, она отчитывала меня за воинственную позицию, которую, как выяснилось, слышала частично и поджаривалась, как на огне, пока я распинался перед маленькой буржуазкой.

— Зачем ты обманывал Мэджи, что мы живем в подвале?

А я не обманывал. Я лишь мысленно перенес всю нашу семью в сказочный папин подвал, чтобы жить нам вместе и остаться без соседей.

— Нашел чем хвастаться! Ты роняешь нас перед чужими людьми! Ты нас опозорил!..

Опозорил? А я-то думал — как лучше: прожавленная кровать, революция, ружье... Прочее-то, в общем, тоже соответствовало этой гордой обстановке и пицало на все лады, что мы — нищие, мы — высшие, а не какие-нибудь капиталисты.

Спустя двадцать лет соседка-буфетчица огрызнется в коридоре: "— Арестовали? Давно пора! Американский шпион! Фабрикант! Но, видно, плохо ему платили заокеанские хозяева: твой отец всю жизнь в обтрепанных брюках ходил!.."

Кому — как, а мне почему-то приятно, что отец всю жизнь ходил в обтрепанных брюках...

А мама повторяла:

— Да. Правильно: мы — бедные! Но нечего об этом кричать. И тебе не было стыдно перед этой девочкой, у которой четыре комнаты? И она уже учится играть на пианино!.. А наш папа...

Она заплакала.

Я недоумевал. Тень классовой вражды про-

бежала между мною и Мэджи. Больше мы с ней не встречались. Мама водила меня купаться на другой пляж. Но я не понимал и мамы. Зато меня, может быть, понял бы и одобрил отец?!..

Когда я теперь посмеиваюсь над этим недо-разумением, как все мы взрослыми смеемся над нашим детством, давая понять, что мы были ду-раками, но зато, впоследствии, стали умными и могучими, мне хочется сказать, что еще ничего не потеряно и кто был прав в этом споре о бедности и богатстве — тоже пока не ясно. Просто я твердо усвоил, что быть богатым нехорошо. Зачем же в таком случае мы делали революцию?!..

Тем временем, в это же лето, покуда мы с мамой купались на Кавказе, с отцом приключи-лась история, протянувшаяся рефреном на годы, а затем — рубцом по его, да и отчасти по моей, спине. Он шел с работы поздно вечером и у Ни-китских ворот, за лотком, где белозубые кавказ-цы чистят ботинки и продают шнурки, вдруг уви-дел тощенькую голую ногу в тапочке и, ухватив-шись, вытащил ребенка моего роста и возраста.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего — ночью, — рассудительно ответил пацан, нимало не испугавшись. — А що? Не мож-но?!..

Это был обыкновенный, московский беспри-зорник, какие тогда, как воробьи, стайками про-должали слетаться на площади, бульвары и вокза-лы и были уже почти неотличимы от колорита древней столицы. Но отца поразили и страшная худоба мальчика, и деловое достоинство, с каким тот объяснял свое внезапное водворение здесь,

где не было у него ни родных, ни знакомых, и вел он жизнь в одиночку, чем Бог подаст, что для такой пигалицы, к тому же украинца, было героизмом. В частности, почему он стрижен под машинку, Ефим Бобко (так его звали) с мужицкой солидностью объявил, что сам, на собранные милостыней копейки, первым долгом пошел в парикмахерскую: чтобы вши не завелись. Наверное, эта крестьянская добросовестность в исполнении последнего дела перед судьбой и ранила отца. Старый народник повел его к нам, на Хлебный, а потом, чтобы не оставлять одного в пустой комнате, таскал за собой на работу, пока не пристроил по знакомству в хороший московский детдом, пользуясь подмокшими, старыми, революционными связями. Усыновить Ефима не было ни денег, ни места. Мать потом, ревнуя, говорила, что отец его полюбил, потому что она от отца, в отчаянии, увезла меня на Кавказ, но это — неправда. Отец не терял надежды найти у Ефима со временем родню и вернуть по месту жительства, где у того, на Украине, оставались взрослые сестры — Наталка и Дуняшка, а маты и батько уже вмерли. Старший брат по недороду захватил его с собою на заработки. Но по дороге свалился в тифу, и его сняли с поезда...

В итоге Ефим Бобко стал моим сводным братом, хоть и обосновался в детдоме, являясь к нам в гости по выходным дням. Забегая вперед, скажу, что, сколько отец ни рассылал запросы по Киевской, Полтавской, Запорожской и прочим областям и ни рыскал по московским больницам в поисках тифозного брата, родни у Ефима

обнаружить не удалось. Может, его сестры тоже "вмерли" или по вербовке уехали на Дальний Восток, куда их со временем предполагал выписать старший брат, если бы не заболел тифом. Названия района, области, города, из-под которого он родом, Ефим не помнил. Крестьянский мальчик — что спросишь? — Ты напруги память! — приставал к нему папа. — Ну, в какой большой город вы ездили из деревни — на базар, допустим, на ярмарку?.." Ефим тужился, думал, но ничего определенного вспомнить не мог. На всей Украине он знал один Киев, но никогда не бывал, не видел. А Украину в те годы словно подмело. Потом узнал я: в 33-ем ходил там голод вместо дворника, загоняя метлой в колхозы. А в те веселые времена только и помню, что мама плакала по бабушке, оставшемся в Рамене, в Поволжье, где было не так уж голодно, да страшно раздражалась, когда барыни в спальных халатах на станции бросали хлеб с маслом почти уже эдичавшим собакам. — Дети мрут, а они — псам!" — раздражалась мама. И я снова не понимал ее материнской нетерпимости, потому что любил собак.

В Москве (в тот год я пошел в школу) мы с Ефимом Бобко не очень-то подружились. Я желал ему поскорее найти взрослых сестер и брата и пробовал читать нараспев "Кавказский пленник" Лермонтова. Ефим казался мне каким-то дефективным. Это был молчаливый мальчик, стриженный по-солдатски, с некрасивой, выпуклой родинкой на лбу. "Лапута!" — думал я, зачитываясь "Гулливером". Он был от всех отделен какой-то непроходимой стеной.

В детдоме ему понравилось, он усердно занимался, переходил с похвальными грамотами из класса в класс и числился в примерных, как и требовалось, пионерах. В политическом развитии Ефим меня обогнал. Но книжки, которые я по наивности ему подсовывал, он почему-то не читал. Чтобы сделать ему приятное, я извлек Гоголя с "Вечерами близ Диканьки". Но и Гоголя он словно пропускал мимо своими бесцветными, какими-то отварными глазами, как если бы ему не было дела до этих мазанок, дивчин и хлопцев, плясавших гопака в напоминание о милом крае. Лишь поэтические эпиграфы к "Вечерам" его остановили, и он заносил в тетрадку песенки и прибаутки, казавшиеся мне мало остроумными:

Не хилися, явороньку,
Ще ты зелененькі й;
Не журыся, козаченьку,
Ще ты молоденькі й!

Все это он как-то старательно, без улыбки, переписывал, словно в исполнение долга перед родиной, ему чужой и далекой, на которую он и не собирался возвращаться. Его холодность к Украине меня корбила. Но к отцу он привязался как собака, хотя это тоже ничем не высказывалось, а чувствовалось и лежало за ним, молчаливо и неподвижно, как камень.

Проскучав вместе весь день, отобедав, отбыв повинность, мы провожали Ефима в его детдом, куда он, казалось, уходил от нас с облегчением, и давали на прощанье на трамвай 20 копеек. 10 — на возвращение, и 10 — обратно, на дорогу к нам, через неделю, в следующий выходной день.

Как-то Ефим открылся, что нетрудный этот маршрут он проделывает пешком, а двугривенный откладывает до каких-то лучших времен, что было тоже неприятно, поскольку от других денег, пускай и скромных, он неизменно отказывался, а эти, честно заработанные, брал, и, значит, получалось, ходил к нам раз в неделю за 20 копеек. — Пусть делает, как знает! — заключил отец, но я видел, что это медленное, мужицкое накопительство ему не по душе.

Года через три на свои сбережения Ефим неожиданно купил фотоаппарат, который, мнилось, ему понадобился не для детского развлечения, но ради неясных, далеко лежащих задач, для ремесла что ли, к которому следовало приучаться с малолетства, или ради заработка, я уж не знаю. Загадка: сирота жил по какому-то своему, обдуманному и недоступному мне плану.

С годами он все реже и реже бывал у нас, а перед войной, окончив 8 классов, пришел прощаться: ехал в Клин по набору в военно-музыкальное училище. "В военно-музыкальное?!" Выяснилось: он играл на трубе. "На трубе?! Хотя бы в техникум! Мы тебя поддержим..." Не помогло. Ссылался на ребят из детдома, ехавших по тому же набору: дают форму, кормят... Наши пути непостижимо расходились. И снова, сдерживая раздражение, отец махнул рукой: "Пусть делает, что хочет!..."

...Ефим появился на горизонте в самом конце войны. Я служил тогда в армии, в воздушных частях под Москвой, учился заочником на филфаке, прибыл по увольнительной, и мы пересеклись.

Он зашел на Хлебный повидаться с отцом, демобилизованный после тяжелой контузии на фронте, в заношенной до тошноты, кургузой солдатской шинели, сидевшей на нем мешком. В Клину у него затесалась какая-то приятельница из детдома, он спешил вернуться, но за несколько минут мы впервые разговорились. Дружно ругали армию, поносили офицерство — сошлись. Он жадно сосал махорку, страшно кашлял и, как бы в оправдание, бросил, что приучился курить на фронте от голода: заглушает. Раньше за ним я никогда не замечал такой откровенной, болезненной, но живой, процеженной злобы. Словно война его перепакала, выдернув кости наружу, и теперь они торчали во все стороны, как сломанные копыя. Ефим снова исчез, а затем, через несколько месяцев, пришло от него опрокинувшее отца известие, ради чего, я все и рассказываю так подробно. К сожалению, письмо это у меня не сохранилось: отец поспешил уничтожить опасный для Бобко документ. Не пытаюсь воспроизвести его стиль и перескажу своими словами.

В письме Ефим просил прощение за то, что обманывал отца всю жизнь, начиная с вечера, когда тот вытащил его пацаном из-под сапожного ящика. Поэтому, как подросток, старался бывать у нас в гостях возможно реже, хоть и почитал дядю Доната другим батькой. Не хотелось в глаза смотреть. Признаваться позднее в обмане уже не достало смелости: боялся обидеть застарелым недоверием человека прямого и честного, "настоящего революционера". А я, писал Ефим, сын кулака. В 33-ем их раскулачили и выслали в Си-

бирь. И никаких взрослых сестер не оставалось на Украине. Ничего не оставалось. И название своей деревеньки он соврал, чтобы не разыскивали следа. А район, и город, и область — притворился, что по малолетству не помнит. А то, чего доброго, установили бы, что нет и не было такого села в искомой местности. Да и фамилия у него вовсе не Бобко. И старшего брата, заболевшего тифом, тоже не было...

А было так: их везли эшелонам с раскулаченными отцом и матерью, с братишками и сестренками, да еще со стариками — в Сибирь. Везли подыхать с голоду, и Ефим бежал с дороги, под вагонами. Родители благословили старшенького — беги: может, выживешь... А дальше — снова по кругу: дядя Донат, обманывал, сапожный лоток у Никитских и семилетний мальчик, скрывающий тайну своей странной родословной от всего света...

— Ты ему написал? — спросил я, когда отец окончил читать письмо каким-то коротким смешком.

— Разумеется. Никакого ответа. Напишу еще и возьмусь за розыски. Может, он опять куда-нибудь переехал из своего Клина...

Но Ефим не переехал. Через старую его приятельницу, знакомую по детдому, узнали: Ефим Бобко умер в Клину, в больнице, от последствий тяжелой контузии и голодного истощения...

Как хорошо в лесу, исхоженном с детства, с отцом на охоте. Он с ружьем впереди, я за ним без ружья, в роли ученика и вечного носильщика дичи,

если случится. Дичи с охоты мы почти не приносили: папа, как правило, мазал, приговаривая за выстрелом охотничью остроту: "Полетела умирать!" И все же с трепетом спрашиваешь бывало: "— Папа, мы сегодня пойдем на охоту? А меня с собою возьмешь?" — Пойдем.

По лесу отец мог таскаться днями, неделями, объясняя, что с ружьем как-то свободнее дышится и обдумывается лучше все, что требует больших размышлений. Наверное, у него это было данью традиции — молодости, дворянским замашкам, народническим, революционным порывам... Охота вообще на Руси почиталась привилегией барина или заезжего стрекулиста. Из прочих сословий охотой баловались одни чудаки — люди умствующие и беспутные...

Но стоило мне пуститься в пространные рассуждения, как папа обрывал: "— В лесу не разговаривают!" И правда, за кустом, может, зверь притаился, а может, — человек. С чужим человеком в лесу лучше не встречаться. Мало ли что он тут делает и кого ждет. Ружье наготове. Всякое бывает.

У отца была масса поучительных примеров, как с оружием не шутят. В подпольную типографию кто-то стучится ночью не условным стуком, а спяну, сапогом. Вздумал напугать. "— Кто?" "— Полиция, открывай!" Тот, в типографии, из браунинга — не глядя, через дверь. Открывает — товарищ!

Из браунинга, пока не забрали, я тоже стрелял однажды в лесу — по дубам. Отец командовал: "выше руку! целься! целься же ты!" Рука скачет —

отдает от грохота. Мне было лет шесть. Мама бы не позволила. А браунинг — с гражданской, именной, законный. Пришли в подвал: "сдайте оружие!" "Обыскивайте!" А те и обыскивать не стали. Заглянули под подушку — лежит. Хорошо, не арестовали.

В лесу один такой тоже — *напугал*. Вышел из-за куста: "сдавайся!" А лесник (это был лесник), не раздумывая, ахнул из обоих стволов: ружье-то наготове. Разворотил брюшину. Дробь. Но когда в упор, да из обоих стволов... "Что же ты наделал, плачет умирающий, я же пошутил!"

— А того судили?

— За что?.. В лесу не шутят...

Вдруг отец остановился: не идет из головы — Ефим. Вообрази: семилетний малец — и уже — конспирировался!..

Я воображал. Жуткая таинственность жизни меня притягивала. А папа вспоминал, как тогда, еще в первое лето, пока мы с матерью прохлаждались на Кавказе, они поехали с Ефимом купаться на Москва-реку. Ефим, должно быть, в глаза не видел реки, и в воду не шел, и отца не пускал отплывать. Бегал по берегу и причитал:

— Дядю Донат, не тони! Не тони! Не надо! Дядю Донат!

— Конспирировался!.. Всю жизнь!.. Вообрази!..

Отцу, конечно, было труднее, чем мне. Страна разрывалась в его сознании, не поспевая за идеалами. Письмо Ефима Бобко с трогательным открытием было ножом в спину. Какую же муку несло тощенькое ребячье суденышко!

— Дядю Донат — не тони! Не надо!

Кулак? Чепуха. Нашего дедушку в Рамене тоже раскулачили бы: сад, корова, дом с террасой... Если б мама не настояла: сдать корову, вступить в колхоз. Сад с тех пор задичал. Но мне, студенту, было легко критиковать: Сталин, коллективизация... У отца был другой отсчет — с 909-го года. Это страшно важно в судьбе каждого из нас — точка отсчета. От какой печки танцуем. Тоже еще студентом — окунулся в конспирацию. Первый арест, разрыв с родными. Мать-дворянка в ногах валялась: не уходи — единственный сын. Легла на пороге. Переступил. Питер. Ссылка, по началу такая озорная. Озерки. Сызрань.

— Прочел мальчишкой "Преступление и наказание". Твой дед — монархист, консерватор — обожал Достоевского. Но говорил: рано! смотри!..

Под наплывом воспоминаний, отец, случилось, нарушал заповедь "в лесу не разговаривают", — и я не прерываю. Мне нравится, как он читал Достоевского гимназистом, — лежа на кровати и, немного почтав, отшвыривал ненавистную книгу в дальний угол. Вставал, шел в угол, подымал книгу, ложился и снова, через страницу, швырял. Лучший отзыв о Достоевском. О том, как надо читать. В хождении по комнате, валясь на кровать, вставая, из угла в угол, в борьбе, в работе, изживая барчука. Боюсь, в революцию все же его втянул не Раскольников, а Соня Мармеладова. В Петербурге — провинциала, белоподкладочника — ужаснули проститутки.

— Ты не представляешь: за трешницу. Старухи — за рубль. За два фунта хлеба!

Он рухнул в обморок, узнав из газеты, что пало самодержавие. Не ожидал. От радости, в Озерках. Накануне своими глазами наблюдал на Невском: полотнища, "Хлеба!", толпы женщин. Не понял. А утром раскрыл газету: она самая. Февраль.

"Преступление и наказание" мне случилось перечитывать уже в Лефортовском изоляторе. И странное дело — облегчение, по мере того как читал, забывая дыхание той "особенной летней воной", раздраженной, кошмарной средой, в которую погружаешься, как рыба в воду, и не можешь надышаться. Сокамерник бурчал: "— Смотрите — свихнетесь! Достоевского? В тюрьме? Ну взяли бы отвлекающее — Тургенева, Бунина. "Детские годы Багрова-внука"...

А мне в поддержку смердел Достоевский. "Преступление и наказание" вызволяло из отчаяния не светлыми идеями, не проповедью добра, но тлетворным, исключаящим самонадеянность воздухом, как обухом по голове: клин вышибают клином. Как правильно отца эта книга завела в революционеры. Я читал, не отрываясь...

Мы шатаемся по лесу и вступаем в березняк. Подле берез воздух сразу становится чище, невиннее, и сами деревья кажутся просветом во сне. Сезам, откройся! Они открываются. Сквозь березовый ствол смотришь, как в окошко. Бежим! В ОВИРе пригрозят: "— Увидите, вернетесь к березкам! Соскучитесь!" Им береза — что блесна на крючке. "Ладно, — думал, — стоскуюсь по снегу, слетаем в Гренландию. Ладно!" Я и не подозревал,

что в Норвегии этих берез пуще, чем у Нестерова. Съездим в Норвегию, рассеемся?!..

А что такое на самом деле русская береза в лесу? Белая ворона. Белый медведь посреди деревьев. Вставший на задние лапы и вытянувший морду по ветру: весной повеяло. Осенью, зимой ли — к весне.

В березовой роще мы как в зоопарке. Бывают же такие: носорог, кондор, береза. Исключением из правил. По Божьему промыслу березы растут в опровержение понятий о цвете, о назначении деревьев. Редко — как белый медведь...

Нет, отца я не думал переделывать. Он рос с 909 года, как я с 48-го. У каждого свой отсчет. Но как он тогда саданул кулаком по столу: "— Молчать!" — на Евгения Николаевича! Он понимал, отец, что над этим не смеются, об этом не говорят: баста! и ни словом потом не обмолвился, не напомнил: "— А что о тебе докладывал Евгений Николаевич?.." Он и так понимал — не спрашивая. Он все понимал.

Евгений Николаевич, муж тети Наташи, двоюродной сестры отца, профессор электротехники, как всем это свойственно, боялся смерти. Весело балагурия в креслах, он поминутно нащупывал на себе и выслушивал пульс. Дурило сердце. Я хаживал к ним на Собачью площадку, в теплый особнячок, который, прокладывая Новый Арбат, уже снесли за ненадобностью, пропахший древесной плесенью, горшками, лекарствами, керосинками и кошками тети Наташи. Она благодарила кошек. Держала их три-четыре в доме и боялась выпускать во двор, чтобы им не повредили мальчишки.

Поэтому форточки не открывались. В результате Евгений Николаевич завел сетки на окнах. Но воздуха все равно не хватало, действуя на давление и редющий пульс профессора. Это была пара несчастных беспомощных стариков помещичьего засола, случаем уцелевшая в революцию благодаря научным заслугам и спокойному нраву хозяина. Самым опасным хулиганам двора Евгений Николаевич вручал по трешнику, по пятерке — как зарплату. Участковый также взимал дань и, пугая грабежами, внаглую, за полсотни, продал под конец свой милицкий свисток — в защиту от бандитов. Полы мыть в доме приходила княгиня Урусова. Брать систематически мочу Евгения Николаевича на анализ — графиня де Салиас, работавшая медсестрой в поликлинике. И хозяин, из разночинцев, кричал через двор вдогонку, упиваясь иронией большевистского переворота:

— Графиня! Вернитесь! Вы забыли мою мочу!

— Прекрати, Евгений! — гневно отзывалась в таких случаях тетя Наташа. — Вспомни, кто — ты, а кто — я!

Она была урожденная Всеволожская самых высоких изводов, а он — никому не известный, советский профессор Матвеев. Дом их служил мне белогвардейским противовесом моему революционному прошлому и красному, как знамя, отцу. Маму — из крестьянок, хоть и была бестужевкой, — тетя Наташа не жаловала и принимала поджавшись. Но нам с отцом, по дворянскому кодексу, все прощалось. Мы были у них желанными гостями.

С отцовским арестом мои визиты участились.

Кормили, ссужали рублями — по-родственному — на передачу в Лефортово. В порядке товарообмена я, тогда аспирант, писал за Евгения Николаевича доклады по диамату. В этом суемудрии он не понимал ни шиша. На семинарских занятиях с него как-то спросили 4-й закон диалектики. ”— Как вы сказали? — обрадовался профессор. — Дизэлектрики?..” С моими шпаргалками у себя на кафедре, в Рыбном институте, он вышел в большие марксисты. Его даже уговаривали на старости лет вступить в партию.

Но смерть, как сказано, к нему подбиралась (хоть и умер он позднее отца). И Евгений Николаевич, благодушно кудахтая, нет-нет, а сворачивал наши дебаты в больную, излюбленную колею. Наукой, дескать, установлено, хочешь не хочешь, милый Андрюша: умрем, умрем и — больше ничего! Вот и Маркс о том же писал. Как щупал он пульс в эту минуту, как озирался, нервно помаргивая, в сарказме! Ему от меня не терпелось услышать нечто обратное его же иронии и что-то более утешительное по сравнению с марксизмом. И я не заставлял себя ждать. Доводами — если не очень научными, то немного обнадеживающими, — спешил умерить бледные страхи, столь понятные у старика. Он спорил притворно, ободрялся, давая себя уговорить, вздыхал облегченно и снова, и снова, как мальчик, впервые узнавший о смерти, жаждал поверить, что может быть, все-таки, в конце-то концов, почему бы и нет, не правда ли, неужели, допустим, Господи, хорошо бы, посмотрим, разве, зачем же, о если бы, если бы!..

Так продолжалось несколько лет, пока не

вернулся отец — по амнистии. На радостях, за приветственным угощением, Евгений Николаевич начал:

— А вы знаете, Донат Евгеньевич, что я вам доложу: ваш-то сын, оказалось, — верующий... Вот вы сами спросите. Андрюша, есть Бог на небе, или нет?.. Есть Бог на не...

— Молчать! — бешено заорал отец, хлопнув по столу кулаком. И Евгений — пришипился. Разговор, как ни в чем не бывало, сошел на мирную тропинку: ссылка, тюрьма, реабилитация... Атеист оборвал потеху — над небом, которого не признавал, над сыном, пусть не таким как надо. Профессор перед ним робел. Отец был резок, недоступен, справедлив, великодушей и смел.

— Молчи: в лесу не разговаривают.

Просто он не любил болтовни.

В лесу-то всего свободнее он и говорил со мной. Тут, в лесу, никто не подслушает. А если с собакой — и подавно. Только не следует шуметь. И мы идем, забирая все глубже. Он, как всегда, — с ружьем впереди. Я, без ружья, — сзади. А то поравняемся или присядем. Это он вспомнил отцовские похороны, как приезжал из Питера в Сызрань и служили панихиду. И толстый поп в церкви, в гневе на вольнодумца, едва не задел по лицу кадилом — чтобы отшатнулся, безбожник. А он стоял у гроба, сын своего отца, гордо подняв голову, и безмолвствовал. Единственный сын, богатый наследник... Выродок.

— Вообрази, — вступил в наследство, и мать, собственная мать, я заметил, разговаривает по-иному со мной. Каким-то почтительным тоном. Толь-

ко оттого, что я стал богаче. Деньги! Все можно купить! Вообрази — деньги!..

Отцовское наследство он пустил на революцию. То же после кончины матери — дом в городе, бриллианты. Все — на ветер, на революцию... На ветер? Нет. *Мой* отец перед смертью, почти не двигавший языком, очнувшись от беспамятства, спросил, когда я над ним наклонился:

— Ну, как твой "Пикассо"?..

Он знал, что тираж арестован, по рассмотрении в ЦК. Книжку о Пикассо, что написали мы с Голомштоком, решили зарубить. А что ему Пикассо, живопись? Он не разбирался в искусстве. Только чуял, что это важно почему-то, и доверял. Отцу хотелось, чтобы мы жили, как он говорил, "высшим смыслом" — будь то чужой ему "Пикассо" или "социализм", "революция", так щедро с ним сосчитавшаяся. Он думал, "высшее", "дух" после смерти не исчезают, но входят в волевое облако, в пространный разум истории...

Может, соль "социализма" в том и состоит, что кто-то бросает отца и мать, гимназию, флирт, приглашения отобедать и, вопреки очевидности, начинает жить — *высшим*. Куда вы смотрели, христиане, когда у вас из-под носа человечество увели в сети атеизма?.. Революционеры соблазнились высотами. Что могли поделаться с ними эти офицеры, думавшие о себе, об имении? Социалисты оказались временно спиритуальнее. Других, низших, они хотели накормить хлебом, а сами жили в духе, жили — смыслом, эгоисты. Кто же знал поначалу, куда это всех заведет?

Конечно, последние слова перед смертью не

увенчивают человека, а часто, напротив, искажают и темнят его образ. Характер, биография и просто собственное достоинство остаются позади как ненужная шелуха. По этим жалким, сморщенным и трепещущим от ветра листочкам мы не вправе судить о корнях некогда высокого дерева. И все же... Как отец о "Пикассо", так мама, умирая, спросила: — Ты не забыл поесть творожок?..

Ох, тяжело! Как-то мы будем умирать?..

Не важно, совсем не важно, если мы скажем глупости. Перед смертью они — невинны. Они трогательны, и рисуют нам человека существом несчастным и милым, как маленького ребенка, понимающего больше, чем мы, взрослые.

Когда в последний раз в больнице мне разрешили навестить Евгения Николаевича, мы не знали, что он умирает. Врачи крутили что-то неопределенное. Он лежал на спине в отдельной палате и, оставшись со мной с глазу на глаз, завел обычную свою шарманку, что неужели на том свете, Андрюша, больше ничего нет. Пытал, вытягивал, но слушал невнимательно мои сбивчивые и такие ничтожные перед его тревогой отговорки. Вдруг попросил подать утку, стоявшую у кровати. Ему не хотелось вызывать медсестру и сиделку. Плохо владея руками, я помог ему оправиться. Тяжелому сердечнику запрещалось приподыматься. Не меняя позы, с подушки, Евгений Николаевич вдруг как-то странно покосился на посуду, медленно наполнявшуюся.

— Посмотри — какой маленький!..

И залился слезами...

Я не знал, что и подумать. Страшная тайна

мне представилась: по-видимому, он умирал, и на свой лад прощался с жизнью. Не то чтобы старый профессор особенно ценил эту ветхую часть своего тела или много о том заботился. Нет, он оплакивал себя, маленького, распростертого без сил на спине, и чем я мог тогда его утешить?..

Вот и дубовая просека кончилась, пошел орешник, скоро сосны, лиственницы, которые с детства я любил почему-то больше прочих деревьев. Лиственницы!.. А у дуба удивительно, что и кора, и сучья, и листья — все вырезное, неровное. Говорят, дуб — твердый. Да. И листья у него кленочатые, кожанные, твердые, подстать древесине, и, как железо, ржавеют к зиме. Но дуб — еще вырезной, изорванный, с неровными крупными зазубринами на листьях, похожими на его же кору, которая, в свою очередь — шершавая, мощная, черная, — напоминает о корнях и о почве, о брэнной земной поверхности. Как если бы листья несли память о целом дереве, а дерево — о земле.

Наверное, оттого что я вырос на этих дубах, они и рисуются мне первым деревом на свете: у раменского дома, сразу через дорогу, сплошной, однородный дубовый лес...

На сей раз я приехал в Рамено, чтобы повидаться с отцом, как только он вышел на поселение из сызранской тюрьмы. Мы наскоро расцеловались. Он сухо пересказал приговор и кивнул через дорогу:

— Пойдем пройдемся?

— Пойдем...

Ружья с нами не было, ружье конфисковали

при обыске вместе с карманными золотыми часами из отцовского наследства и номером журнала "Америка". Но было и так понятно, зачем мы удаляемся в лес. Соседская собака, думая, что мы идем на охоту, увязалась за нами. Что ж — добро, свой зверь-разведчик в лесу нам сегодня не мешает.

Признаться, я ликовал, я был переполнен распросами и рассказами к отцу. Еще бы, девять месяцев следствия неизвестно где, боялся — расстреляют, и вдруг — подарок: "5 лет поселения на родине". В Рамене, в собственном доме, от которого, правда, за нами осталась к тому времени только летняя половина: дедушка давно умер. Вокруг, в стране творилось такое, что отцовский приговор казался актом гуманности. Отец на вещи смотрел мрачнее: он ждал, что его оправдают за отсутствием преступлений, в ходе досконального следствия. За полмесяца до встречи, на свидании в Бутырской тюрьме, он успел крикнуть, что скоро вернется, чтобы мы не волновались. Я не поверил. Но ему действительно удалось обосновать документально, что в 22-м году он не был американским шпионом. В 22-м году, как верный революционер, он заведывал в Сызрани уездным отделом народного образования. В голод распределял по школам и детским садам американские подарки. Спустя 30 лет его привлекли к ответственности за связи с АРА, американским обществом помощи голодающим.

Поскольку, в конце концов, шпионские криминалы отпали, отец полагал по доверчивости, что его освободят. Но, к своему удивлению, в общем итоге схлопотал 58-ую (10) статью — за антисовет-

скую агитацию, о чем на предварительном следствии никто и не заикался. А дело ясное: тогда, заодно с евреями, подчищали по России последних могижан революции — из бывших меньшевиков, анархистов, эсеров, чудом выживших в 20-е и 30-е годы. Если более интересное обвинение почему-либо не наклевывалось, лепили минимум — ссылку, пять лет, за агитацию и пропаганду. Отца замели в облаву как левого эсера...

Кстати, его успехи 22-го года по борьбе с голодом в Поволжье имели продолжение. Он с ними столкнулся носом к носу, едва в 52-м вышел из пересыльной тюрьмы и, пошатываясь, с мешком за спиной, влачился по пыльной Сызрани, столь хорошо знакомой, раздумывая, как добраться до Рамена, за 17 километров. Велосипеда не было — сломан, да и на велосипеде отец уже не мог ездить. На перекрестке его остановила старуха — бывшая учительница, которую он не узнал. Она-то его помнила по лучшим временам, в уездном отделе народного образования (тогда его, правда, тоже арестовали, но быстро выпустили), и слышала смутно затем, что он перебрался в Москву, почему и решила броситься за помощью:

— Вы живете в Москве и ничего не знаете. А у нас в Сызрани последние месяцы исчез сахар. Это просто безобразие! вредительство! И вы, Донат Евгеньевич, обязаны позаботиться о правильном снабжении города, в котором вы родились, выросли и, я помню, прекрасно организовали питание детей и педагогов даже в наших тяжелых исторических условиях... Я вас убедительно прошу, лично прошу, как старая учительница, в Москве по-

звонить кому надо в Кремль и прямо сказать, что в Сызрани исчез сахар...

Она, по старой памяти, почитала отца в начальниках, чуть ли не в правительстве. А он едва стоял на ногах после тюремного воздуха и высчитывал, хватит ли сил дотащиться пешком до Рамена, на место ссылки...

Все это, разумеется, выяснилось и образовалось потом. А в лесу отец как воды в рот набрал, хоть мы уже порядочно отошли от деревни и никакие подслушивания нам не угрожали. Не в силах дальше хранить молчание, да и бессмысленно, я спросил:

— Номер "Америки" тебе не предъявили? Как вещественное доказательство?..

Тот номер был куплен мной в московском киоске буквально за день до обыска. Завлекла добротная цветная картинка из собрания Пикассо, опубликованная в номере, которую я раньше не знал. Но потому, как вчетвером они кинулись на злосчастный журнал: "Эге, Америка! Смотри — Америка!", я догадался, куда дует ветер. Вдобавок эксперт в штатском, разбиравший библиотеку, почему-то особенно долго вертел в руках сборник Максима Горького петроградского издательства "Парус" и вдруг полюбопытствовал: "— Скажите, "Парус" — это случайно не в Америке?" "— Случайно не в Америке", — поспешил я заверить, все больше убеждаясь, что шьют американское. Но — что? Кроме журнального экземпляра "Америки", о котором отец и не ведал, в нашем доме не было ничего американского. Я тогда же, после обыска, подал в МГБ заявление о принад-

лежности изъятého номера мне. "Америка", кстати, во всех киосках продается вполне законно...

— Нет, никакого твоего журнала не поминали. Все обвинения, я же сказал, — не позднее 23-го года. Но знаешь — в отцовском голосе мне послышалась неуместная, наигранная беспечность, — знаешь, давай помолчим немного и просто подышим сосновым воздухом. Ты посмотри, какой лес!

Лес, и вправду, был необыкновенен. С пригорка, в расселину, насколько хватает глаз, он простирался на север, северо-запад и на восток от Рамена — на сотни километров, и, мнилось, до самой Москвы, плетитесь себе потихоньку, огибая города и проселки, и вы не встретите ни души. Что-то отец хитрил со мною, петлял, уходя от разговора, словно от погони, унося на плечах одному ему доставшийся, неисповедимый груз. Сгорбленный, волочит ноги, смотрит в сторону — мне вдруг сделалось безумно жалко его и почудилось на минуту, что в мои 26, с круглым запасом знаний, заработанных нелегкой ценой, я опытнее его и выносливее, сосланного дотягивать старость по месту своего отдаленного, в прошлом веке, рождения.

Недавно, в Бутырках, он представился мне на свидании куда бодрее, чем я ожидал, невзирая на смертную бледность, на окрики тюремщика, поставленного монументом между нами в коридоре из двух рядов плетеной, до потолка, проволоки. В таких вольерчиках держат обезьян в зоосаде и прочую мелкую нечисть, от хорька до дикобраза. Только на свидании зрителя самого запирают в клетку на полчаса встречи с параллельно зареше-

ченным родственником. Так что, помимо счастья видеть отца живым, я вынес оттуда, помню, глубокое удовлетворение, что хоть немного, но тоже побыл за решеткой. Тюрма с некоторых пор меня завлекала, как омут.

Сам разговор, однако, оказался бессодержательным, прерываемый, что ни фраза, монотонным возгласом исправного истукана, который своей громадой едва не загораживал от меня отца, обратив к нам обоим бесстрастный, медальный профиль.

— Как ты себя чувствуешь? Чем тебя кормят?

— Об этом говорить не положено: я предупреждал.

— В чем тебя обвиняют?

— Об этом говорить не положено. Запрещаю.

— Что с мамой? Она здорова? Она — работает?

— Не положено — делаю предупреждение.

— Так что — только о погоде можно спрашивать?

— Если не прекратите — лишу свидания.

— Скоро ли твой приговор?

— Об этом говорить строго запрещено.

— Ну, а дома что происходит?

— Предупреждаю в последний раз...

И все же отец держался нормально и, соблюдая предписания, как бы спокойно не замечал воздвигнутой между нами преграды, словно тот был неодушевленный предмет или бессмысленный идол. Меня лишь удивляло, зачем он переспрашивает беспрестанно о здоровье мамы и о моей аспирантуре, которая благополучно заканчивалась, хотя я кивал изо всех сил, что у нас все в порядке. А ему, как позднее узналось, внушали на протяже-

нии следствия, что я тоже арестован, а мать сошла с ума.

Тогда, через тюремный барьер, он виден был только по пояс, сквозь мелкую двойную решетку и проложенный между клетками ров, — в нижней, натальной рубашке, сливавшейся с бледным лицом, на фоне полутемного стойла, в одно, едва различимое, затуманенное пятно. Это был не отец, но, казалось, выцветшая его фотография — слабый зародыш отцовского знакомого облика, будто заспиртованный в банке, бескровный недоносок... Сейчас, на солнце, в лесу, он вернулся ко мне на землю из призрачного мира навестывать дорогие черты, пускай осунулся, съезжился, однако сохранил за собой обычное присутствие духа и умную медлительность выдавшего виды, спокойного, закаленного старика.

Поглядывая сбоку, искоса на него, я думал, как бесконечно много вмещает каждый из нас, даже если в расчет возьмем одну лишь персональную память, не говоря о душе человека и ее происхождении. Не говоря о характере, о личности — уже сама память дарует нам беспримерный рисунок и способ продолжения рода, а если угодно, и мировой истории, которую мы несем за собою, независимо от знаний и опыта, но просто в силу усваивания окружающего пейзажа. За каждым из нас тянется длинная, длинная память обо всем на свете. Будь то слышанное, виденное, прочитанное или испытанное. Будь то незнакомые лица, книги или газеты, тюрьма или дорога, по которой вы проезжали однажды.

Может быть, оттого, что в Рамено в этот заезд

я прибыл тоже не совсем обычным путем, о котором, кроме отца, некому было поведать, человеческая судьба мне представилась поездом дальнего следования, из которого все мы, сидя по вагонам, высовываемся в окошки и видим мировую историю, хоть нас об этом не просят, и собственную пройденную и такую ненадежную жизнь. В вагоне всегда думаешь о том, что оставил, но что продолжает тянуться, как хвост, за тобой. И хвост этот — как поезд, полный народа, и всякий смотрит в окошко, отстукивающий такты по рельсам и лежащий на шпалы канвою из книг и событий уже не нашего ума. Историю мы не делаем и не изучаем. Историю мы проходим. И помним, и передаем, сами не замечая. Куда бы подевались, я спрашиваю, Гомер и Шекспир, что делал бы Юлий Цезарь и все породы животных, с вымерших ихтиозавров, если бы краешком памяти мы их не включали в себя и не тащили бы за собой, наподобие состава? Что — мы? Что персонально — я? Ничего не значим. Но те, кто ехал за нами, кто поедет дальше, после нас, пересев на другой поезд!..

То, что отец помалкивает, либо отделяется пустыми и короткими репликами, в нашем положении звучавшими довольно нелепо, поначалу меня не очень волновало. В конце концов, ему виднее, как правильнее поступать вышедшему из тюрьмы поселенцу. Может, с отца, выпуская, взяли клятву, строгую подписку о неразглашении, как это, я слышал, иногда практиковалось? Или — его били на следствии, и теперь поведать об этом собственному сыну ему было неловко. Но тогда бы он мне прямо сказал, как все делал прямо. А

вероятнее, пренебрег бы запретами, поскольку мне доверял и относился по-мужски — без сентиментальностей. Слава Богу, был опыт.

Однако не терпелось если не узнать обо всем, то хотя бы выложить все, что у меня накопилось. Начиная с ночного обыска в нашем подвале, где я, повзрослев, поселился вместо отца, а он перебрался под старость на первый этаж, к маме. Накануне он уехал в служебную командировку на шинный завод в Ярославль, его взяли с поезда, и о том, что он арестован, мы поняли только по ордеру на обыск. Тогда-то не по наслышке — я вглядывался, ч впивался в государственную тайну человеческого изничтожения. Как ходят, мягко похрустывая сапогами, по битому стеклу, по вывернутым ящикам шкафа с застиранным худосочным бельем, пузырьками, несчастьями и просто завалявшейся дрянью, за которую тебе почему-то стыдно перед обыскивающими, по слою просмотренных и отброшенных за ненадобностью бумаг, тряпок, фотографий. Как пролистывали книги — каждую персонально — на предмет сокровенной записки и давнишних карандашных пометок на полях. Как рассматривали на просвет мои пакетики с презервативами. Брезгливо морщась, будто впервые в жизни видят такой ужас. Зато по-детски, надрываясь от смеха, вчетвером, на широкой постели, где мама сидела с краешка, сжавшись в маленький кулак, — развлекались слепыми картинками в случайном учебнике по акушерству. Люди — везде люди. Им тоже нужен отпуск.

— Ты смотри! Ты смотри: какая!

Они искали — криминальное.

Перевернули наше помойное ведро на кухне, да так и оставили на полу, кучей, немного покопавшись в картофельной кожуре и мелких мясных огрызках. Соседские помойные ведра — не трога-ли, поверив на слово, что не наши. Соседи в то у-тро не вышли на работу и сидели, притихшие, по своим комнатам. В дверях квартиры застыл сол-дат с винтовкой и никого не выпускал. Крестьян-ский парень, дававший своим видом понять, что сам в плену и ни к чему здесь не причастен. Он ста-рался держаться как-то ото всего обособленно. Ну стоит и стоит себе спокойно с винтовкой, и никого не трогает. После я таких не встречал.

Это длилось с двух ночи до одиннадцати сле-дующей — почти круглые сутки, без перерыва. В клозет водили под присмотром, не допуская за-творяться, чтобы было видно. Но под конец, к ве-черу, сами порядочно выдохлись, и мне удалось сплавить, рассовав по карманам, кое-какие дет-ские мои дневники и робкие литературные опыты. С юности, по совету отца, дневников я уже не вел. — Учти, нынче за дневники сажают — не будь идиотом”, — предупредил он в конце войны. В общем, как понимаю, он где-то меня страховал...

Книги, затянувшие обыск, и отсутствие серьез-ных улик раздражали наших искателей, и они цеп-лялись ко мне уже по любому поводу.

— А почему, скажите, у вас, в вашей, с позво-ления сказать, библиотеке, так много дореволю-ционных изданий? А современных советских ав-торов-лауреатов — маловато. Да. Маловато. По-чему?

Они инкриминировали уже то, чего нет и не

было у нас. Какое-то ледяное презрение, смешанное с затаенным, острым издевательством над судьбой, перехватывало дыхание. И, стараясь произносить слова по возможности четче и отвлеченнее, я отвечал, что моя специальность, как они могут проверить, русская литература конца 19-го и начала 20-го века. К тому моменту я запасся диссертацией по "Клим Самгину" — в виде алиби. И поэтому у меня, вероятно, мало советских писателей, но много дореволюционных изданий...

— Вижу! вижу! У вас одного Андрея Белого...

Как Муций Сцевола, он вытянул руку к отсеку, где тлел несгораемый, собираемый годами вместо противоядия, мой русский декаданс.

— А зачем вам — Белый?

— Андрей Белый, насколько мне известно, — пытался я парировать, — не числится в списке запрещенных книг. Андрея Белого можно найти у букинистов. Выдают в библиотеке...

— Да. Знаю. Но — белый, бе-е-елый?!..

Воздетый палец. В наведенном зрачке зреет уголек ненависти...

Но в одном случае я потерялся и не нашелся, чем возразить. Изучавший старые мои, студенческие конспекты, гебешник обратил внимание на фразу, начинавшуюся словами: "Официальное определение соцреализма гласит..." Далее шла вполне доброкачественная цитата из вузовского учебника.

— Что ж тут такого? Не вижу ничего страшного

— Не ви-ди-те?! — Он повысил голос. — Официально-е определение?! — он почти кричал на меня. И, выдержав сакральную паузу, к которой предполагал весь торжественный строй цитаты, обру-

шился, шипя, на яростный, переходящей на шепот, бешеной скороговорке:

— Так, значит, по-вашему существует, кроме того, неофициальное определение социалистического реализма?.. А?!..

Он словно владел будущим. Скажу заранее, тот эпизод с общим пафосом обыска, и послужил, вероятно, причиной скандальной, через пять лет, состряпанной Абрамом Терцем статьи. Мне действительно захотелось высказать неофициальное мнение о социалистическом реализме. Но в первый момент крыть было нечем.

— Это что — допрос? — попробовал я увильнуть.

— Да. Мы хотим знать, что вы скрываете под словом "официальное"?!..

— Пока что мне предъявили только ордер на обыск. Предъявите — на арест, и тогда допрашивайте...

Это выглядело с моей стороны явной капитуляцией...

Он присвистнул многозначительно и сказал, обращаясь в пространство, так что его товарищи, рывшиеся по другим очагам, и не повернули головы:

— Смотрите-ка! Смотрите-ка: а сыночек почище папаши! Что ж! Мы учтем. Мы — разберемся!

Угроза не сбылась. Но, как многие советские граждане, полгода и более после обыска я не засыпал до 3-х часов ночи. После 3-х — пожалуйста, можно уже и не ждать.

Впрочем, на то были и другие причины: не всё сразу...

Все эти новости я и торопился залпом пере-

сказать отцу как единственному слушателю, который бы меня понял. Я утаил бы от него лишь одну подробность, как скрывал, по мере возможности, от самого себя. Только теперь пора ее вспомнить.

Когда, в два ночи, громко постучали в подвал, я не отпер. От грохота в комнате сыпалась штукатурка и чувствовалась рука, имеющая право ломиться, до сокрушения, в дверь. Натягивая брюки, я продолжал надеяться, однако, что, может быть, это милиция, по наущению соседей — с проверкой документов. Вдруг дверь открылась ключом, который держала мама, войдя первой, — в пальто поверх рубашки: ее подняли и заставили отпереть наш подвал. За ней ворвались те самые, о которых я уже рассказывал. И два голоса замкнулись на мне:

— Руки вверх!

И голос мамы, почему-то очень отдельный, как произносит слова учительница в школе:

— Это — пришли с обыском. По ордеру — на арест — *отца*.

И пока меня охлопывали в поисках оружия и выворачивали карманы, я не упускал интонации, с какой мама сказала — с еле слышным ударением на "аресте отца". То есть, я догадался, что она хочет сказать: не за тобой, не бойся — отца арестовали...

Вообще-то, на самом деле, говоря откровенно, надо было тогда не его, а меня арестовывать. И мама, ничего не зная, это как-то подозревала и, подобно волчихе, только что оценившейся, заслоняла меня — отцом. Просто она меньше его любила...

— Папка, я должен сказать тебе по секрету одну

серьезную вещь. Перед поездкой к тебе, за неделю...

Давно я не видел отца в такой ярости. Он даже прикрикнул на меня, чтобы я немедленно смолк, потому что у него в данную минуту нет настроения болтать о моей ерунде. Почему — ерунде? И причем тут настроение? Настроения у него, видите ли, нет! Неопределенный жест в сторону дальнего леса, сопровождавший его гневную вспышку, ничего не объяснял. Лес — как лес. За версту, по крайней мере, не слышно ни души. Мне даже сделалось как-то горько за себя, после стольких тревог и превратностей помчавшегося сломя голову в Рамено. Зачем — молчать? Выслушивать нотации?

У отца, действительно, был неважный характер — следствие тяжелой, испорченной биографии. "Деспот!" — говорила мама, имея в виду отцовскую неуступчивость. Не хочет устроиться как все люди, и, смотришь, снова ходит без работы. Или — пишет роман без надежды напечататься. Или — принципиально не убирает за собою кровать и запрещает смахивать тряпкой пыль у него со стола. Или ... да мало ли что! Отец мог неугодного гостя попросить выйти вон. Мог вспылить неожиданно, а после обижаться, думая о чем-то своем, недобром. Но лишь один раз за 26 лет он устроил мне настоящую трепку, да так накричал, что век буду помнить, и вот за что.

Я истратил деньги, подаренные тетей Наташей вопреки родительской заповеди "детям денег не дарят", — на приобретение первой в жизни, самостоятельной книги. Сам, на собственный страх и риск, купил, ни у кого не спросясь, в букинистическом магазине. Ребята во дворе все уши прожужжали.

Но эта чудесная, недостижимая книга была тогда в редкость, и я им долго завидовал, заранее воображая картины, в ней расписанные, прежде чем однажды, не веря своим глазам, увидел на прилавке. Приятно потрепанную, в желтенькой обложке, таинственную, как девушка, в которую вы влюбились, еще ничего о ней не зная. И в карманчике, как нарочно, тетинаташиных пять рублей.

Однако не успел я и первую главу проглотить, как вернулся не вовремя папа, точно чуял в доме неладное. А я ничего не придумал умнее, как сделать вид, будто готовлю уроки, а раскрытая книга лежит передо мной просто так.

— Ты что читаешь?

— ... Книгу читаю.

— Я вижу, что книгу, а не газету. Какую книгу?

— "Всадник без головы" Майн-Рида...

— Что-о-о?!... Где взял?

Пришлось покаяться. Грех мой состоял, во-первых, в том, что я позволил себе истратить пять рублей в полное свое удовольствие, зная прекрасно, что мы сидим без копейки. Пытаться оправдываться, что деньги — мои, дареные, с благим пожеланием: "купи себе, детка, все, что хочешь!", — значило еще позорнее провалиться в пропасть, вдруг подо мною разверзшуюся. Что значит — *мои*, если мать и отец ради моего пропитания отрывают последние крошки? Что я — буржуй, собственник, вор?!... Что я не вижу, как папа отказывается иногда пообедать с нами, чтобы осталось на завтра? А квартплата? А свет за три месяца? А лопнувший отцовский ботинок?...

Виновность моя, однако, непропорционально

возрастала, во-вторых, потому — что я купил и читал. "Всадника без головы"! Майн-Рида! Это же надо! Пустую, глупую книжку, у которой одно место — на помойке. И не только пустую — вредную. И не просто вредную — реакционную. Но мало сказать — реакционную: вранье, галиматья, ерунда, чушь собачья, где нет ни слова правды, а главное, за всей этой выдумкой, за дурацкими приключениями, не содержится никакой идеи. Вот — "Шагреновая кожа": фантазия, но зато — какой смысл! Какой стиль! А тут что? "Всадник без головы"! Если читать подобную дрянь — в конце концов человеку остается только одно — спиться. Как говаривал папе еще мой реакционер-дедушка: "На первой ступеньке — рюмочка водки — на последней разбитая жизнь..."

Если бы я на эти деньги купил, допустим, акварельные краски, или циркуль, или даже книгу, но книгу — полезную, необходимую в жизни, то никакого скандала бы не было. Отец сам, например, подарил мне Джеймса Джинса, Фламариона — о происхождении миров. Здесь надо уточнить: у отца познания были поистине энциклопедическими. За исключением эстетики, он знал абсолютно все: геологию, химию, математику, философию... Читал Авенариуса, Гегеля — как я теперь понимаю, охотнее, нежели Маркса. Астрономию, биологию... Художественную литературу он в общем-то знал выборочно, хотя и тут проявлял незаурядную тонкость ума и поразительную осведомленность... (Экономику, географию...) Впоследствии я его превзошел по части чтения книжек, вроде "Всадника без головы". Но отцовский энциклопедизм, силу

воли, нравственность — я заместил в итоге сублимацией на тексте. И разве можно сравнить?.. (Ихтиологию...)

Короче говоря, мое книжное образование, со стороны родителей, придерживалось широкой рационалистической традиции шестидесятых-семидесятых годов прошлого столетия. Мне, в общем-то, ничего не запрещали читать. Пожалуйста: хочешь — Бокаччо, а хочешь — Жюль-Верна, валяй! Но еще лучше — Мопассана ("это я тебе серьезно говорю"). Мама, правда, тут слабо сопротивлялась: ребенку?!... Ничего, ничего, — пусть читает! Сам разберется... Но так отец, при всей широте, высмеивал Майн-Рида и подобных ему обманщиков, что у меня руки опускались. И было уже стыдно сознаться, что "Всадник без головы", на самом-то деле, или "Барон Мюнхаузен", до которого я тоже так и не дорос, не дорвался, это — книги, которые мне уже снились, хотя я их не читал.

Мама неожиданно, в одном этом пункте, была солидарна с отцом. Майн-Рид ей не нравился по причинам педагогическим, ей казалось почему-то, что у меня и без того повышенное воображение. Оградить меня, сколько хватало сил, от дурного влияния фантастики, мистики, разложения и декадентства она считала своим святым долгом...

Разумеется, скоро все эти предосторожности потеряли цену. Но благодаря рациональному воспитанию я вырос, прямо скажем, — с изъязном. Все время мерещится, что самое главное, самое прекрасное в жизни я упустил, проворонил где-то еще в детстве, и непрочитанный "Всадник без головы" скачет впереди, без меня. Возможно, поэтому в

конце концов — с недостатки — я и стал писателем: пока не прочту!..

— Что ж с ней теперь делать? — сказал я совершенно раздавленный комментариями отца и всем, что со мною стряслось.

— Делай — что хочешь... Хочется читать эту гадость? — читай! Я не препятствую...

Был уже вечер, и я вышел во двор, прижимая к сердцу тоненькую книжку. Никого не было во дворе. Темно. Постоял, размышляя, не подарить ли "Всадника без головы" Алику Либерману, закадычному другу, который читал все подряд, беспрепятственно, и даже успел прочесть "Дети капитана Гранта"... Но кто же дарит заведомо дурную книгу? Да и вдруг узнают?!..

Когда я вернулся, потупившись, с пустыми руками, отец смотрел веселее:

— Ну, что? Куда дел?..

Потупившись еще ниже, ответил:

— Бросил — в помойку!..

— Что ж — разумно. Правильно... Да не вешай ты нос на квинту! Подумаешь — Майн-Рид!.. Пять рублей!.. Мне, например, и не с такими предрассудками приходилось расставаться...

И он рассказал забавную историю про то, как родственники, и даже наша мама, долгое время считали его дальтоником. То есть человеком, который не различает цветов — где красный, а где зеленый. На самом деле он их различал — глазами. Но путал — названия... А вся неприятность — в дурацком, дворянском воспитании, от которого было трудно избавиться. Потому что в детстве вместо того, чтобы обучать его простым и ясным понятиям: "жел-

тый", "зеленый", "синий" и т. д., всякие гувернантки, тетушки, бабушки забивали ему башку изысканными пустяками, вроде "цвет-электрик", "канареечный" (вместо — желтый), "бирюзовый", "бежевый" и другой ерундой. В итоге все настолько смешалось в уме и так ему надоело, что он сам уже не может назвать все эти цвета правильными именами. Хотя всё видит...

Я улыбался в знак нашего с папой понимания и примирения. Но внутри, на душе, скребли кошки. Не только потому, что меня вынудили пренебречь давней, заветной мечтой. Попутно я успел совершить два новых преступления. Обманул отца — с помойкой. Ни в какую помойку Майн-Рида я не кинул. В действительности, не зная, куда деть или спрятать моего "Всадника без головы", я вышел через двор на улицу Воровского и, благо было темно, положил книгу вверх заглавием на тротуар. Как яд. Как страшный, завлекательный капкан. Пусть неизвестный мальчик ее найдет.

И все же в моем споре с отцом, который продолжается и поныне, в этом прямом вопросе о "Всаднике без головы" прав оказался он, а не я, затаивший свои обиды. Из какого-то суеверного страха (даже и не хотелось, померкло) многие годы я не притрагивался к Майн-Риду, как все мы не притрагиваемся к нашим старым грехам, и не искал потерянной книги. Уже лет семнадцати, под дурное настроение, чтобы немного рассеяться, взял в библиотеке — посмотреть. И все было не так, как воображалось. Просто привязали к лошади мертвое тело, труп, отрубив предварительно голову, и пустили скакать в пампасы. Тривиально, грубо и

скучно. Все было сделано руками. Я-то думал, "Всадник без головы" — это всадник без головы! Не то, чтобы призрак, но сам скачет, хотя и без головы. Пускай так не бывает в жизни. Но в книге, в истинной книге, всадник всегда скачет без головы...

Что ж, пожалуйста, получай свои драгоценные лиственницы. Просил? Мы до них дошли. До самых дальних. В Рамене лиственницы всегда делились на дальние и на ближние. Мама спрашивала: "— Ну, как? Пойдем сегодня к дальним лиственницам, или к ближним?" "— К дальним, к дальним!" Дальние были выше.

В этой, европейской, части лесной российской равнины лиственницу почти не увидишь. Растут они специально — робкими небольшими стоянками, для того чтобы, набредя, медленно перебирать их глазами — крошечные открытые шишки, и собранные в пучки, в кисточки, осторожные иголки, и эти длинные, параллельные, вытянутые на всех уровнях ветви спокойного и прямого, как пальма, ствола.

Конечно, если взглядеться, всякое дерево фантастично, и зверь, и человек. Но в лиственнице фантастика склоняется к мягкому, неназойливому намеку, что все на этом свете донельзя интересно, а дикость и злые силы не содержат в себе никакого страха. Интеллигентное растение, она сбрасывает иголки, чтобы, чего доброго, не заподозрили, что оно хвойное и плохое...

Лиственница не приглашает к себе, не зовет в гости, оставаясь в отдалении стройной провозвестницей леса. Если бы можно было рисовать словами, я бы ее нарисовал. В ее затейливости нет ничего

случайного или предвзятого. В лиственнице видишь, что все в ней настолько духовно, что мрачные фантазии, вас одолевающие, всего лишь реденькая тень, падающая от ее кровли, ради сказки о том, как мы с папой или с мамой возносимся — хотите к солнцу, хотите к звездам...

Все же я не думал, что отец чего-то боится, и поэтому, как ребенок, отгораживается от несчастья, да и мне затыкает рот. Это не в его стиле. Он вообще ничего не боялся, хотя терпеть не мог, когда разводили панихиду вокруг вещей, всем без того известных, вроде антисемитской политики правительства или мании величия Сталина. Хуже нет, говорил, если посадят за болтовню.

Он даже смерти не боялся. Еще в нежном возрасте знал, как перебарывать страх. Когда вечерами родители-аристократы ударялись по гостям, бросив его одного в большом пустом доме, он спускался в темную залу с палкой в руках и кричал: "— Нас триста человек! Нас триста человек!.." И привидения рассеивались.

В отличие от папы, я всего боялся. Маленьким, ко мне повадилась по ночам старуха. Кто она такая, я не мог бы объяснить и наутро, проснувшись с тяжелым сердцем, робко плакался матери, что сегодня ко мне снова приходила "старуха". Мать, как всегда, подозревала чье-то дурное влияние на меня и требовала признаться, кто из старших ребят или нянек во дворе внушил мне эти глупые суеверия о привидениях, о ведьмах. Но, смею поклясться, ничего подобного мне никто тогда не внушал, и это не был плод моего воображения. Не какая-то галлюцинация, а реальность, самая настоящая, яв-

лялась ко мне по ночам, всякий раз в одном и том же образе, с единственной целью меня пугать и давить таким напором холодной, сосредоточенной злобы, что сердце заходило и было готово выскочить из орбиты под неподвижно устремленным, застекляневшим на мне взглядом. Казалось, она меня медленно гипнотизирует, не давая ни убежать, ни очнуться.

Не знаю, может быть, это Авдотья, соседка по квартире, немного подколдовывала, истребляя наше семейство за принадлежность к интеллигенции, то есть, по ее представлениям, к ликвидированному, как класс, фабрикантам и помещикам. Во всяком случае, спустя какое-то время, мама вдруг обнаружила на кухне, подле нашей керосинки, детскую мою фотокарточку, кем-то обрonnenную в коридоре и теперь возвращенную по адресу с выколотыми иглой глазами. Мама возмущалась вандализмом Авдотьи, пеняла отцу, что он, революционный борец, не может укротить распоясавшуюся бабу, но в колдовство в нашей семье никто не верил. Да и старуха, с небольшими промежутками мучившая меня по ночам, ничем не напоминала соседку. В ней не было вообще ничего человеческого, и какая-то печать вечной, изначальной ненависти лежала на ее неживом, словно заледеневшем, челе.

Если бы я тогда тяжело болел, можно было бы принять ее за смерть или за дряхлую парку, решившую в зачатке оборвать негодную нить. Но я был здоров, весел, беспечен и вместе с тем еще достаточно мал, чтобы она была ниспослана мне за грехи или за чтение еще не известных, соблазнительных, фантастических книжек.

Дошло до того, что я боялся засыпать и лежал с открытыми глазами в кроватке, оттягивая, сколько возможно, ее внезапное появление. Потому что старуха приходила ко мне во сне, но довольно регулярно и всегда в неизменном виде, так что я сразу, трепеща, ее узнавал и связывал во сне с предыдущими сновидениями в одну цепочку томительных визитов. Все это заставляло предполагать, что она существует реально в каком-то другом измерении и за что-то заранее ненавидит меня, именно меня, поставив своей задачей сжить со света. Известно, что думали добрые мои родители по поводу постоянства ее облика и призвания. Но как-то, по совету отца, когда она в очередной раз прокралась к моему изголовью и, вперяясь, уже протянула свои скрюченные пальцы, я, собравшись с силами во сне, замахнулся на нее линейкой, и она отпрянула. С тех пор старуха больше ко мне не являлась...

В редком осинничке мы замешкались. "— Давай передохнем!" — предложил отец, и по дружескому тону и внезапно повеселевшим, заулыбавшимся глазам я догадался, что здесь, в кои-то веки, он и намерен со мной все спокойно и деловито обговорить. Как опытный охотник, выбрал глухое, но довольно голое место, хорошо обозримое во все концы: незаметно никому не подкрасться. Впрочем, и наша собака, в случае чего, зарычала бы. У меня отлегло от сердца.

— Но слушай внимательно и зря не перебивай, — начал папа, в той мягкой, протяжной интонации, с какой в далеком прошлом рассказывал мне иногда свои нестрашные сказки, правда, чуточку нра-

воучительные и слишком близкие к жизни, сам их вдохновенно сочиняя по ходу действия. — И, пожалуйста, не бойся, что твой отец спятил. Я не исключаю это как вариант, как одну из рабочих гипотез. Но, кстати, поэтому, именно поэтому — раз я могу критически анализировать собственную голову, — значит, вероятнее здесь что-то другое, совсем другое... Техника, изобретение...

Он засмеялся и, прищурившись, почесал безымянным пальцем у себя за ухом, как делал всегда, стоило ему придти в юмористическое расположение духа и подшучивать уже над собой:

— Чорт подери! Может, я и вправду сошел с ума? — забавно. Но учти, я ведь ни на чем не настаиваю, как полагается сумасшедшему. У меня нет никакой навязчивой идеи. Нет страха. Я отдаю себе полный отчет. Если это, действительно, психический сдвиг, допустим, или шок, то, надеюсь, оно пройдет: чувствую я себя сносно. Но если это другое, а я думаю — это другое, я должен тебя предупредить, сам понимаешь... Я и там поставил в известность, что все тебе расскажу, одному тебе, чтобы не было недоразумений. С ними нужно держать ухо востро. А то они там чорт-те что вытворяют...

— Где — там?... Кого — в известность?..

— Ну в Лефортово, в тюрьме, к концу следствия... Да ты не пугайся — ничего ужасного. Постепенно сам во всем разберешься. Ты думаешь — почему я тянул? Дурака валял? На тебя цыкнул? Ты уж прости старика — маленькая тактика. Я время тянул, я выжидал время, чтобы поговорить без свидетелей, спокойно. В особенности для первого раза — пока ты не освоился, только с поезда и мог

что-нибудь ляпнуть. Потом проще будет, поскольку ты уже в курсе, и мы все обсудим. Но помни: я за себя — не ручаюсь. Возможно, мне только кажется — допускаю. А если не кажется? Если — реально?..

Я слушал отца, не сводя глаз, и ни секунды не допускал, что у него с головой что-то не в порядке, как сам он грустно подтрунивал. Едва мы бросили играть в молчанку и к нему вернулись и всегдашний блеск ума, проявлявшийся в его редкой способности все, включая собственный мозг, критически взвешивать, проверять, и обычная его выдержка, и хладнокровная предусмотрительность, мне бояться за него было бы так же смешно, как усомниться в чистоте и достоинстве этого летнего полдня, созданного словно нарочно, для обстоятельной, серьезной беседы и нашей прогулки вдвоем, как бывало, по раменским лесам. Я лишь не улавливал полностью, почему он за себя не ручается и о чем предупреждает, если сам, без околичностей, свободно говорит о Лефортово и мнимом своем, под впечатлением тюрьмы, помрачении. И что значило выждать время, наиболее удобное, чтобы меня предупредить?..

— Как — ты еще не понял? — удивился он искренне моему недоумению. — Ну просто сейчас на какое-то время они от меня отключились. Перерыв. А в другие часы подслушивают, и я это чувствую. Это что-то вроде радарной установки, с двусторонней связью. Но только тоньше... В мозг... Понимаешь?..

Легкий озноб пробежал у меня по спине, как если бы в воздухе повеяло ветерком. Может, и повеяло. Жиденькие осинки над нами слабо позвани-

вали... Должен сознаться, никогда я не верил, будто осины трясутся от испуга, пускай никакой иной листок не шелохнется в лесу, о чем испокон веков поговаривают в народе, почему-то недолголюбивая это трепетное, чуткое деревце. И что Иуда будто бы удавился на осине и с той поры она всего боится, — я тоже не думаю. Это — неуважение к деревьям. Так уж поставлены листья у осины — бесчисленные серебристые лопасти локаторов, на длиненьких черенках. У нас, в траве, тишина, ни малейшего дуновения, а у них, наверху, в скоплении неба, может быть уже буря? И они предупреждают: скоро дождь пойдет, скоро такой шум и вой подыметсЯ по всему лесу, — тогда поймете!..

— Папа, тебя били? — Вопрос этот с утра вертелся на языке, да не хватало смелости... Но откладывать выяснение до более легкого часа было уже поздно. И я выпрашивал отца обо всем так же хладнокровно, без утайки, как он мне отвечал.

Оказалось, его не били. Правда, следовательно, угрожая, многократно замахивался, но ударить никогда себе не позволял. Несколько раз плевал в отца. Однако не слюной, а скорее всего резкой струей воздуха в лицо — через коротенькую трубочку, специально спрятанную во рту. Иногда, доводя до нервного потрясения, сам так разволнуется, что пьет воду из стакана и слышно, как от страха зубы лязгают по стеклу... Конечно, ругался матерно, топал ногами — это уж у них сдуру так заведено. В общей камере на пересылке (до этого он сидел в одиночке) к отцу подплыл благообразный старичок и церемонно представился: "— Доктор физико-математических наук, почетный член Бри-

танской Королевской Академии, лауреат премии Гонзалеса, вице-президент международного общества электроники, почетный доктор Миланского, Брюссельского и Пражского университетов, Николай Иоганнович Фохт, — по определению следователя: лысая пизда!”

Меня поражала четкость подробностей и одновременно беззлобный, рассудительный тон, каким отец излагал эти мало приятные факты, запавшие так глубоко в его подключенный мозг, что теперь он, рассказывая, как бы проверял на мне ясную, объективную силу своего рассудка. Ему нечего было скрывать ни от меня, ни от тех, кто мог уже убедиться в его полной невинности. Возможно, это отсутствие политических прегрешений в прошлом и настоящем, даже в мыслях своих, и заставило его позволить столь беспощадно себя разъять.

Невинный беззащитен под рентгеном исследователей, продолжающих его упорно в чем-то подозревать. Зачем ему хитрить и увиливать? в чем обманывать? к чему ставить перед собой спасительные барьеры, как это делаем мы? Ему и каяться не в чем, он и умолять ни о чем не в состоянии, и, ничего не страшась, со всей силой воли и выдержки, он мысленно говорит палачам: пожалуйста, смотрите — какой я ”враг народа”! какой я ”американский шпион”! смешно!.. А тем того и надо. Несопровождаемость советского общества, позволившего совершить над собой все исторические надругательства, и заключалась прежде всего в этом истинном ”отсутствии состава преступления”, давшее в руки правителей отмычку от безоружных человеческих душ, пущенных пылью психического распада...

Тем более все обвинения, предъявленные отцу, касались его одного и, значит, не требовали предательства, то есть насилия над собой. К тому же они имели тридцатилетнюю давность, проходя насквозь половину его сознательной жизни. Вероятно, эта давность, пронизывающая биографию человека, не желающего ничего утаивать, и увлекла лефортовских экспериментаторов на путь хирургической пункции уже в ткани подсознания.

По догадкам отца, в Лефортово тогда занимались опытами в области мозга, с помощью аппаратуры, вывезенной из трофейной Германии, которые в полной мере не успел осуществить Гитлер. Что это в точности, — отец, конечно, не знал. Раз, во время допроса, он потерял сознание под действием тока в затылок, посреди учащавшихся, до бешенства, следовательских атак. Предварительно его поставили перед новым, завезенным, которого он прежде не замечал в кабинете, металлическим агрегатом и запретили оглядываться. Очнувшись на полу, на спине, отец запомнил побелевшие, испуганные глаза следователя, который сам, как нянька, его откачивал... Потом, на допросах, вызывали докторов, и они, в штатском, важно прохаживались по кабинету и ненароком, с дистанции, осматривали и комментировали, поскольку после опыта лицо у подследственного на несколько месяцев приобрело маскообразный характер.

Может быть, они боялись, что перебрали по очкам, а сейчас уже и сами не рады, что не могут полностью отсоединить у себя эту странную, двустороннюю связь с объектом изучения?.. И я не исключаю, что отец, рассказывая мне все эти недо-

зволненные подробности, сам уже держал слушачей или пытался держать, в какой-то мере, на приколе. Ведь все, что он говорил, если не в данную минуту, то какое-то время спустя, прослушивалось в Лефортово. И ссылки на гитлеровскую Германию, откуда все это было позаимствовано, уже звучали не в их пользу. Отец не обличал и не мстил за то, что с ним сделали. Он просто предупреждал этих "дураков", зарвавшихся с мировым господством, что они переборщили. Стоя в лесу, один, старый революционер, калека, все еще пытался образумить и удержать невежественных последователей от страшного, рокового удара, которому сам уже подвергся...

Я невольно посмотрел на север, где, за стеною лесов, лежала, притаившись, распластанная на лапах — Москва.

— Послушай, сейчас до нас, до Рамена, оттуда — тысяча километров! Ну, может быть, немного короче, если по прямой. Неужто, на таком расстоянии, ты думаешь, они?..

— А телеграф? А радио? — резонно возразил отец. — Где пределы познания? Ты сам же в армии работал на пеленгаторах. Тот же принцип... И потом, мы еще не знаем скрытые силы мозга. Его способность улавливать и давать резонанс, посылать сигналы... Они это изучают.

Мы вяло, с передышками, взбирались на гору, останавливались, оборачивались, и мелкий сырой осинник бушевал уже под нами. При взгляде на это взъерошенное, расстроенное по всему пустырю, серое селенье чудилось, будто оно тоже сумасшествует — под градом посылаемых отовсюду позыв-

ных. словно сонмище демонов свирепствовало в листве, посреди лесного безмолвия, и кошки прыгали по слабеньким стволам, и белки, и олени, зашифрованные азбукой морзе в неистовую дробь крохотных барабанов, которая уже не докатывалась до нас, но выплескивалась и бесновалась под ясным, как стеклышко, безмятежным небом.

— Что же, тебе какие-нибудь голоса слышатся? Снятся? Что-нибудь — внушают? Хотят от тебя?!..

Нет, ничего не внушают. Нет-нет, не хотят. Просто по временам он разговаривает о чем придется — разумеется мысленно, исключительно мысленно... С кем? С несколькими. Чаще всего с человеком, проводившим испытания — еще там, в Лефортово, и до сих пор находящимся там же, — как отец подозревал, в строгой изоляции. В прошлом это добрый отцовский знакомый — Лев Субоцкий, встречались, разговаривали, а ныне — одновременно арестант и контролер, собеседник, соглядатай... Вероятно, его выбрали как самого подходящего — по мыслям, по языку. Отец на него не в обиде: все-таки свой немножко, с интересными идеями. Впрочем, допустимо, что это кто-то еще выдает себя за Субоцкого: он же в тюрьме в глаза не видел — кто. Иногда к разговору присоединяются другие, чекисты-медики, — послушать, подумать. Но тоже ведут себя лояльно и разумно. Корректно. Никаких угроз или запугиваний. Мании преследования я у отца не заметил.

Мне было стыдно, что, внимая ему и выпытывая, я мысленно ищу в нем признаки умственного расстройства, которые бы мне объяснили случившееся. И, не найдя, становлюсь в тупик и, кажется,

сам начинаю безумствовать перед простой научной гипотезой, что в самом деле, реально, мозг у него подключен и находится под надзором. И это — я! я! — допускавший все фантазии, все небылицы, все веры на свете! Во что угодно — в чертей, в колдунов. В Бога на небе. Оступишься и уже думаешь: не к добру. Во все, во что и в кого только может верить разуверившийся в себе человек... И вдруг его сумасшествие мне представляется наиболее вероятным, разумным обоснованием. Потому, что оно легче, понятнее, чем эта тишина, прерываемая лишь пением птичек и ласковым голосом отца, который, не горячася, обстоятельно, растолковывает мне историю своих тюремных злоключений. Ни на что не жалуясь, никого не обвиняя — бесстрашно...

Но как достигли они такой тишины в мире? такого спокойствия в природе — на протяжении тысячи верст, по беспроводному телефону, — от Москвы и до Рамена, до леса, где, в дебри войдя, мы стоим и обсуждаем с отцом, как они нас подслушивают?.. А вот так и достигли.

Камера. Крест-накрест — лучи. Простые лучи — электрические, широкие, как лента прожектора. Помимо лучей, на стене, ночью, отпечатанное лицо с выколотыми глазами. Догадывается: фотография. Увеличено: в неоновом свете заметна ретушь, царапины. Та самая, что обронил в коридоре? Нет, другая. Старше, лет 9-ти. Догадывается: проекционный фонарь — ничего особенного. Сам показывал. Диапозитивы. В Сызрани.

— Знаем! Знаем!..

Знакомый голос. Субоцкий? Левка? Нет, не Субоцкий. Радиофоника — догадался: пугают.

— А сынок-то почище папаши будет!..

Пугают... В лучах, по двум диагоналям, крест-накрест, — летают белые голуби. Голуби в камере? Белые?!.. Галлюцинация, всего-навсего галлюцинация... Не хватало! Усилием воли — вспомнил: стереоскоп, кино...

Музыка. Ф-фу, чорт! Поют. Варшавянка. "Вихри враждебные веют..." Сволочи: с революционных времен. Пение громче. Близится. Оно уже здесь. Под столиком? Громче. С четырех стен — раздавят!.. Уши, уши зажать, чтобы не оглохнуть!.. Глазок. В гробовой тишине — надзиратель: "— Ты что? Спать не положено... На выход?!"

Допрос. Камера. Допрос. Камера. Допрос. Камера. Голуби летают... Допрос...

— Пси-хи-ко! Хи-хи-и-и!

Эхо. Хоть бы скорее. Мозг поехал. Главное, не распускаться! Мозг!

— Говноед! Эсер! Белогвардеец!

Голуби летают... Снова фото? Семейное? На стене?.. Двое за решеткой, а третья — хозяйка! — хи-хи-и-и!.. Шпион-шампиньон. А ну — шпион-шампиньон! Америка. Ара-ára-ára-ára!..

— Мать-перемать-перемать-мать! Мать-пере-пере-пере... Перемать!..

Ерунда! Главное: слова не забыть. "Трансцендентальный". "Эмпириомонизм". "Пи-ро-кси-лин". "Тринитроклетчатка". "Ихтиозавр".

— Ара! Ара! Мать-перемать...

Трансцендентальный! Пироксилин! "А и Бэ сидели на трубе" — задачки тоже полезны... "Эксплантация". "Кристаллогидраты"...

— Вихри враждебные веют над нами...

Нас триста человек! Нас триста человек!

— Па-а-па-а-а-а!

Ослышался. За маму, за папу, за велосипед и за ружье. Ослышался? Не уходи, выродок. Не пу-
щу! Поерим-поурим. Посильнее динамита. Озерки.

— Пси-хи-ко! Хи-хи-и-и! Слово революционера!
Вы похожи на Каляева. Эсер? Левый? Ко всему еще
— левый?! А-ме-ри-кан-ский? Майн-Рид? Журфикс?
Одно место — на помойке. Пойдем на охоту?

— Па-па-а, не надо...

Озерки. Авенариус. Кок-сагыз. Резина. Шин-
ный в Ярославле. Соня Мармеладова. Наркомпрос.
Сызрань...

И он вынырнул усилием воли, и мы стоим на
поляне, тишина, пустыня, птички чирикают...

— Вот так, — говорит, — и расщепили... вклю-
чились...

— А если, — говорю я, — а если... — лихорадо-
чно ища выход, пока мы одни и нам не помешали,
— если все это у тебя... сейчас... ну какое-то само-
внушение? Остаточные последствия лефортовских
голосов по радио?!..

Что там это не было бредом, я уже не сомнева-
юсь. Снимки на тюремной стене, проецированные в
увеличенном и растерзанном виде, — те самые, как
он точно описал, семейные фотокарточки, пропав-
шие у нас при обыске. Убирая комнату после по-
грома, восстанавливая рассеянный по полу альбом,
мы их с мамой не досчитались...

— Что ж, возможно, — отвечает, и я вижу, как он
устал все мне заново объяснять. — Вполне возмож-
но. Одна половинка мозга разговаривает с другой,
— не исключено... Но где гарантии?! Так что пока

ничего лишнего мне не говори. Слышишь? ничего лишнего! Я не должен знать. Не должен! Тебе ясно?

Да... Ясно... Он имеет в виду все, что меня распирает, чем я сейчас перегружен до краев. О чем, несясь в Рамено, мечтал ему одному, ответно на тюремные сети, которых он удостоился, из которых вышел наконец, поведать. Нельзя. Отец боялся. Впервые в жизни я вижу, что отец боится. Боится, что я о чем-то ему проговорюсь и меня посадят. И даже мысли об этой возможности гонит от себя прочь. Мысли — контролируются...

Он подымает руку и делает пальцами знак, похожий на беззвучный щелчок. Включились! Внимание: включились!... Где-то в Лефортово заработал генератор. Странно: мы с ним одни, по-прежнему одни в огромном пустом лесу, а незримые гости уже реют над нами...

Однако теперь это принципиально ничего не меняет: я уже предупрежден. Нисколько не меняются и отцовские черты, голос, манеры. С обычной живостью он расспрашивает о маме, о моей диссертации, которую нужно срочно дододельвать, о тете Наташе и Евгении Николаевиче... И я отвечаю, как ни в чем не бывало. Но мне хочется молчать...

Наперед скажу, все это продолжалось с отцом еще года два, пока он был в ссылке. Мы с мамой не могли часто его навещать. Надо было как-то устраиваться, зарабатывать. После амнистии, а затем реабилитации, эти мозговые явления он замечал за собой все реже и реже. Потом они совсем пропали. Мама об этом так и не узнала. Она скоро умерла. Умер и отец. Что с ним было в действительности, так и остается для меня загадкой. Может быть, со смертью

Сталина и последующей перетряской, его ученые контролеры наконец уgomонились. А возможно, со временем отцу просто полегчало, страшные раны, нанесенные в мозг, зарубцевались, и галлюцинации его оставили. Подобно ему, я допускаю оба варианта.

Но тогда, в первый день раменского свидания и долгого разговора в лесу, радость общения с отцом смешивалась у меня с такой неутолимой тоской, словно, встретившись с ним, я что-то навсегда потерял. Мы могли валяться на травке, шутить, играть с собакой. Мы упивались видом и запахом друг друга. И вместе, как нигде, были разъединены.

Мне нужно было торопиться в Москву, бросив отца, с его вещими голосами, одного, без помощи, в этом жутком запустении. Моему одиночеству он тоже был бессилён помочь. И никогда уже не узнал, о чем я думаю и куда иду. У меня не было права его обременять. Но моя вина перед ним от этого не уменьшается...

Мы возвращались домой мимо того же осинника. Подымался ветер, и страшно было смотреть на эти клокочущие деревья. Духи работали, и я не мог от них оторваться, тоже поднятый на воздух чувством какого-то, скажем так, пиетического ужаса. Будто бы, глядя, я терял себя в этом сонме бормочущей о чем-то и приплясывающей листвы. Возможно, это было от ветра, но волосы от ужаса вставали дыбом у меня на голове. И тот ужас, как это бывает в сильные минуты, боролся и граничил с восторгом по поводу того, что я вижу и испытываю.

Должно быть, состояние отца мне сообщили. И я понял и перенес на себя и рокочущую его отдаленность от всего света, и строгую сосредоточен-

ность на мыслях и картинах, доступных ему одному. Но это было не самым важным. Мне почудилось вдруг, что выход найден: не для него — для меня. Что путь открыт, позывные услышаны, и ничто и никто меня уже не остановит... Печать проклятия и счастья лежала на моем лбу.

Отец стоял рядом и тоже смотрел молча, как замороженный, на этот, как зверь, крутившийся на одном месте, пойманный и локализованный смерч. Наверное, у него на этот счет были свои идеи. Солнце склонялось к закату, но по-прежнему на небе не было ни облачка... А я мысленно говорил, обращаясь к отцу или к будущим, несуществующим моим оппонентам. К самому себе. Посмотрите, убедитесь: это и есть *действительность*, которую вы игнорируете, презрительно называя "фантастикой", — вот она! И не надо фантазировать — достаточно видеть, и совершенно не важно, как это называть. Можно назвать деревом, а можно — человеком. Чем угодно! Дерево — это я в моем воображаемом сне. Дерево — отец. И оно клокочет, вы взгляните — оно кипит, как мы с вами, как вселенная в бездне гипотез и гипербола. Наши встречи, раздоры, потери — все вместе кипит более восторженным словом, чем мы способны промолвить, все в действительности — кипит...

Но и это не было тогда самым важным. Не знаю почему, но писатель с той поры в моем понимании, как я к этому внезапно приблизился, — уходя работать и по-настоящему писать, непременно удаляется в лес. Чтобы никто не видел и не слышал. Одно на уме: "время меня перевести на бумагу", — говорит лес и становится текстом.

Боже, какое здесь сказочное царство! Не оторваться — смотреть и смотреть. Общение? С кем? С человеком? с читателями? Не верю. На любом слове поймают и докажут, что все не так. Я их знаю! Единственное прибежище — текст. Не слишком густой, не очень реденький... Но хода назад, помни, назад из текста, не будет. Мы — в лесу.

Еще тоже важно успеть сказать: когда пишешь, нельзя думать. Нужно выключить себя. Когда пишешь — теряешься, плутаешь, но главное — забываешь себя и живешь, ни о чем не думая. И как это прекрасно! Тебя нет наконец, ты — умер. Один — лес. И мы уходим в лес. Уходим в текст.

Поэтому самое важное, чтобы в книге, которую пишешь, была таинственность. Для автора, для тебя. Она-то и побуждает, она-то и тянет уходить и тихо делать свое невидимое дело. Вот и все, что нам надо. А что станут говорить, спорить: "это он все придумал, и так не бывает", — уже и не важно. Они же в поле, а мы в лесу. Им как бы ширше размахнуться, охватить, воспроизвести... А мы обязаны помнить об укрытии, о тексте, о тайных тропках. У них всё — былина, эпос, прекрасное отношение искусства к действительности... А у нас пока что в руках одна сказка.

...Надо ли добавлять, что отцу об этом — ни в лесу, ни вернувшись домой — я не проронил ни слова?





20 мая 66
Я писал тебе письмо
вспомни в Москве

Глава четвертая. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Я был влюблен в актрису А., обладавшую магнетической силой. Стоило ей приложить палец к блюдечку на спиритическом сеансе, как оно подскакивало, будто бы в знак признания, отделяясь на сантиметр от стола, висело четверть мгновения, а затем, зазвенев, с неистощимым усердием бегало по циферблату и скороговоркой отвечало на заданные во-

просы рисованной голубой стрелкой. В обычном спиритизме, если это не махинация, литеры в связную цепь складываются вяло, словно нехотя, из пустой вежливости к взыскательному собранию. Путают имена и даты, теряют орфографию и городят форменный вздор, недостойный потустороннего опыта. Либо тупо, как застрявшая на проигрывателе пластинка, повторяют одно и то же назойливое ругательство, типа "жопа" или "дура", к немалому смущению какой-нибудь новенькой барышни, миловидной участницы магнетического сеанса. Мне объясняли: это вовсе не души умерших, слетевшиеся на тарелку, и не токи наших пальцев, а так, *элементалии*, — низший слой прилегающей к нам невидимой примитивной жизни. С ними и разговаривать не о чем. Они как черви или бактерии в иной, запредельной среде. Иногда знатоки их называют "шатунами".

Но едва к столу подплывала А., картина необъяснимо менялась. Приходили почти всегда интересные ответы. И мертвый фарфор под ее рукой буквально оживал, наливался теплом, кровью, выдавая осязаемые уроки прикладной магии.

Справедливости ради надо заметить, что сама она, уже в летах и на пенсии, терпеть не могла эти заигрывания с чертовщиной и садилась за блюдо с величайшей неохотой, раз в год, после долгих уговоров: что вот, дескать, смотрите, А., — без вас оно и не крутится. — То есть как это не крутится?! — отзывалась она с досадой и приставляла вертикально палец к охладелому доньшку. И то немедленно резонировало, словно только дожидалось одного наэлектризованного прикосновения актри-

сы. А. поспешно отступала от очарованного стола, кутаясь в цветастую шаль. Сторониться подобных знакомств у нее были основания...

Со младенчества видела А. необыкновенные предметы. Бонна, старая дева, набожный сухарь, непрестанно колола ребенка всей своей безупречной, мстительной выправкой: "не вертитесь на стуле! перестаньте кривляться! не горбиться! ручки под щечку! не смей смотреться в зеркало! вы же дочь русского дворянина, а не французская шлюха! хоть отчим у вас и пропал ни за цент из-за шалостей вашей матушки — да упокоится в небесном алькове, в объятии целомудренной гурии..."

Перед сном она ставила девочку, в одной рубашке, на холодный пол на колени позади себя и сама, в ночном уборе, в корсете и в белых панталонах с бантами, чтобы не мять платья, подавала пример неподдельного благочестия. Но А. подглядела однажды: пока англичанка истово молилась, у нее на голове, в жалкой пролысине между крашеными волосами, отплясывали трепака два маленьких негодяя, величиною с грецкий орех. Именуемые в просторечии бесами, человечки эти так отчаянно веселились, что девочка поняла: мысли у чопорной бонны витают Бог знает где...

Нет ничего интереснее, чем рассказы о привидениях в какой-нибудь уютной компании. Но нет ничего неприятнее встретиться с этим взаправду, как встретила А., будучи уже взрослой, советской девушкой, среди бела дня, на Арбате, своего обожателя по театру Вахтангова — актера Б. С его кончины протекло более года. И вот, как ни в чем не бывало, сливаясь с пестрой толпой, он шество-

вал куда-то по направлению к Смоленской. А. его слабо окликнула — скорее по привычке. Б. вздрогнул, огляделся, но, конечно, сделал вид, будто ее не узнает. Однако все до малейшей черточки в нем удерживалось в неизменности. Даже костюм тот же, в горошек. Под мышкой твердый сверток. Присмотревшись, она так и ахнула: то была, судя по форме и прорванной газетной обертке, небольшая чугунная урна, какими украшают иногда, в виде скульптуры, надгробия. Преследовать Б. для выяснения отношений — он это или кто-то еще — ей не захотелось...

Скоро, впрочем, представился другой повод убедиться, что в этой области не все так гладко, как нам кажется, господа. У подруги А. (назовем ее В.) умер молодой муж. Не прошло и десяти дней, А. видит сон. Является Г., покойник, и жалуется: зачем, говорит, В. похоронила меня в новых ботинках? — Жмут. Так и так, объясняет, по обряду полагается хоронить в легкой обуви — в тапочках. Чтобы легче было идти на тот свет. Сами же выносите вперед ногами. Мне — в дорогу. А в чем? — спрашивается. В ботинках? Ноги затекают. Завтра же принесите тапочки. Не откладывая...

— Куда же принести? — спрашивает А., замирая от страха. Тот спокойно называет улицу, номер дома, квартиру. Запомни, говорит, и передай вдове... Привет!

Назавтра А. летит к подруге. Но В. и слушать не хочет: поменьше бы ты, фырчит, читала на ночь Блаватскую! А ведь как плакала, убивалась. Не верит! Вот вам современные девушки! Что же делать? — думает А. Ведь тот ждет, надеется. И про-

верить интересно: для чего я запомнила точный адрес, если это пустой номер?

Одна, под свою ответственность, едет на трамвае в Похоронное бюро — за тапочками. Такую недорогую обувь у нас, на все размеры, специальную, из бумаги, раскрашенной в черный колер, клеят споро и просто — на картонной подметке. А и много ль мертвяку надоть? — Все одно сгниеть. Нет, чем-чем, а тапочками на тот случай мы обеспечены. Хрестик, например, свечи или там венок на лоб вы не найдете. Не те условия. Но покойницкие тапочки, последнее подаяние, даже Советская власть не решилась отменить. И за это ей Вечная Память...

Итак, покупает тапочки. Не торгуясь, по какому-то наитию, прихватывает на рынке цветы и скачет на извозчике в Трехпрудный переулок, № 10, квартира — 7. Тире. И вдруг — действительно — по какому-то чуду Трехпрудный переулок в Москве, о котором она раньше и не слыхала никогда, оказалось, существует. И дом 10 стоит на месте... Уже во дворе ее задело, как много ненужных людей шастает взад-вперед по лестнице в подъезде. Повсюду торчали неприбранные старухи, и дети, с глазами на затылке, притихшие, к чему-то прислушивались...

Двери в квартиру 7 — нараспашку. Сняли плинтусы и воздели шпингалеты. Цепочка, с блестящей ягодкой на конце, висела ни к селу, ни к городу. Она — вошла. Скопление женщин, запах свежей краски, духота, невзирая на открытые окна, с привкусом ванили. В гробу, посреди комнаты, на обеденном столе, покоился неизвестный, зава-

ленный цветами, мертвец. Алла сникла и, крадучись, в три погибели, сунула ему в ноги передачу для Геннадия — тапочки. У нее хватило ума прикрыть их для вида тюльпанами. Чтобы живые не догадались. — От Вали, — шепнула она. — От Вали — Геночке. Чтобы не превратился в Бориса!..

Вы спросите меня, какая вообще может быть матерьяльная связь между тамошним и здешним? Не знаю. Спросите — А. А. все объяснит. Что же до меня — поставлю встречный вопрос. Вы носили когда-нибудь ботинки с мертвой ноги? Я — носил. Они достались мне по наследству, по тогдашней моей студенческой бедности, от второстепенного родственника. Он умер в этих штиблетах. Умер на улице от разрыва сердца. И в день похорон, уже изрядно поношенные, мне их подарили. На, сказали, носи на здоровье. Почти как новенькие. Отказываться было неловко. Все-таки мы с ним находились в добрых отношениях. И хоть была у меня тогда собственная обувь, я влез со сдержанным вздохом в скукоженные башмаки мертвеца. И что же вы думаете? Донашивая чужие ботинки, я испытывал их тяготение к прежнему владельцу, которому они оставались, сколько возможно, верны. О нет, они не жали. Напротив. Они были даже немного мне велики. Но все расположение внутренностей было не таким, по сравнению с моими ногой и поступью. Где плюсна у него, допустим, своеобразно выпирала, обнаруживались лакуны, прогалы, напрасно ждавшие заполнителя. А легкая вогнутость формы слышалась там, где у меня, извините, от всех наслоений торчит мизинец. Словом, штиблеты служили его точным отпечат-

ком и на каждом шагу давали о том знать, через силу соглашаясь сожительствовать со мною за неимением ничего лучшего. Я ходил и пересчитывал ежеминутно по пальцам бедного моего предшественника. Это трудно передать, когда щупаешь изнутри надетую на ногу и уже пройденную жизнь, стоптанную не в ту сторону. Он был добрым человеком, и я не претендовал на замену. Я честно делал вид, будто не существую, не чувствую. Как если бы вы сдуру женились на вдове, продолжающей нежно любить своего первого штиблета. Столь рискованные шаги в жизни лично я еще не пробовал совершать. Но всякое бывает. И вы легко поймете, встав на мое место с этими башмаками. Новоиспеченная вдова, представьте, будучи лояльна и внимательна к вам, поддерживает тем не менее связь с бывшей своей половиной, с незабвенным Беником, как всякий раз, оговариваясь, дружески вас аттестует, выйдя замуж и ласкаясь, который попеременно высовывается. Вы посредник, медиум между нею и Беником. Вы система убегающих в сторону сравнений. И вы — не противоречите. Ваша круглая физиономия служит телевизионным экраном, с которого ей кивает и печально улыбается — Беник. Вы как блюдечко, бегающее безобидно по кругу с нарисованным от руки букварем, которое само по себе ничего не обозначает. О чем, бишь, речь? Почему я говорю, говорю и не могу остановиться? Они сообщаются через меня. Пью ли чай из любимой его кружки, или сам-два с его женой прохаживаемся по саду, верчением ли в постели, — везде они вместе, притерлись и притерпелись. Точно так же вышло с этими сапогами.

Они словно сговорились, Борисовичи. И гнут ногу. Но я не о том. Если вещи, прикиньте, живя рядом с нами, иной раз обретают неизгладимый душевный изгиб, то почему бы кому-то оттуда не попытаться оказывать на нас физическое давление? Еще как пытаются!.. И ждут минуты. Ловят на слове. Хватают за руку...

А. Б. В. Г... Крутится и крутится блюдо. А что же дальше? Дальше, по алфавиту, — Д. Хоть лезьте из кожи. Стрелка, словно у компаса, оста-навливается на Д. — вне сомнений. Переверните картину, и снова острое, как заказанное, вопьется в искомую точку. Никуда не денешься.

— Это вы, Д.? — спрашивает изумленная А.

И тот ей повторяет по буквам:

— Да, это я. Да, А. Это — Д.

И с тем чтобы она поверила, называет, как в детстве, уменьшительными именами. Никто и не знал. Подвох, вмешательство шарлатана — исключаются. "Аленька", "Зайчик"... А ей за шестьдесят. При жизни у Д., она поймала, была такая же интонация. Любил вставлять немецкие изречения и фразу плел в сослагательном ключе. Не "я хочу", а "мне хотелось бы". Интеллигентный человек. По Чехову.

— Ну-с, что вам угодно, Гость? — включился один чурбан, помешанный на спиритической почве.

А тот по старинке, по-свойски выводит:

— Нус это по-немецки орех. Геен зи цум тойфель. Суп стынет. Мне бы А., падчерицу...

Короче, он. Отчим. Близкий придворным кругам до скандала с мамой. Дмитрий Сергеевич, или Дима, как запросто пятилетняя А. куражила свет-

ского льва, за матерью, из упрямства, — куда все исчезло?

— Я тут, Дмитрий Сергеевич, — смиряется она и прикладывает руку. — Зачем вы здесь? После столько лет!..

Выяснилось: ни больше, ни меньше, стремится назад, обратно, к нам за компанию, и уже потихоньку работает в смежной области. Давно искал встречи. Ставит эксперименты на темы телекинеза и уверен, что преуспел. Мало-помалу, дескать, обрастает новым астралом. Еще потренироваться несколько, и, если протянут канат, выберется на свет, войдет в тело.

— Битте. Зеен зи! — говорит. — Оглянитесь. На буфете у вас расположена хрустальная ваза, наполненная яблоками. Не правда ли?

Все смотрят, и в самом деле: и ваза, и яблоки. Стало страшно. Мы сидим, а он видит.

— А теперь, чорт побери, я буду медленно ее перемещать по направлению к подсвечнику. Замерьте параметры. Внимание! Начинаю!..

Мы уставились, А. рассказывает, глаз не сводим с прекрасного баккара. Хоть бы хны. Стоит как вкопанная.

— Видите? Видите?! — надрывается Д. за сценой, успевая вращаться по столовому парапету. — Она — едет! Ура! Поехала!..

Никакого впечатления. Всем даже как-то неловко.

— Да возьмите вы глаза в руки, ублюдки!

Ему-то в пылу рисовалось там, будто здесь он что-то сдвинул. Слышно, мнилось, как он пыхтит. Блюдце буквально плавилось у нас под пальцами.

Все тяжело дышали. А у него, быть может, в этот напряженный момент буксуют подошвы на лакированной буфетной поверхности и в упершуюся башку входит скользкая мысль, будто на чистой мистике он катит вазу с яблоками.

— Нет, — отвечаю, — Дима, вы ошиблись. Все это вам кажется. На здешнем плане ваши успехи пока что не отразились. Телекинез — не удался...

Ну он и давай ругаться. Где все манеры?

— Врете вы, падлы! Я же вижу, вижу, как она движется! Но-о, стерва! Вперед! Оглохла?

Так ничего за весь вечер и не сумел переместить. Намучились мы с ним. Кто силится поддерживать старого греховодника мысленным напутствием, кто — по хатха-йоге, выдыхая прану. Вазочка ни с места, хоть ты тресни, словно заколдованная. А тот уже чуть не в голос:

— Вас, — кричит, — спиритов, в расход пора. Куда милиция смотрит? Вот пойду и донесу, кому следует, на ваше незаконное сборище. Вы тогда у меня по-другому запоете!..

Но всего возмутительнее, что и на том свете, за гробом, Д. остался, как был, непримиримым атеистом.

— Нет, — объявляет, — никакого того света. Никакой бессмертной души. Никаких райских кущей. Все это попы выдумали. Нет бога, кроме Тора, и Гитлер его пророк! Жопа ты и никто больше...

Далее уже совсем нецензурно. Тут она как врежет ему, старая лагерница:

— Иди, — говорит, — откуда пришел, пес кудлатый. Я тебя наизусть знаю. Какой ты отчим? Я

Сталина-мертвеца не побоялась на Воркуте. А тебя — к ногтю, к ногтю!

И ставит стрелку на крест, предусмотрительно начертанный. Блюдечко аж скрипнуло зубами. И вот уже лежит безжизненно, раскинув крылышки. Демон отлетел. Только в отместку за это всю зиму у нее трещала ветхая мебель. И подвешенные на кухне кастрюльки издавали мелодический звон...

Рассказы А. я слушал всегда с жадностью, широко открыв рот. Я рвался к ее сказкам, как к матери бежит мальчишка, удравший из детдома. Без них свет не мил. Хлеб жесток. Земля безвидна и пуста. Они влекли и подбадривали меня удивительной правдивостью. Ведь я не мистик. Все эти мертвецы, черти, привидения сами по себе мне безынтересны. Не было и нет у меня к той материи никакой предрасположенности, никаких специфических запросов или претензий. Просто ее свидетельств мне как-то недоставало, чтобы увериться и утвердиться в действительности.

Сами посудите. Понять окружающее как что-то поистине достойное жизни, великое и осмысленное, нам помогает сказка. Ударяясь будто бы в незапамятные времена, в несбыточные события, она твердит нам о реальном. О том, что уже наступило, — только мы слепы. О том, что еще придет, проявится, когда нас не станет. Не надо думать, что сказка — сзади. Сказка — впереди нас. И молим чуть что, сами не подозревая об этом: — Сказочка, палочка-выручалочка, — выручи меня!..

Сказка всему придает порядок и основательность. Ни в коем разе не мечта. Начинается вроде

Володи, с обыкновенного, как это в жизни бывает, как мы с вами живем, хлеб жуем. Жили-были. Старик со старухой. Богатому всегда хорошо. Бедному везде худо. У богатого дворец. У бедного развалюха. У богатого жена в жемчугах. У бедного — лягушка. У богатого ума палата. А бедный — дурак дураком.

— Нет, — говорит сказка, — неправда, неправильно. Все это вам кажется. И я притворялась. Это лишь подготовка, присказка. Мы не дошли и до середины. На самом деле, вы увидите, все будет не так...

— Алла, — прошу я, обнимая мысленно ее колени, — расскажите о Сталине. Как он вам являлся?..

Благую весть о реальности сказка принесла уже на заре человечества, у самых его истоков. Словно она заранее знала и с порога поклялась, что все иначе, нежели это нам поначалу рисовалось. Все значительнее и правдивее. Последние окажутся первыми. Бедный — богатым. Дурак, в действительности, умница и красавец. Золушка выйдет за единственного принца. И людоед не одолеет Мальчика-с-пальчика. Сколько это ей стоило! Какая была нужна глубина проницательности! И дело тут не в счастливых концах...

— Ну, пожалуйста, еще раз, Алла, душенька, расскажите, как после смерти — на вторую, что ли, ночь, на третью? — к вам приходил Сталин. Ведь это было на Воркуте? Уже на вольном поселении?..

Да. В изложении Аллы сказка была поставлена на актуальные коньки и вырастала из фактов, в точности которых я не сомневаюсь. Может быть,

поэтому ее живые истории звучали иногда жутковато, лишенные веселых концовок в отличие от старины. Но мне они доставляли радость узнавания жизни в более полном, широком, чем это нам дается, обзоре и, значит, более внятном, нежели обыденный взгляд. Действительность с участием Аллы становилась как будто разумнее, согласованнее, и явления сверхъестественные проливали дополнительный свет на течение вещей, исполненное напрасных терзаний. Чудесное, случается, вносит объяснение в нашу среду, где все — в собственном смысле — лишено логики, безвыходно, отвратительно и уму непостижимо. И то, что, вчера представлялось, не в праве существовать, получает санкцию сказки...

— Но как вы угадали, что перед вами Сталин? Он что — был похож на себя? На свои фотографии, изваяния? Но ведь Сталин, помнится, ввалился к вам за полночь, в темноте, когда вы уже лежали в кровати?..

Внимая речам Аллы, мне и в самом деле хотелось обвить ее колени руками, словно какую-нибудь Сивиллу, чьи высокие прорицания вы боитесь упустить. В тоне ее, однако, не было ничего напыщенного. Достоверность происшедшего лежала на виду, без каких-либо попыток что-то преувеличить, прикрасить. И это не она лукавила, а я, будто подзабыл событие, с которым она с неприужденностью, к слову пришлось, нас однажды познакомила. Меня томила жажда повторения прозрачного, как ручей, рассказа, сопровождаемого протяжными гласными и расширением чудесных зрачков, как если бы, глядя в лицо мне, она всма-

тривалась в книгу своего изборожденного горьким опытом прошлого и сама невольно диву давалась, что она там читает. Ее способность удивляться собственной одаренности видеть дальше и острее других и свидетельствовала наилучшим образом о чистоте ее намерений передать слово в слово все как было, без утайки. Возможно, и Сталин в ту ночь наведывался к ней потому, что у кого же и где еще его возмущенный Дух сумел бы найти по достоинству чувствительный уловитель, если не здесь, не у этой выдавшей виды кудесницы? Впрочем, мы не знаем, кому он еще являлся. Сталин сидел у всех, как молоток, в голове, заодно с серпом. Сама же она рассудила в простоте сердца, что в эту гнилую халупу, на прилагерный громоздкий погост привела его, как по следу, исхоженная ею дорожка, совпавшая с путями стольких осужденных. Иными словами, А. — первая буква в алфавите — служила ему притягательным, чисто-пробным олицетворением жертвы.

Все эти дни, пока Сталин умирал, в доме и во дворе у нее творилось неладное. Мела пурга. Кадушка с подтухшей капустой, стоявшая в сенях, урчала и квакала. Гремело, гудело и взвизгивало по всем отсекам. И нежное меццо-сопрано выводило в печной трубе — вполне членораздельно, но почему-то заунывно:

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицей мой миленький идет.

На что мужской хор, откуда-то с чердака, отвечал:

Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака...

Было впечатление, что Усатый откинул копыта, хотя власти зачем-то факт умертвия скрывают. И оставалось неизвестным, судя по стуку и голосам в хибарке, ликует мелкая челядь по этому случаю или жалуется и плачет. Практически, по-видимому, было и то и другое...

И вдруг все смолкло. Она проснулась от обступившей ее со всех сторон, несбыточной тишины. Даже ходики не работали. Сверчок не верещал. Не скрипнула половица. Ветер — над шиферной крышей — словно улегся. И она поняла по тишине: прилетел соклетный. Догавкались окаянные. Стоит, как столб, и молчит у топчана. Он самый. Усатый.

Ни усов у него, однако, ни образа, ни подобия не было. Это было, я бы сказал, окончательное *нет*, произнесенное в утвердительной форме. Во тьме помещения высился он колонной во много пудов, уходя головой в потолок, воздвигнутой не из камня, не из бронзы, не из какого-нибудь другого нормального вещества, но из одного холода, из какого-то, быть может, доведенного до абсолюта метана или азота, который при всем том не перешел в твердость, в лед, а так и сохраняет за собою, застыв, газообразное состояние.

Сквозь Сталина все было видно. Белело окно под снегом. Чернели стены. Скромная лампада в углу перед иконкой спокойно излучала свой потаенный свет. Включи она электричество, и ничто бы не изменилось, как подсказывала интуиция. Пришелец был начисто лишен очертаний... И тем не менее присутствие его довлело невыносимо — в этом закоченевшем в себе, отрезанном от мира

столбе. Ни тени от него не падало, не слышалось дуновения, и само похолодание не бежало по комнате, хотя средоточие холода было рукой подать, притронуся — и отмерзнет, колоссальным баллоном возвышаясь у постели. Как будто он замкнулся в замороженном своем одиночестве. И видел безусловно, что Алла не спит.

— Что тебе от меня надо? — спросила она в уме, не в силах пошевелить языком, стараясь, однако, подбирать и выговаривать слова, как это бывало на допросах, возможно тверже. — Зачем пришел ко мне на Воркуту? Тебе — мало?! Все, что было у меня в жизни, ты уже отнял.

Тогда, тоже не вслух, не голосом, но по внутреннему — прямому проводу-телефону, он сказал в быстром раздражении:

— Отдай мои долги!

— Какие еще долги?! — вскинулась было она по-бабьи, с ходу не уразумев, куда он клонит. — Я тебе ничего не должна!.. Ты — всем должен!..

И — осеклась. Речь шла о другом... Только Сталин, видать, не был настроен вымаливать прощение и требовал, как всегда, свою львиную долю.

— Послушай, что тебе стоит? — повторил он капризно, как если бы стыдился выказывать минутную слабость. — Тебе говорят русским языком: отдай долги! Понимаешь? — мне. Даю по буквам. — И тут же выбросил шифровкой:

— Микоян. Онегин. Опера — "Евгений Онегин". И... — Ильич.

Гамарник. Радек. Енукидзе. Хрущев. Ибаррури (Долорес Ибаррури).

Понятно? Нет? Повторяю инициалы.

Горький. (Ну был такой писатель — Максим Горький, что — не знаешь?) Рыков. Ежов. Хасан (озеро Хасан). Ильич.

Точка. Сталин.

Она подумала, как, должно быть, ему холодно, нечеловечески холодно в этом искованном из его же духа столбе. Но и другое, как некое эхо, доносилось — азбукой морзе. Усопшего бесило упорство, с каким она притворяется, будто знать не знает, чего от нее хотят. Курва. Киров. А все оттого, Зиновьев, что вовремя не убрал. Не распорядился, Раковский. Упустил рыбку в общих списках. Но кто бы мог предусмотреть — скажи, Бухарин, по-честному, положи руку на сердце, — что он будет когда-нибудь от подобной швали зависеть. И так всегда, со всеми нами. Немой упрек. Угрызения совести. Не убьешь своевременно, а потом терпи, кусай локти, мучайся всю жизнь, Пятаков.

— Прости! — выдавил он через силу, преодолевая себя и дивясь посмертному своему, небывалому унижению. И вознегодовал, и порадовался в то же мгновение, что успел-таки ей насолить, говоря между нами, девочками, словно предвидел позорную встречу, — перебил родню, закатал на Крайний Север, к чорту на рога, на всю катушку. Будешь помнить, Алла, как тяжело мертвому. Сталин.

Не скрою: мне страшно о нем писать. Едва сяду за бумагу, начинается мелкая мистика. Мандраж, кавардак. Какая-то пчела укусила гнойной иглой. Рука отказывает. Образовалась, говорят,

вода в коленке. Бросаю все в корзину. Пульс повысился. Моча воняет ацетоном. Ум перевернут. Ночью вчера, пока писал, закосила кошка в окно, бездомная, я ее знаю, и ходит по спящей Марье, выбирая уголок потеплее. А на дворе-то жара! Лето, между прочим, у нас во Франции. Хорошо, что шуганул. "Брысь!" — и как провалилась. А португалка, раз в год приходящая у нас подметать, взяла и, не спросясь, приладила портретик на стену. Возвращаюсь и — здравствуйте: овал! Так тебе и надо — успел сказать самому себе. Доигрался!.. Не признала в лицо — где ей признать, португалке? — а потому что: усы, ордена, гвардия во всю грудь. Представительный. Уж не родственник ли какой важный? Не будем же мы ссориться с нашей доброй экономкой. Она-то хотела, как красивее. Но, главное, — в тот самый день, когда я только-только осмелился написать о нем первую фразу по своим воспоминаниям. Как она раскопала этот сувенир, в новой версии, под пластик, присланный из Союза милым другом год, почитай, назад, чтобы всем нам было здесь современнее и веселее? Ну посмеялись и забыли. А португалка набрела, вытащила из хлама, из-под старых бумаг, отмыла, — и теперь я не знаю, что из-за этого с нами еще будет завтра. Я пишу, а он грозитя в гостиной. Шлет наваждения. Нет, мне его не одолеть. Где дедушка Леший? Где Ленин?..

Полстолетия — больше — только и пилим: "Ленин—Сталин", "Ленин—Сталин". Как заклинились, извините. Говоришь барышне: — Сталин! В ответ обязательно: — Ленин, Ленин! "Шаг вперед, два шага назад". Но Сталин важнее Ленина! Стели,

Ульяна! С ней истерика. Лень. Луна. Успокаиваешь: "сталь—шлак", "сталь—шлак", "Ленин—Сталин". Мы чувствуем, что совершаем диверсию. Не хорошо. Но не в силах прекратить. Не сами ведь управляем. Незримые силы гнетут. "Сталин—Ленин", "Ленин—Ста..." Ле? Ли? Нина. Лети — вставляю. "Ста-а-а", — постанывает. А я осатанел: "Ленин! Ленин!" Та ли. Не то. Нелепо. Лени́на, Стали́на, Марксы́на и Энгельсы́на! Всех вас я ставил раком. Не на... Но ты, Стэлл!..

Голос из космоса (Льва Толстого): — Перестаньте безобразить! На вас люди смотрят!..

Но это же, возражаю, — изобразительная фонетика. Пожалуйста. Можно и по-другому. В этих спорах, пересудах жизнь прошла. Как корова языком слизнула.

— Ленин, надо сознаться, тип ученого у кормила. Мудрец-американец...

— А Сталин?

— Ну Сталин, вообще, самый загадочный... Может быть, поэт в душе, режиссер...

— А Ленин?

— Ленин в своем рационализме...

— А Сталин?

— А Сталин?... Боюсь, сударь, с ним не все так просто... В облаках, в тучах — Сталин...

— А Ленин?

— Дался вам Ленин. "Ленин! Ленин!" Ну Ленин — марсианин. Смотрели в мавзолее? С меня — хватит!..

— А Сталин?

— Нет, Сталин — за сценой. Волшебник всегда за сценой. Даже собственного сознания...

— А Ленин?

— И перед Лениным вы испытываете некоторый трепет. Возможно, это воплощение, знаете кого? — Сократа. Инкарнация...

— А Сталин?..

Каково же, вообразим, было состояние Аллы! Ежась под двумя одеялами, она почуяла вдруг, что какой-никакой холод от него все же исходит. Очевидно, был он подведен не под естественный конец, а, как думают высокоумные авторы, внимательные ученики Апокалипсиса, под смерть вторую и последнюю, из которой не выкарабкаетесь, сколько ни бейся — не оттаит. Душа у таких, считается, на стадии минералов. И просит, как на Страшном Суде, — сними грехи.

— Нет, — проговорила она, с трудом овладевая губами. — Нет тебе моего прощения!

Казалось, он сейчас раздавит своей громадой. Может, и хотел раздавить, наклонился, но удержал себя.

— Не по-нашему у вас получается, товарищ Алла, — в тоне его прокрадывалась неожиданная ужимка зависимости. — Не по-советски, не по-государственному рассуждаете. Не по-ленински. Не по-сталински. Ну были, мы понимаем, отдельные перегибы, отклонения на местах. С вами персонально. Не гуманно. Согласен. К вашему супругу тоже, не исключено... Но ведь он живой, кажется? Еще живой муженек-то?..

А попутно нападал, леденил, вырабатывал какие-то мифические проекты по части своего загробного вызволения. В нем бродили, по-видимому, не переводимые на обычный язык, бессвязные

потоки сознания, если, конечно, уместно к мертвому применять подобные аналогии. Или это слышалось в том, что незваный гость не произносил, а внушал невольно одним своим грозным присутствием, заставляя вибрировать ее внутренние струны? Кстати, странно, ничего грузинского в акценте. Лишь знакомые по временам, еще с молодости, идиомы.

— Пусть за всех скажет! Избираем в Совет. Кто против? Полномочным депутатом Всесоюзного съезда народных заключенных...

Зачем он ее оставил в живых? Разлеглась, как барыня. Тепло, небось, и не дует. Нет чтобы с высокой трибуны: "От имени всех, заслуженно замученных вами, — отпускаю!.." Как говорят у нас в народе, кто старое помянет — тому глаз вон. Мясников и тот отступил. А уж на что безжалостный. Хуже Орджоникидзе. Постановили. Вячеслав лично ходил уламывать: "Мясников! ну что тебе стоит? Сам понимаешь. Уступи Хозяину. Будь человеком. Все равно крышка. Хозяин велел передать. Уважь. Признайся в шпионаже". И, вы представьте, Алла, уважил. Дали высшую меру, и вся страна свободно вздохнула, как один человек... Уважь...

— Попался?! — вскричала она и села на кровати, как ведьма, потерявшая страх. — Не пущу!.. Не отдам!..

И снова села на кровати. Ей вспомнилось, как попал опер в бур. Еще на Игарке. Нет, в Тайшете. Зашел постращать и — в капкане. Как приставили к ребрам самодельные ножи, обмочился, умоляет, пукая с перепуга, да я и пальцем впредь, у меня де-

ти малолетние, детей пожалейте. И выйдя под честное слово коммуниста и офицера, заливал бур из брандспойта: я из вас, педерастов, живой каток устрою!..

— Но ты же как будто христианка? — Мнилось, Гуталинщик снисходительно усмехнулся. — Куда ни крути, тебе по закону положено...

Есть такой хороший способ убивать: по Евангелию. Лично я узнал его сравнительно недавно. Бей и приговаривай: "А ты должен прощать". И пощечину ему! пощечину! Но не забудьте приперчивать: "подставь левую, а теперь правую..." И бей его спокойно, сколько душа просит. А начнет возражать, огрызаться — напomini заповедь. Не похристиански вы себя ведете. Безнравственно. А еще писатель. Смотрите-ка — он не доволен? Выродок! Бей его, нигилиста! Сапогами. Мы тебя научим, как свободу любить. Любить надо врагов. Читал?... А когда унесут, разведите руками. Вот, мол, чего добивался, то и получил по заслугам — неуч, невежа, человеконенавистник! Учитесь прощать.

Алла колебалась.

— Но ведь ты же православная? — продолжал вкрадчиво Сталин. — Давай рассуждать здраво, помарксистски. Где у тебя логика? И церковью предписано... Кто не грешен?

Знать, обучался в той самой Семинарии и теперь, по азам, припирал, окаянный. Подожди еще, и он бы заголосил диким Архимандритом: "Повинуясь, грешница, распростертая во прахе! Отпусти долги Сталину и присным его!.."

Она обвела глазами как будто нежилую и бесполезную уже избу. Светать и не думало. Север. Но

огонек в углу и слюдяной снег за окном слабенько поблескивали. Где-то пальнули, должно быть, из ракетницы. Метнулись тени, снег зазеленел. И погасло. И не ему, Душегубу, а самой себе Алла объявила судьбу:

— Прощать за других, за всех зеков? — такого права мне Господь не давал. Да и люди не простили бы. Ну а что мне причитается с тебя, все, что мне принес, одной мне, — бери. Отпускаю...

На нее, что называется, нашел стих. И, сидя на топчане, она прорекла, уставив мраморный палец в ту еще лесотундру:

— А теперь — обойди всех! По одному, по очереди — кому ты должен. Живых и мертвых. И пусть тебя каждый, отдельно, простит. Вымаливай именем Господа нашего...

И его разом не стало. Она не успела даже Имени произнести. Над крышей что-то ухнуло и забурлило. Как если бы пронесся, удаляясь, какой-то разгневанный смерч. Да через секунду, внезапно, заскребся сверчок под печкой и затикали по-мирному в доме, сами собою, ходики.

Что произошло? Содронулся ли скованный Дух во глубине своей мерзлоты перед тяжестью задачи, возлагаемой Перстом? Обойти всех по отдельности — обездоленных и загубленных Сталиным — это, знаете ли, работа. Вечности не хватит. А может, и малая щепочка, подаренная ему, в отпущение, была в успех и на пользу? Куда, в какие дебри, ушел он, выходец тьмы, добиваться реабилитации?...

Одно известно. Изба мгновенно опустела. И всю останнюю ночь на то памятное 5-ое марта Алла не сомкнула глаз. Не могла.

Она лежала и думала, закинув руки на затылок. О чем? Уверяю вас, у нее и не мелькнуло, что она выдержала экзамен на праведницу. Она сомневалась. И в том, что выпустила волка из зубов. Нет чтобы впитаться в мертвую глотку и сгореть в этом столбе. И в собственных помыслах. В том, что покривила душой, сказав, будто в этой жизни ей нечего уже терять. Неправда! неправда! Все мы за что-нибудь держимся. И у нее, грешной, оставался в заложниках муж, за которого она втайне дрожала. Последнее достояние. Они познакомились в лагере, обвенчались в ссылке и вместе укрывались теперь от нового ареста на Воркутинском подворье. Инженер, он работал тогда диспетчером в ночную смену, а придет ли утром домой — кто может поручиться? И если уж по совести — не из-за того ли она отпустила грехи главному своему Должнику? Нет, не из святых предписаний — из бязни за мужа, который еще не вернулся с дежурства? У всякого человека можно еще что-то отнять...

В этом смутном размышлении и застал ее Иосиф Аронович.

— Ты что — все еще лежишь? — удивился он, растирая узловатые пальцы. — Ну и погодка! А пока ты спала, Аленька, — только что объявили — наш Усатый откинул-таки хвост! Как это тебе нравится?..

Поднялась, в длинной ночной рубашке. Зевнула. — Да-а. Я знаю. Только, Иосиф, это не сегодня ночью. Может, вчера. Или третьего дня.

И, ничего не объясняя, показала круг на полу, возле топчана, метр, наверное, в диаметре, словно высеченный какой-то зажигательной иглой. Что-то

вроде — как рисуют птицы. Или муравьи. Точечками. Ровно очерченная, выгравированная по некрашенному полу — колонна, полоска. Подножие. Цоколь. Там — где стоял.

Причесалась. Затопила печь. Не спеша, кряхтя, вздула самовар. И вдруг, как бывает у женщин:

— Слетай, милый, за бутылкой. Магазин-то открыт? Все же этакий день требуется отметить!..

"... И я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало".

Маловеры полагают, будто смешной концовкой сказка расписывается в собственной беспомощности. В обмане и краснобайстве. Мол, все это вранье. Текло-текло и в рот ни капли. Нет, я думаю, причина иная. Сказочные заставки гласят: вход закрыт непосвященным. Кто посмеет возвестить, что пировал с богами? Замок на уста. И вместе уверение: по бороде-то текло, а? А что в рот не попало, мил-человек, — уймись. Вход закрыт непосвященным. И не старайся — не пролезешь.

Сказка только касается, мажет по губам — реальностью. И переходит — продолжение следует — к другой, столь же обнадеживающей и ускользающей от нас. И в этом обтекании — по усам и бороде — и прелесть ее, и хитрость. Заманивает. Увиливает. Лисичка-сестричка. Кому она сестричка? Медведю? Волку? Да нет — сказке.

Не побоюсь сказать: сказка любит Бога и потому великодушна. И потому она так реальна, что и не нужно ей ничего другого, как быть собою. Никуда не ведет, ничего не добивается. Она кругла и совершенна, насколько это, конечно, возможно, — по образу и подобию...

Урвать крохи, сметенные историей со стола сказки, — забота и отрада писателя. В противном случае — о чем писать? И зачем?..

* * *

В то утро, 5 марта, я проснулся от плача матери. — Что еще случилось? — вскочил. — Говори, говори скорее! — Напяливаю носки, брюки.

— Сталин умер. Передавали по радио.

Я так и сел. Наконец-то!.. Едва не брякнул: "Да радоваться надо, а не плакать, мама!.." И прикусил язык. Нельзя обижать. Где-то сама она, я подозреваю, догадывалась, что не такая уж это для всех нас потеря. Трагедия. Отец — на поселении. Еле держимся. Но скупно роняла слезы. Сталин — все-таки...

Во всем теле — в ногах, в локтях — болеро. Путаюсь в брюках, а они говорят, выплясывая: "Сталин-то — а?.." Застегиваюсь на все пуговицы. Затягиваю ремень до отказа: "Сталин умер!" Не помогает. В носках я вообще застрял. "Не теряйся, — подсказывают, — не торопись, старик. Веди себя скромнее. Сталин — тютю... Не волнуйся". Особенные затруднения возникли у меня с башмаками. С ними вообще, пока шнуровал, вышла неувязка. "Ну куда ты не туда тыкаешь?! — сипят. — Да не дрожи так противно! Шнурок, шнурок забыл, разиня! Вечно тебе напоминать?!.." "Ура-а! — провозглашает рубашка. — Сталин умер! Ты что — оглох?.." Наконец оделся.

Между тем нельзя сказать, чтобы я ненавидел Сталина. Давно был равнодушен. Опытен уже.

Осторожен. Стена. А как еще к нему относиться? Старый волк? Оборотень? Дракон? Интерес возбуждал не Сталин, собственно, а его последствия. В какой еще новый кошмар ввергнется страна? От него можно ждать одного — смерти. Своей. Всеобщей. Тюрьмы. Чумы. Войны. И вот — отложено...

Звонок. Три звонка — к нам. За дверью друг сердца. Ни слова не говоря, с глаз соседей, ключ в кармане, веду в подвал. Там не подсмострят. Запираюсь на два оборота. Стоим, сияя очами. Молча обнялись. Улыбаемся. Ну просто, не поверите, Герцен с Огаревым на Воробьевых горах. Втихаря. То же мне заговорщики. Перекинуться счастливой улыбкой, когда все плачут. Праздник? Маскарад? Почеломкались, и он ушел поскорее, так же молча. До вечера!

Куда теперь? Разумеется, в Ленинку. Там у меня, на абонементе, Сказания иностранцев о Смутном времени, в пяти томах. Издание чудное, редкое, начала прошлого века, Карамзин бы позавидовал. И все эти тревожные дни, пока Сталин умирал, начиная с торжественного правительственного сообщения о серьезной его болезни, под обтекаемый бюллетень и лирическую, грустную музыку, которую играли по радио, я с утра пораньше убегал в библиотеку. Нет, признаться, не из усердия к работе, которую по долгу службы вменялось мне мусолить, но ради созерцания чистых исторических далей, ничего не имеющих общего ни с попранием моим, ни с современным положением.

У каждого из нас появляется иногда эта потребность в шалаше, в убежище, подальше от проезжего тракта. Теперь на время мне раскинула го-

степриимно шатры эпоха Феодора, Годунова и загадочного царя-самозванца. Какие вышивки! Какая игра ума, вплетенная в развитие жизни, позволяющая строить догадки, что история, быть может, художественное полотно, расшитое драгоценным узором!.. Кто ткал его? Кто рассадил цветы?..

... Боярину Бельскому подозрительный Борис повелел выщипать бороду по одному волоску, избрав для сей операции искусного хирурга Габриэля из Шотландии... Толико поляков перебили по Москве, что из трупов на улицах, под покровом ночи, аптекари вырезали жир для своих снадобий... Царица Марина избежала смерти, спрятавшись у своей Гофмейстерины под юбкой... Человеческое мясо запекали в пироги, ели траву, кору. По прибытии же в июне императорского посла из Праги, Годунов приказал на глазах изумленного гостя ссыпать в пограничную реку зерно возами... Станислав Мнишек, снаряжаясь на свадьбу, нанял 20 музыкантов и взял с собою в Московию италианского шута... Кровь убийц Димитрия лизали псы... Труп царя волокли по земле, привязав за срамные уды... Детские дни Марины Мнишек протекали среди самборских лесов и бернардинских монахов...

Я отдыхаю на этих фактах. Они уводят от злобы дня. Отвлекают от дурных мыслей: умрет — не умрет? Об этом не нужно думать. Вечен он, что ли, в самом деле? Если не смертельный исход, зачем нагнетать заранее клонящийся не к добру бюллетень? К чему исполняют по радио, без конца, классические мелодии, минорные, напирая на Шопена, Рахманинова, вместо пропаганды? Или — подготов-

ливают? Приучают к сознанию? Делят власть? Ужель оклемаются после траурных маршей? А что вы хотите, придет Мао Цзе-дун самолетом волшебный корень жизни — жень-шень, и начинай сначала! Куклу могут подставить! Двойника! Не все ли равно — кто Сталин?

Ну их к ляду — отгоняю. Будь что будет. Меня в читальном зале ждут не дождутся Сказания иностранцев. Милый, милый, неуклюжий 17-й век. Вы куда тут живите, а я пойду почитаю. Это вам не чета... Хорошая книга, уверен, дает возможность заместить нам бессмысленность жизни. Книга существует где-то параллельно тебе, и чуть вспомнишь о ней — отлегло от сердца. Появился запасной выход. Уймись, демоны! Что мне Сталин? У меня свидание в Ленинке. Там, в сухой высокой траве, стрекочет древнерусский кузнецик...

А ведь так всегда и у каждого бывает. Кручу ли у станка ручку по 8 часов на заводе, валандаюсь ли с бабами, обедаю ли в общей столовой, — меня сопровождает ее образ под подушкой. Она поет в голове, перебивая разговоры станков: "Возвращайся скорее, залётный! Мы с тобою почитаем!" Она ревнива, Сирена. Полна нетерпения. И правильно. Пока я тут балагурю, жую что-нибудь съедобное, ишачу, как сволочь, там, на заветной странице, одинокий детектив из пулемета-лилипут отбивается от здоровых жлобов и вот-вот накроется. Что же ты не приходишь на помощь — не читаешь дальше? — жалобно упрекает она. — Друга в беде забыл? — Ого! Пошли врукопашную. Схватились за ножи. И слышу, на другом конце города, — тоненькая пулеметная очередь под подушкой: "ти-ти-

ти-ти-ти...” — Держись, Фредди! — кричу. — Идет подмога с Урала! Сию минуту! Бегу!..

Но больше всего я люблю многотомные старинные книги по истории и географии. Там есть, что почитать. С ними переживаешь длинную жизнь, забыв о своей краткости. Васко де Гама огибает Зеленый Мыс. Магеллан. О как долго это тянется! Успокаиваешься, читая. Располагаешься жить бесконечно. И успокаиваясь, я засыпаю: огибает, Магеллан!..

Это книги, единственно, о длительности пути. В длительности — и смысл, и стиль. В кругосветных путешествиях — огибая Африку, за Новой Гвинеей — приобщались к властительной протяженности бытия и продлевали дни мореплаватели. За этим и ездили...

Сходное видим в хрониках прошлого. Медленное переливание времени. Из одного истекает другое, из другого третье. Все взаимодейственно. Не то, что у нас. Пусть рознятся версии в летописи. Пускай одному иноземцу Самозванец открылся истинным Ахиллом. Другому — наоборот. Это можно связать, представить. Тут есть логика и слышен Промысел Божий. Это вам — История, а не заезжий двор. История (как ей подобает), облеченная в Вечность, Вечность — в баснословные образы. История, которой сегодня нам так недостает...

“... По губам Димитрия ползали навозные мухи. Торопливые, с металлическим, сине-золотым отливом, они норовили перебраться за подбородок, на берег, — протведать вишневую, как ва-

ренье, царевичеву сладкую кровь. Царица-мать дула ему в личико, но мух спугнуть не могла. Руки — отсутствовали. Во глубине, у подушек, под изогнутым тельцем, все еще обреталось тепло. Спинка, мнилось, еще теплится. Не отлетела бы, прости Господи, вместе с мухами — душа. Она боялась ворохнуться.

Позади, как звон в ушах, стоял вечный кузнецик. Да нянька Василиса полушепотом ворожила:

— На кого ж ты нас оставил, свет очей, Митрий Иваныч?..

Быть в голос, накликаая расправу, дура-нянька стереглась. У нее, у паскуды, рыло в перьях, сын-красавчик, смерть девкам, Оська Волохов, в сговоре с Битяговскими. История, мы знаем, без Оськи — не обошлась. А мы зна-а-ем! зна-а-ем! Поди намылься!.. Так о чем толковать? Уже Федька Огурец, полупьяный пономарь, спотыкаясь, на четвереньках, полз на колокольню. Уже Михайло Нагой, царственный дядя и брат, без шапки, босиком, прыгал по крыльцу и, в чем был, репетировал бурю:

— Я говорил, говорил! Извели! Зарезали!..

И народ, собираясь в кучки, серчал...

Между тем у Димитрия под спинкой повеяло неземною прохладой. Последнее тепло исходило от материнских ладоней и в холоде сына сырело без ответа, терялось и ускользало в ненадобности. Она согревала себя, изомлев, вне тела. Но все противилась, безрассудная, и твердила, себе на уме, что быть того не может, не попустит Господь, не выдаст червям на съедение отпрыска непорочного, Царя Всея Руси, грядущего во славе под тамбурины и валторны.

— Иисусе Христе! Пресвятая Богородица! Иван Креститель! Николай Чудотворец! — молила она всех поочередно, глаз не спуская с голубого студеного личика, опрокинутого под небом, ровно эмалированный тазик. По лицу сновали вездесущие мухи, и Царица не узнавала царевича. Нет! Окстись! Какой наследник? Пригрезилось... Оттого ль, что все умершие — даже дети — больше похожи на умерших, нежели на самих себя? Или сказывалось уже чье-то благое вмешательство? Спорая помощь Божья?.. Чужой, надменный отрок, с неестественно разомкнутым ртом и пронзительными ресницами, раскинулся на ковровой дорожке. Не тот! Слава Тебе, — подставной, подложный!..

Мать поднялась. Смахнула, освободив руки, мух платком. Смутно слышала голос Ангела, сказавший: не подавай знака. Пусть думают — умер. Пока думают, не убьют. Смерть охраннее матери. Надежнее стрельцов. Могила укроет царевича до времени. Правдиво. Потерпи...

В скорби (лицо ладонями) сквозь слезы и пальцы, внимательно, обозрела двор по сторонам орлица. У ворот, в разодранной до пупа рубахе, словно бесноватый, метался неугомонный Михайло.

— Вот, люди добрые! — потрясал он кулаками. — Это борискина свора... Годуновские злыдни... младорастущее древо... аки агнца...

Он кричал по-скоморошьи. Дергался. Махал бородой. Знать, ведал подмену. Укрыли? Убрали?

— Убили! убили! — заголосила царица брату в поддержание. Заприметила у завалинки березовое полено. Схитрила. Нянька с нескромной рожей все

еще корчила дурочку: "На кого ты нас оста..." Ударила, ослепнув от ненависти, березой в лоб, промежду блудящих глаз, и взывала от боли. Поме-
решилось: и вправду зарезан!.. В ответ грянул на-
бат с той самой колокольни. Это Федька Огурец
долез-таки до неба...

Борисовых слуг ловили в огородах, за Вол-
гой. Тех, что в окoliце, Господь уже настиг: кого
топором, кого палкой, кого голыми руками — на
мелкие пташки. Тряпки так и летали по городу.
Афонька Меченый с братаном заперся в баньке и
оттудова грозился пищалью. Их долго и хитроум-
но выкуривали: до черных косточек, до поганых
головешек...

Разгоряченные жители Углича забегали на Го-
сударев двор заручиться увиденным, перекрес-
титься, испить водицы и мчаться дальше. Там, у
крыльца, безумная мать билась о крепкую землю.
Звала Христа в судьи. Святых во свидетели. Ря-
дом, на бархатных коврах, возлежал отошедший,
не похожий ни на кого, питомец Божий. На шее,
как жаберная щель, зияла узкая рана. И хотя ца-
ревич был давно уже мертв, она кровоточила..."

Я вышел покурить. По пути щербатые стел-
лажи, как обычно. Словари. Портреты Ломоносо-
ва, Молотова. Подсобка. Каталоги. Большая энци-
клопедия, малая энциклопедия. Маркс-Энгельс-
Ленин-Сталин. Гранат... Истинные книги распола-
гались не здесь, на поверхности, но в недрах, в от-
секах, давая знать о себе подспудно, непреднаме-
ренно, подозрением, что только в библиотеке мы и
ходим по земле.

Говорят, перегной. Не уверен. Хорошо бы, конечно. Для следующих. Но история не почва. Каменистее. Опасна для жизни. Основательна, однако. Серьезна. Скопление томов подобно тяжелым, глубоким геологическим отложениям. Мезозой. Здесь всё найдете. Ракушки. Улитки. Столпотворения народов. Чертов палец. Отпечаток дивной птицы — археоптерикс. Сказания иностранцев. Земля.

В курилке ни души. Как вымерла Ленинка. Если умер, так и сматываться сразу? Я останусь до конца. Последним. Раскупорил пачку "Беломора". Какое мне дело? Не затем я сюда пришел. Меня занимает Димитрий. Исключительно. Молчи, сатана! Сталактит. Станина. Стапель. Иностранные авторы, как троцкисты, сомневались: подлинный он или мнимый? Поразительно! Инокания Марфа, бывшая Мария, в девичестве Нагая, несколько раз, если изучать, меняла показания. То жив, то мертв. Куда годится? Когда жена Годунова, тоже Мария, дочь Малюты между прочим, ринулась на нее со свечой: "выжгу очи! признавайся, живой он или мертвый?", — то Борис остановил: "подожди". А Марфа пожала плечами. — Не ведаю, — наслаждалась монахиня. — Откуда мне, бедной, знать? Не совру — коли живой..."

То ли Рузвельт, не помню, то ли Иден, то ли еще какой заморский гость, говорят, не удержался.

— Многие вам лета, — воскликнул, — господин Генералиссимус! Но все мы ходим под солнцем и вынуждены, увы, мыслить политически. Кто, скажите, займет ваше законное место, когда вы уйдете в лучший мир, если это не секрет?..

Политбюро дрогнуло. Провокационный вопрос. И лыбится, блядь худая, как это умеют иностранцы. Так что же наш?.. Ничего страшного. Ответно засиял в дружеской кавказской улыбке и обвел Политбюро, по кругу, острым, с ленинской лучистой насечкой, глазком. Не глаз, а маслина. — Эты что лы? — вздохнул в усы, выколотил неспеша трубку. — Ынтэрэсно — кто наслэднык?.. — И еще раз маслянистым взглядом пересчитал когорт. Те трепещут, дышать перестали — судьба решается. Мягко воздел палец: — Нэызвэсный маладой чэлавэк!”

Все так и попадали. Смеху полные штаны. Ну и выдал, отец! Обдурил иноземца. И никому не обидно. Все в говне. Субординация в сохранности. Забыли о главном, о юморе в законах истории, а он помнил. Он все помнил. Сам начинал, не так давно, неизвестным молодым человеком и знал что почем. Только разве найдешь такого? Неизвестные молодые люди что-то перевелись на Руси. Где вьзаться Самозванцу?..

В Тайнинках подтвердила царица: — Мой! Он самый! Воистину Димитрий!” Хоть и был тот рыж, хоть и был тот некрасив, и бородавка не там, где надо. Политбюро аплодировало... Над телом, когда волокли, однако затуманилась Марфа. Едва взглянув, отвернулась. Правда, на сей раз был он изуродован, разоблачен и непристоен. — Твой это сын или нет?” — наседала толпа. Покачала головой. — Нет, — ответила. — Какой теперь это Царевич? Не известный мне человек...”

Что значило это “теперь”? Что раньше был настоящий? Пока живы, так все настоящие. А мерт-

вые уже и не в счет? Ничейные? Не те? Сколько можно изменять одному и тому же сокровищу? Вот посмотришь: возьмет и объявится — всем на зло. Долго ли? Немного подгримироваться. Созвать войска. Меморандум. Иди потом доказывать, что это Геловани...

В заброшенном сегодня, пустынном книгохранилище было тихо, как в храме. Но история комплектовалась и назревала невидимо здесь. Здесь, в библиотеке, берет она истоки, черпает резервы. Все под рукой — и сын-отщепенец, и прадед-консерватор выстраиваются по индексам в ряд. Прочесть немыслимо — не хватит человеческих жизней, достаточно взором окинуть ровный прибор корешков, убегающий под землю мертвым до времени фондом, где всем нам стоять картотекой, кому по именному, кому по предметному перечню. Где всякая альфа и бета чреватые потрясениями. Где Ленин? Где Сталин? Где Гитлер? Где лучшие умы человечества? Как банки под этикетками — здесь. Не кладбище. Арсенал. Громадные ангары. Запасы. Взбунтуются, вырвутся духи — наверху переворот, и быстро назад, на полку, до нового призыва. Правильно забеспокоился Фамусов: "Собрать все книги, да и сжечь!..." Да запятая в том, что и сам он уже запечатан в коллекторе. Отыщете без труда по любому указателю. На букву "Г" (Грибоедов). На букву "Ф" (Фамусов). На букву "К" (Книги)...

"... Палача загоняли до упаду. Прodelав с толком все, что по работе потребно, в антрактах он ускользал за ситцевую кулису и в прохладе, в по-

лумгле чуток передыхал. Хлебал воду из ручной мойники, ополаскивал глаза, разъеденные потом и копотью, и, стараясь не греметь сапогами, пристраивался калачиком, в ожидании часа, на казенном рундуке. Вторые сутки шел сыск — пытали о смерти царевича.

”Волею Божьей и Божьим судом, страдая падучим недугом, наткнулся на вострый ножик и душу испустил. А Мишка Нагой да Гришка Нагой учинили шум и потерю, и злокозненно, беззаконно... И сына Данилу, и Никиту Качалова, и Волохова Осипа в одночасье... И женочку оную, расстреляв, в воду посадили...”

От крика, от дыма, от бессонной пальбы раскалывалась башка. Саднили стертые в кровь мозоли. Легко сказать! Сорок четыре свидетеля прошло уже через эти руки. Каждого свяжи, успокой. А сколько кнутом, а сколько пупырью — и не считано!.. Хоть бы сукна пожаловали за порченную рубаху. Новая. Грехом Арсюшки. Засмотрелся Арсюшка на бабий срам и поднес горячие клещи к отцову боку. Ладно до мяса не прожег. Дома выпорю.

— Дома выпорю, — пригрозил он вяло, для острастки, и сомкнул в изнеможении вежды. Но краем уха прислушивался — и к топоту ног в приемной, и к свисту перьев, и к хриплому, с одышкой, понуканию Клешнина.

— Сам! Своею рукою!.. Как учало его трясти, как учало бить, корчить, туды-сюды, он возьми и пропорись...

Слава Создателю. Кубыть пронесло. Забрезжила минута вздремнуть.

— Своей рукою, — выводил певучий, старческий альт за ситцевой занавеской. — Своей рукою, милостивцы...

В ногах закопошился Арсюшка: — Тятка, а тятка! Кто ж его порешил? Царевича-то?..

Отец только шикнул на него: — Цыц, зменийш! — и легонько придавил сапогом.

Не возьмет он больше Арсюшку на важное государственное дело. Пушай с матерью по монастырям промышляет да девок посадских за бока щиплет, покуда не созрел. Своей рукою. А надо бы с молодых ногтей, горбом, приучать к ремеслу. Это тебе не свиней пасти, не хлеб сеять. Тут нужен талант.

Бывало, говаривал царь Иван Васильевич: "— Золотые руки у тебя, Никифор! Тебе бы часы починять. Примуса..." Добрый был государь. Как топнет ножкой! Царевич в батюшку. Покуда не созрел. Зрел зря. Резал. Лился, лился свет. Из рта — из окна. Посветлело у розовых десен, и вырос — ясно — язык.

Без подсосываний, без распорок. И нос защемлять не надо бельевой прищепкой, чтобы рот открыл. И зубы не надо выламывать. Сам протянул себя. Оставалось полоснуть красноватый — сверху белесый — отросток, подобный бесстыжему собачьему уду. Ухваченный щипцами за хвост, дернулся, было, ан опоздал.

— Арсений, смотри! Запоминай!

Рраз!

Брось на пол: кошка съест. — Облизывается.

На месте же оскотенного рта нетронутая бородатая харя исторгла перед взором секатора свою пугливую внутренность. Должно, другой лжесви-

детель был приуготован по списку — на усекновение мерзопакостных уст.

— Учись, мой сын! — Рраз! — Брось кошке: съест. Облизывается.

Да их тут с полсотни! Не успеешь с одним разделаться... Поворачивайся, кат! Не то вылетит петишиное слово и, считай, пропало царство, рассыпана казна и пойдет куражом по свету затейное воровство. Тогда не сдобровать: вставай с сундука, береги мозоли!.. Но его не беспокоили. Изымая протянутые за подаванием языки, он слышал, как чья-то баба заливается в соплях:

— Сам заразися. Небрежением тутошним. И допрежь. Найдет на него хвороба, метнет оземь, — он и память потеряет. Ровно психованный. Мамки да няньки чичас унимать: не убился бы затылком. Так он, сердешный, все руки им обгрызет, пуговицы пообкусывает. Откроет роток — ды кэ-э-к тяпнет зубами. За что ухватил, то и отъест, болезный...

Облизывается. А щипцы и клещи, как нарочно, куда-то затахторил Арсений.

Пустыми руками язык уцепить? — это, знаете, гидравлика! Скользит. Ему посчастливилось, наконец, ногтем ухватить-таки слюнявую мякоть. Пасть разинулась до затылка и — цап! — акула, за палец. Ну сатана! И тотчас все прочие, не упраздненные заблаговременно рты, залопотали непотребные речи. Никифору и не двинуться. Рванул руку и пробудился от боли, от горькой жалости к себе. Неутомимый Арсюшка был уже на ногах: — Тятка, вставай! Пора! Нас кличут!..”

... Внезапно библиотека начала сворачиваться. Библиотечные девы так и налетают по залам — на считанных — вихрем: — Сдавайте книги! Срочно сдавайте книги! Закрыта!..

Что за чепуха? На часах нет и половины пятого. До 11-ти же обычно? Сами в панике. Сворачивайся! Закрываем!..

Выбежал. Смотрю со ступенек Ленинки, сверху, — бегут. Мать честная! Не два, не три, не пять. Вся улица, как один, — бежит. Никаких автомашин. Во всю ширину усыпанная людьми, бегущая Воздвиженка. Восстание?.. Событие?..

Пристраиваюсь к бегущим, принимаюсь. Ничего, однако, на лицах не написано. Ни пафоса, ни ярости. Трусят себе преспокойно рысцой, заглядывая с интересом вперед, за спины. Я к одному, было, с вопросом — что происходит, милейший? — А х... их знает! — отвечает. — Как ошалели все. — Ко второму: — Там скажут, парень! — и машет рукой к Арбату, старикашка. Третья, женщина, вообще не ответила. Вижу, еле тащится теща. Выдохлась уже, а туда же, трясет окороками, старается. У того, что посерьезнее, пальто с ворсом, в очках, вроде чиновник, — куда мы бежим, — спрашиваю, — товарищ? Куда все бегут?

— К Сталину пускают! В Колонный зал! Доступ к телу объявлена...

Ага! Понятно! Сворачиваем на Мало-Никитский (по-нынешнему, с недавней поры, Суворовский) бульвар. Окружной, видать, петлей. Другие пути перекрыты. Тимирязев. По дороге, на Тверском, ручьями, сливаясь, с улиц, из подворотен, к нам в протоку подваливают новые толпы. Нико-

гда не думал, что в Москве столько народу. Река несет, но бежать уже нельзя. Все медленнее и теснее перебираем ногами. Прямо ноябрьская демонстрация. Только без песен, без веселья, как, впрочем, и скорби я особой не заметил. Любопытствующие, допущенные к вождю люди...

У Пушкинской — запруда; почти не двигаемся; Горького — перегорожена; маршрут — до Трубной, объясняют всезнайки; оттуда, с Трубы, повернем и — напрямик; галдят — через полчаса дойдем, еще нажать, прорваться, ребята, и мы первыми вкатимся к Сталину в Колонный зал.

Удержал меня портфель в руке. Тяжеленный такой, с книгами. Куда с грузом сунешься? Рукой не повернуть. А впереди еще теснее. Там какая-то карусель. Воронка, что ли? Интересно посмотреть. Но — портфель!.. Да могут и не пустить с портфелем. Подумают — бомба. С детства помню: к Ленину в Мавзолей ни с сумками, ни с портфелями никого не допускали. Гроб, небось, в охране войск, в кольце милиции, эмгекбистов... И я начал выдираться. С трудом, правда. Напирала река, затягивала воронка. Так у самой у Пушкинской и повернул назад, к дому, не войдя в траурный зал, в свидетели великих событий. Обидно. Если б не книги, не портфель, я был бы уже на Трубной, у тупа...

Не буду рассказывать, что случилось с теми, кто оказался тогда расторопнее меня, преданнее или смелее. Это уже история. Через какой-нибудь час, к вечеру, она разлетелась по Москве свежей газетой, еще пуще раздражив праздное мое и нечистое любопытство... Мертвец, обнаружилось, продолжает кусаться. Ведь это же надо так умудриться

умереть, чтобы забрать, себе в жертву, жирный кусок паствы, организовать заклание во славу горестного своего ухода от нас, в достойное увенчание царствования! Как тело святого обставлено чудесами, так Сталин свое гробовое ложе окружил смертоубийством. Я не мог не восхищаться. История обрела законченность.

Ровно в полночь, вдвоем с утренним другом, мы отправились подивиться на тризну и часов до пяти кружили по возбужденному городу. Москва дымилась. Воскурения, казалось, исходят от черно-алых флагов в огне фонарей и дыхания спрессованных масс, прущих круглосуточно на прощание с вождем. Издалека по временам долетал слабый вопль удавляемых. Толпу зажимало барьером военных студебеккеров. Маленькие пробки, давки и ходынки продолжали вспыхивать, слышалось, тут и там, наподобие водоворотов, сопровождающих ровный в общем-то и безвредный по виду поток. Кое-где, к моему удивлению, раздавались приглушенные возгласы "ура". Это зеленая молодежь, должно быть из чувства спорта, кидалась на абордаж очередного злграждения. Самые отчаянные, сокращая дистанцию, пускались *вплавь* — по крышам. Звали и нас прогуляться, обещая чердаками, карнизами, пожарными лестницами вывести к Столешникову. Но мы не альпинисты. Сытые увиденным, мы с приятелем не встревали уже ни в черную очередь, ни в художественные маневры добраться до Колонного зала каким-нибудь окольным путем. Лицеизрежь Кесаря не входило в планы...

Потом, сто лет спустя, расскажут, как повез-

ло одному еврею, снимавшему тогда, по стечению обстоятельств, комнату у Неглинной, возле самой Усыпальни. Родителей у него уже успели расстрелять, сам, по анкетным данным, едва перебивался, и вдруг — удача! Выигрыш, если хотите. Законно, в домоуправлении, на эти тугие дни выправили ему пропуск в зону проживания, так что мог он, хитрый еврей, по своей вшивой прописке, в любой час дня и ночи, беспрепятственно посещать нашего вождя, в порядке живой очереди. Три раза, говорит, прописью три, ходил убедиться. Приду и глазам не верю: лежит, как мертвый, под ружьем. И гроб, как следует быть, и венки. А я смотрю и не верю. Не может быть! Лежит?..

Не знаю. Не могу разделить. Лично меня к телу не тянуло. Чего там ходить смотреть? Я как-то противился мысленно небывалому по силе магниту с его эпицентром смерти на весь город. Дай ему волю, он всех бы с собою унес. Его присутствие в эту ночь здесь, на улицах, было очевиднее, нежели там, в венках, под почетным караулом. Мертвый шествовал по Москве, собирая спелую жатву, оставляя большие следы своими железными сапогами. И всюду, где он проходил, трескали ребра, выкатывались глаза и волосы легко, как чулок, сымались вместе с кожей...

Мне в голову почему-то лезли плохие стихи Николая Тихонова из поэмы "Киров с нами", сочиненные во время войны — на ленинградскую блокаду. Слабое подражание волшебному лермонтовскому "Воздушному кораблю":

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
В железных ночах Ленинграда
По улицам Киров идет.

Из гроба тогда Император,
Главу уронивши на грудь,
В железных ночах Ленинграда
По улицам Киров идет.

И, топнув о землю ногою,
Сердито и взад и вперед
В железных ночах Ленинграда
По улицам Киров идет...

Ну привязались и привязались. Мало ли что приходит на ум в ночное время... Но почему, думаю, Сталину это нравилось? Зачем, убив Кирова, он его превознес, как любимого сына, младшего брата, и пустил на века шагать по стране Командором? Второе лицо по числу названий — после Самого. Кировоград, Кировокан, Кировск, город Киров, поэма Тихонова "Киров с нами", удостоенная Сталинской премии, улица Кирова, театр в Ленинграде... Что? — спрятать концы в воду? Да он и не таких убирал. С концами. Не оставив следа. Нет, живая благодарность убитому. Чувство личной признательности. Отступная, могарыч в виде посмертной славы, какая и не снилась мальчику из Уржума. Царская панихида младенцу, чьей кровью окропил, как святой водой, головы казнимых вредителей. Спасибо, верный товарищ, за то, что я те-

бя застрелил. Надо было. Прости. Заплатил. Воздвиг. Памятником воздал. Кировоканом!

В железных ночах Ленинграда
По улицам Киров идет...

Воображение у меня, мягко говоря, пошаливало. События, рисовалось, не умещаются в погребальный парад, больше похожий на оргию, и требуют развития, веером пертурбаций. В мозгу проносились картины одна другой живописнее, чудеснее и безбожнее, отвечавшие, как мерещилось мне, истинному духу момента. Попробую изложить эту цепь последствий, рвущихся из будущего, нам навстречу, в более стройном и аргументированном виде, чем они пылали у меня в уме в те слепые часы бесцельного, замороженного кружения на подступах к Усопшему.

Ждите, смотрите, читайте! Не завтра, так послезавтра, на Кавказе объявляется самозванец — Лжесталин. Неизвестный молодой человек. Секретные его адепты в столице, дружная кучка боевых оперативников, несущая вахту у гроба, первым долгом дезавуируют улику. Хозяина, перекрестясь, подменяют. Самого — в свой домашний крематорий на Дзержинской (есть же там у них какая-нибудь своя дезинфекционная печь для внутренних покойников?), а в качестве подкладной утки — любого (с улицы бери!), наспех приколотого и выпотрошенного гражданина, примерно того же формата, чтобы влез в мундир. Наклеивают усы, не заботясь о большом сходстве. Парик кое-как. Наутро, при смене караула, — ЧП. Все,

кто только хочет, любят, удостаиваются самолично: в саркофаге не тот — не те приметы. Ищут, толкуют, гадают. Где неподдельный? Потерпите, говорим, — конспирируется. Скоро вернется. Ужо!

Берия, как самый интеллигентный в Президиуме, в пенснэ, организатор движения, вылетает в Грузию — к другу. В ту же ночь (может быть, в эту?) верные сталинцы-ленинцы раскидывают по столице подметные листы. Напечатанные в типографии "Правда", слова зажигают массы, шевелят разум. Под грифом "Совершенно секретно" (для завлекательности) находим:

"Совершенно секретно. Наймиты капитализма, подлая, антипартийная клика Молотова и Маленкова, в сговоре с иностранной разведкой, пытались — 3 марта с.г. — совершить злодейское покушение на драгоценную жизнь товарища Сталина.

Но враги Родины и социализма просчитались. Вождь скрылся в горах и скоро вернется к работе, здоровый и омоложенный успехами передовой, патриотической медицины. Лжеправительственное "сообщение" о преждевременной кончине Вождя считайте вражеской вылазкой и контрреволюционной брехней. Собака лает, а караван идет. Смерть узурпаторам!

Все под ленинское знамя истинного Помазанника, Царя и Государя — Сталина!"

Внизу подписи курсивом:

"Президиум ЦК, Совет Министров, Генеральный Штаб, Министерство Госбезопасности, Союз Советских Писателей.

Секретарь: Горкин".

Да-а... Це-це... Катавасия. Цыкаю зубом мечтательно. Можно представить, что бы тут началось — при одной такой листовке! Пылающие заревом будущих казней заседания ЦК. Опровержения ТАСС. Массовые аресты среди писательской интеллигенции. Расстрел врачей и еврейских антифашистов, достаточно нам уже нагадивших и надоевших под следствием. Расследование дела о трупе: кто эксгумировал? кто не устерег эксгумацию?.. Чекисты трясут Москву, как грушу, но так и смотрят, затравленным волчьим взглядом, — на юг. Плывущие вниз по Волге, по Дону, в устрашение изменникам, барки и катера с повешенными на реях работниками обкомов, рискнувшими сноситься с кавказским Самозванцем...

Удар с фланга: маршал Жуков, прославленный народный герой и единственная опора престола, самостийно, из Казахстана, выдвигает кандидатом в Правители великой и неделимой России — лжецаревича Алексея, якобы уцелевшего чудом в печальную для всех ликвидацию Императорской Семьи. Править страной, в таком раскладе, будет, разумеется, не болезненный и запуганный жизнью царевич, тридцать с лишним годочков укрывавшийся на Дальнем Востоке под скромной должностью поселкового счетовода, а — сам Фельдмаршал. Не жучку же с Украины — Хрущеву, а русскому хрущу — Жукову присягнут войска!

В Кремле ядро ЦК, боярская дума с Маленковым и Молотовым, без умолку разоблачает предателей: американского шпиона Берию, белогвардейского генерала и тайного власовца Жукова, японского прихвостня Алексея... Лжесталина, ко-

торый моложе себя на 30 лет. Лжекирова — уголовника. И вот новость — лжеЛенина!.. Последний, ветхий старец, за восемьдесят, бывший завкафедры марксизмом-ленинизмом в Герценовском пединституте, меньшевик в прошлом, по-настоящему Кац, Арон Соломонович, он же Зайцев, он же Франк-Масонов, на пару с однофамильцем Кирова, бандитом Витькой, по прозвищу "Мироньч", — утвердились в цитадели революции, в Питере. Шлют Кремлю ответные радиogramмы: "Сдавайтесь! Не то мы вас и не так еще обзовем!.."

Тем временем Сталин, тихо, без пальбы, с двуглавым орлом на красном стяге и белым крестом на черном, взял уже Ставрополь и подходит к Таганрогу. Народ — хлебом-солью. Выносят иконы. Плачут от радости. Кормилец! Избавитель! Берия их всех сейчас же — присягать, присягать!.. Но Горный Орел, нареченный Государем, Император Всея Руси, смотрит весело и зла не помнит. На бумагах, подобно Димитрию, лихо расписывается полатыни: In Perator. Как опытный тактик, однако, держит на уме обоюдovýгодный когда-то, временный контракт с Гитлером и так же оригинально делает шахматный ход конем. Во имя единства и неделимости России и дабы не пресекалась династия, широким жестом усыновляет лжецаревича Алексея, суля тому в освобожденной Москве руку державной дочери и персональную дачу в Крыму. Одним этим политическим росчерком все решено. Молотов с Маленковым бегут в Монголию. Лжекиров и Лжеленин просто сходят на нет, рассеиваясь в ночном воздухе. Мудаки-американцы предоставляют нам кредит на 400 миллиардов. Сам желез-

ный мужик Жуков, рыдая, падает на грудь вечно смеющегося, юного, с такими же усами, Лжесталина. Великая минута. Салют!..

Я не виноват, что история тогда не пошла по намеченному ею же руслу. Все было подготовлено. Соответствуй Лаврентий Павлович собственному пенснэ, окажись он интеллигентнее, чем был на самом деле, — ну останься на уровне своих изображений на стендах, — и не миновать нам самозванца. Будь Жуков более мужественным и честолубивым стратигом, рискни прийти к полноте власти, — и армия, и народ по грозному окрику маршала встали бы горой за него, за единственный в стране, после Сталина, кимвал и символ. А уж поладь они полюбовно с Берией на почве национальной монархии, столь глубоко уже распаханной вождем народов и хорошо унавоженной, — под орлом и крестом, но с красным знаменем и бесстрашием убивать, не останавливаясь перед затратами, но с танками и с авиацией, — то и цены бы им не было... Так что мои картинки, при всей их несообразности в буквальном исполнении исторической канвы, не далеки от истины в ее скрытом смысле, который, Бог даст, еще себя проявит. И проживи Генералиссимус еще лет семь-восемь или найдись ему достойный, по плечу, восприемник, и мы имели бы и новые замечательные казни, и великую войну, и переселение народов, и прекрасное распухание самодержавного ствола на ниве утучнения мощи и географических размеров Империи за счет территориальных придатков во всех частях света...

Однако мой воздушный спутник в ту роко-

вую ночь смотрел на вещи по-иному, куда более спокойно, без той мрачной восторженности, в которую я вовлекся, под воздействием, должно быть, назлектризованной обстановки. И хотя мы едва перекидывались словами, подавленные творившейся перед нами вакханалией, думали мы, я уверен, далеко не согласно о ней, как, впрочем, и о многом другом в наших пересекавшихся кое в чем, но разных каналах сознания. Объективности ради стоит об этом сказать.

Я не буду вдаваться слишком подробно в странную судьбу и характер моего молчаливого друга, с которым, увлеченные каждый своими идеями, мы встречались эпизодически, по его инициативе, так что впоследствии он вообще скрылся у меня из глаз, как бы тихо растворившись в собственном ему одному вечернем, неназойливом блеске. Может быть, сейчас он где-нибудь монашествует. Или нашел прибежище в какой-либо гонимой секте. Если, конечно, не спился, как это подчас бывает, к великому сожалению, с нашими русскими самоучками, самородками и правдолюбцами.

В пору наших с ним наиболее тесных контактов он во всю практиковал йогу, до которой дошел собственным умом, а не по моде, как это началось много позже у всяких там незамужних фокусниц, духовных сибаритов и религиозных искателей из технократов, на рациональной подкладке. У него это выходило даже как-то чересчур натурально, заставляя побаиваться, что он когда-нибудь свихнется, — скромно, результативно и без тени аффектации. Другое дело, что лично мне

путь его был заказан, вызывая в ответ, к моему стыду, лишь острые литературные чувства, да он и не настаивал на взаимности, лишь изредка забегая, словно сваливаясь с Луны, взять что-то почитать, либо поделиться новым интересным открытием в узкой своей и тщательно замаскированной от сторонних глаз специальности.

Правда, начинал он, еще до нашего знакомства, широко и радикально, и вскоре после войны, в 46-м году, по его собственным рассказам, замыслил в одиночку совершить революцию в России, для чего завербовался разнорабочим куда-то на Каспий, кажется, и там, среди таких же оборванцев, исподволь повел агитацию. Делал это умело, комар носа не подточит, на понятном простому народу, грубом языке, так, чтобы работяги сами, без нажима, додумались до своих классовых интересов и необходимости сплоченной, за общую свободу, борьбы.

— И вот наступил вожделенный миг, Андрюха! — Он ласково, по-братски, так меня называл, справедливо не церемонясь с моей ученостью, столь убогой и плоской рядом с его занятиями. — Лежим мы в конце рабочего дня с одним моим дружком у моря, в кусточках, загораем, можно сказать, я, как всегда, свое толкаю, подводя к революционной идее, только глупых слов этих политических прямо не говорю, и вдруг он:

— .. твою мать! — говорит. — И так все ясно! Чего зря трепаться?

— А чего тебе ясно? — спрашиваю я.

— Пора дело делать.

— Ну какое же, к примеру, дело?.. — А сердце

в груди ходуном ходит, Андрюха. Только бы не спугнуть, думаю. И потому разговариваю наводящими вопросами. Пусть сам дотумкает, в чем выход!

— Организацию, — бахает, — надо создавать. Вот что ясно! — Прямо так и произносит, и очень отчетливо — "организация". А ведь я даже слова такого — "организация" — в нелегальных беседах с ними ни разу не употреблял. Значит, допер Колька! Собственным умом! Господи, думаю. Наконец-то! Недаром, значит, и я тут хороводился, чуть не подох на засоле. Господи! молюсь в душе, доведи его, Господи, до пролетарского сознания! А сам небрежно так, с безразличным видом:

— Какая еще организация?

Тут уж он удивился.

— Павел! — спрашивает. — Ты чего выебываешься?

Это я себе такую подпольную кличку присвоил — "Павел". Документами в тех гиблых местах почти что игнорировали. А Колька рубит:

— Вооруженная организация! — говорит.

.. твою мать! — думаю. Да мой Колька меня превзошел! Восстание уже можно готовить на броненосце "Потемкин".

— Ну лады, — отвечаю. — По рукам. Допустим. А что мы дальше делать будем с нашей организацией?

Здесь он мне и начертал свой интегральный план. От берега до Рыбзавода 4 километра, говорит. По тропочке тут бабы ходят, мужики вечером. Разнорабочие. Сберечься в кусточках и...

— Как что делать? Храбить будем!

Но, ты знаешь, Андрюха, я сдержался. К чему выдавать себя раньше времени? Смехом — реплику:

— .. твою мать, Колька! Нищих храбить?

И сам катаюсь, просто катаюсь от смеха. Смотрю, он тоже смеется. Смущен.

— Да, — чешется. — Это я того... Что с нищих наших сдерешь?..

Тогда я встал и пошел, пошел от него медленно по песочку. Шагов 50 всего было до моря. Солнышко садится. Море зеленое, зеленое. Подошел и думаю:

— .. твою мать! Утопиться мне, что ли?..”

На этом его как ножом отрезало от хождения в народ, от революции, от политики, от всякой активной жизни, и все свои нерастраченные духовные способности он бросил на воспитание самого себя. Таким я и застал его — на новом этапе подвижничества — механиком-лаборантом в каком-то задрипанном НИИ, служившем ему, очевидно, лишь точкой приземления. Не все ли равно — кем числиться, как зарабатывать на хлеб человеку вне тела?

— Главное, Андрюха, не общество переделывать, не бороться с врагом, не искать ветра в поле. И вообще хватит фантазировать! Помнишь у Сократа? ”Познай самого себя”. Не рыпайся! ”Я знаю то, что я ничего не знаю”. А что это значит? Выход — в каждом из нас. В каждом, Андрюха! ”Царство Божие — внутри”, сказано. Важно ключ подобрать. Ключ! А там уже все откроется...

И дальше в моем сыром полуподвале, как в кунсткамере старинного волшебного фонаря, про-

ектировались перспективы одна другой неотразимее. Можно, если хотите, на Луну слетать, на Марс, астральным способом, за пять минут, оставив капсулу плоти мирно дрыхнуть на стуле. А хочешь — вспомни какое-нибудь свое счастливое воплощение в Атлантиде и мотай туда... Насколько я понимаю, на моего лучезарного друга неотразимое впечатление в свое время произвел роман какого-то иностранного автора, Джека Лондона возможно. Там некий узник под пытками, завязанный палачами в смиренную рубаху, свободно, теряя сознание от боли, находит внутренний выход и путешествует из края в край, по всем своим прежним, дожизненным орбитам. Чем биться в стену башкой, свершая никому не нужную революцию, не лучше ли тихо уйти отсюда каким-нибудь медитативным путем? Пусть тело — в мешке, душа — витает. Обдумываю же я под сурдинку свой собственный полет на Луну?..

Мой спутник, однако, в отличие от меня, не был пустым созерцателем. От революционного прошлого, порвав, он сохранил за собой практическую жилку, ясность суждений и здоровую простоту в перестройке своей ментальной организации. Наступает в лаборатории обеденный перерыв. И тотчас он командует своему сверхчувственному "я" сходить в разведку: в которой — из двух — столовок для работников НИИ сегодня меньше народу? Где еще остались незаполненные места? Через несколько секунд приходит готовый ответ: иди в ту, что на Масловке — там и очереди еще нет, и меню вкуснее. Дают — компот! И неразговорчивый наш лаборант встает, как лунатик, и идет себе по азимуту. Всегда — верняк...

Главное в этих случаях, чтобы разум не встрел, не участвовал в дебатах. Иди, как тебе подсказывает твое высшее "я". Никогда не прогадаешь!..

Необходимо пояснить, что это самое "я" сидит в каждом из нас. Только не приведено еще в действие, в настоящий порядок. Оно все может. Все, что пожелаешь, оно сделает тебе, наше второе, могучее, сверхразумное "Я". Будь, однако, осторожен. Не дразни собак. Не приведи Бог ставить тебе перед ним, то есть перед самим же собой, непосильные нормальному человеку и неподвластные задания. Мой друг умел соблюдать эту грань. Дистанцию. И все-таки выпрыгнул однажды из себя, прошелся вприсядку по воздуху и увидел немного сверху, в затылок, как он переходит улицу Горького, маленький такой с виду и спокойный человек, на красный светофор, и чуть не упал на асфальт под поток автомашин. С трудом, усилием воли — в одно мгновение — вернулся в разум, в оболочку. С тех пор не торопится.

Или сядет в шахматишки сразиться с каким-нибудь сослуживцем. Сам едва помнит одно слово: "ладья". Первым делом выключает из игры бесполезный мозг, передоверяя партию верховному своему Двойнику. Пусть тот думает. А ты сиди, двигай пешки к финишу: победа за нами. Стоит, однако, задуматься над доской и самому сделать шах фигурой, как обязательно проврешься. Пиши пропало. Здесь надо опасаться собственного ума... Это как-то отвечало тогда моим понятиям о литературной работе.

Но больше всего нравилась мне из его историй та, где он, в хрущевское уже время, научился

угадывать без промаха лотерейные билеты. Вместо займа, сидит старичок в метро и крутит вертушку. Кому счастье — добровольно покупайте у попугая. И мой йог видел — буквально глазами видел — где, в какой из тысячи пустых бумажек заключается капитал. Выяснилось, над счастливым билетиком вьется маленькое пламя. Ну что-то вроде сияния появляется вокруг обещанного квитка. Лотерея так и прыгает: бери, бери!..

— Ну и ты купил?! Выиграл?..

Он посмотрел на меня с глубоким сожалением, как смотрят на последнего грешника. В двух словах объяснил, что такие вещи, братишка, нам даром не проходят. Нельзя, обладая знаниями, использовать это себе на выгоду. Что он колдун какой-нибудь? Алхимик? Это же было бы посягательством черной магии!..

— Запомни! Это самый страшный грех на земле. А ты говоришь — билетик. Достаточно уже одного того, что я вижу выигрыш. Но притрагиваться к тем огонькам?!.. Да лучше я себе руку отрежу...

Встречал я потом, и не мало, пророков, сгоревших за лотерейный билет... Оттого и не считаю достижения моего собеседника чем-то непозволительным или замешанным на бреднях. Нет, воображение было, в его глазах, именно моим важным недостатком. "— У каждого своя карма", — вяло возражал я ему на его языке, и он охотно соглашался: "— Вот я тоже все еще не бросил курить. А ведь это вредит ритмическому дыханию. Карма!.."

— Ну и карма ему досталась! — вздохнул он грустно о Сталине. — И где он только себе эту

кармочку заработал? На какой другой планете?..

И тут же, на траурной площади, полушепотом изложил обстоятельства в резиденции вождя — буквально, на этих днях. После смерти. Разумеется, я не доискивался до истины, откуда пошел этот слух, но в будущем подтвердилась фактическая близость. Может, какой сослуживец ему за шахматами разболтал...

Короче, полковник, еще короче, полковник из личной охраны Сталина, подтянутый, старый ветеран, обходит дозором дачу. Заглянул в смежное с кабинетом помещение. Ну, как обычно, проверял — все ли посты на месте, нет ли посторонних?.. Там никого не оказалось. Пустыня. Должно быть, врач замешкался. Бросил вскрытие. Вышел покурить. Только тело, так долго и тщательно охраняемого Монарха, возлежало на подставке — на обыкновенном столе, обращенном на скорую руку в анатомическую клинику. Может быть, началось бальзамирование уже, я не знаю. Резекция. Все отдельно. Всякие там побочные органы — мозг, желудок — лежат рядом. Ну абсолютно вскрытый и физически непоправимый уже, невозможный образ. И вид этих распластанных внутренностей во мгновение ока свел полковника с ума. Помешался. "— Враги! — кричит, — враги растерзали по моей преступной халатности!.." А ведь знал теоретически и практически о кончине. Да и нервы имел, наверное, для начальника охраны железные. Стрелял через карман. Смерти смотрел в лицо не раз. Но нельзя телохранителю видеть такую картину. Воображение — виною. Навоображали бога, а теперь давимся? Лезем в новую карму!..

Все верно. Однако меня волновали тогда не факты, а воображаемый его, отлагаемый в поколениях портрет. Сталина-то я живым не знаю. Лет шесть, правда, назад, поймал себя однажды на пер-вомайской демонстрации. Вижу на Мавзолее вдруг не всем нам известного по фотографиям, уважаемого в веках полководца, но лоснящегося кота. В первый момент мне сделалось как-то неловко за себя. Все же комсомолец. Мы шли близко к трибунам. Девушка в моей шеренге билась в подобии какой-то эпилепсии. Кликушествовала вождю. Я держал ее за руки. Ее корчило и выгибало. Хмурые эмгебешники — цепью — один затылком, другой фасадом — торопили: "проходите! проходите!" Мы шли назад глазами. Помню только: плотненький такой Кот-Васька по Крылову. В усах. Кот и Повар. И это все?

И я слушал уже вполуха доброго моего спутника — о том, как прекратить войны и раздоры на свете. Особенно ему покоя не давала почему-то наша Гражданская война. Ну как это одни русские с другими не сумели по-братски поладить? Не проще ли спросить: сколько вас, белые? Сколько вас, красные? Разделим поровну. И живите, как вам хочется... Или зачем преследует Маккарти американские компартии? Выделить им персональный штат. Остров можно купить за миллиард в Тихом океане. И стройте себе на здоровье... Он был неистощим на такие, спасительные для человечества, открытия. Идеи у него так и ходили. Одна беда: мне казалось, вот-вот он улетит, бросив меня одного на заколдованных перекрестках — до конца уже дней — нырять и выныривать, нырять и выны-

ривать в собственных моих невеселых, неуголи-
мых мыслях...

Давно уже сказано: Россия пронзила мир. В
самодовольном величии она грезит об одном на-
значении — о Царстве Бога на земле, утвержден-
ном неколебимой рукой, и грозит время от време-
ни проглотить вселенную, раздираемая той же ди-
леммой: либо миру быть живу, либо — России.
Третьего не дано.

Увы! мы забыли! С той поры, как ушел Вожа-
тый, мы сползаем все ниже в обывательское боло-
то. Нам только бы жить. А зачем жить, спрашива-
ется, если Сталин умер и Кирова нет с нами? Для
себя?! Н-ну, знаете. С подобными разговорчиками
вы коммунизм не постройте, нет... Не оттого ли
державный Мертвец и гневался на нас, грешных
его подданных, разливая корытами кровь по мос-
ковской мостовой? — Да сознаете ли вы, кого хо-
роните, псы?! Грядет, запомните, Вторым Прише-
ствием — Сталин!..” И за дело. Бил кулаком. Смо-
трел — вперед. В корень. И видел — сквозь камень.

Уже сейчас, когда я пишу в Париже горькие
эти строки, какая-нибудь паршивая, восьмилетняя
девчонка в Москве, 73-го всего-навсего года рож-
дения, спрашивает у матери: — А он злой был —
этот *Стальнер*?” Ничего себе вопросик! Стоило бы
напомнить мерзавке. Скажи она эдакое в 48-ом го-
ду, в пору моей поздней, цветущей юности, из ее
мамаши, пока сама не подросла, — выпустили бы
кишки. *Стальнер*?! На кого намекает? В каком ду-
хе воспитываете вы ребенка? Только этого Данте-
са бы и видели. Но где нам найти сегодня образцы
для подражания? Куда обратить взоры подрастаю-

щей молодежи? О, моя юность! о, моя свежесть!.. А счастье было так возможно, так близко!.. Еще немного поднажать, вдарить, прорваться, и мы — у финиша!..

Впрочем, не все потеряно, господа, не все потеряно, не надо отчаиваться, и вышеописанные стимулы и потенциалы всемирной истории еще могут возродиться при удобном повороте. Но в ту гробовую ночь, в тот звездный час Империи выгодный момент был, по-видимому, упущен. Развитие, в нарушение правил, сменило бодрый, событийный ритм, в котором оно скандировало всю первую половину столетия, на что-то вялое, замедленное, бесформенное и ничтожное. Сравните цифры, за которыми стоят всем нам памятные даты:

1900 (рубеж века), 1904, 1905, 1914, 1917, еще раз 1917, 1918, 1919, 1921, 1924, 1929, 1933, 1934, 1937, 1939, 1941, 1945, 1946, 1948, 1949, 1951, 1953...

А теперь?!.. Начиная с 1954-го — ничего не происходит. Посмотрите, какими длинными, невнятными периодами отделяется сейчас один катаклизм от другого. И разве ж это катаклизмы?! Ну, допустим, Чехословакия. Венгрия, там. Камбоджа, предположим. Какая-нибудь Ангола. Эфиопия. Все ушло и уходит куда-то на периферию. В песок. Не на чем задержаться взгляду. Успокоиться сердцу. Нет, определенно, мы потеряли темп.

Конечно, не скрою, как человеку, мне отчасти это на руку. Можно потянуться, зевнуть, сидя в кресле. Все-таки с 54-го появилась какая-то перспектива в жизни. Надежда уцелеть... Все как-то разговорились, расслабились. Но, рассуждая фило-

софски, в качестве автора, соединенного с определенной эпохой (конца 40-ых — начала 50-ых годов), эпохой зрелого, позднего и цветущего сталинизма, я не могу не вспоминать о *моем времени* с известным удовольствием и чувством сыновней признательности. Да, не постесняюсь сказать: я дитя той крошечной эпохи. Все эти мелкие козни, сумасшедшинки, ужасики, что я здесь, с таким знанием дела, описываю, пронизывающие быт электричеством скорого конца света, все эти ведьмы, упыри, до сих пор не дающие мне спокойно уснуть, — создавали тогда род мирового радиоактивного потока или, лучше сказать, покрова, к которому я был, волей-неволей, пристегнут. Это время дорого мне уже по одному тому, что в нем и только в нем, а не где-нибудь в другом месте, я понял что-то противоположное ему и, сжав зубы, отщепился от общества, ощерился, замкнулся в скорлупу и отступил в ужасе, чтобы жить и мыслить на собственный страх и риск.

Ночами я ходил по Садовой, один, и бубнил под нос, в ритм ноги, подражая Маяковскому:

Иные страны стали базаром,
Иные — товаром на этот базар,
Но ты, Россия, останься казармой,
Самой прекрасной из всех казарм.

Пусть золотые гербы да вензели
На постройках твоих растут
С аляповатою претензией
На изысканную красоту,

Пусть напяливает эполеты
Твой толстомордый, курносый сын,
Пусть растопырятся на портретах
Генералиссимуса усы!

Пусть отовсюду лезут в глаза нам,
В каждой заштатной твоей дыре,
Казармы улиц, дворцов, вокзалов,
Концентрационных лагерей...

Так обрывалось мое последнее, из немногих, стихотворение, на чем, сочиняя по молодости, я окончательно убедился, что поэта из меня все равно не выйдет и робко стал помышлять о прозе. Все это совпадало с угнетающим отдалением от среды, от жизни, от текущей литературы, с каждым днем, все более, мне казалось, безнадежно низкопробной, отстающей, и с попытками, как это водится, писать в стол что-то "свое", "особое", никому не доверяясь, вроде заметок о русской Смуте, о Самозванце или набросков к позднейшей повести "Суд идет". При всем том, сознаюсь, ни в коем случае это не было отказом от времени, от века, доставшихся на мою долю, как выигрышная карта, и засасывающих все дальше, все страшнее в свою глобальную пасть. Заглатывание сопровождалось, однако, осознанием себя наконец-то неподчиненной величиной, горошиной, неисчислимой личинкой с каким-то своим малым, косым, несогласным взглядом, что делало весь этот процесс вдвойне болезненным и бесконечно интересным. Жуть, стыд и брезгливость смешивались с наслаждением жить "в такую эпоху", что мало кому выпадала в

прошлом, которая, отвращая, пронизывает сердце и мозг, как находка — коллекционера. Осязать эту зернистую редкость, к ней притрагиваться, понимая одновременно, что подобные созерцания не проходят даром и плохо кончаются, — нет, как хотите, но исторически мне повезло в жизни!

В том и беда эстетики. Она морочит тебе голову, играя на золоченых струнах иллюзией полноты ценности недопустимого и недостойного, по своей сути, бытия. Радуетесь, как маленький: Маэстро, катастрофа! И запах истории вдруг становится внятен и сладок. Эстетика в уме! Она абстрагируется от действительности, отстраняется враждебно от самого предмета исследования и в то же мгновение, на резине, тянется назад, к матери, влюбленно всматривается, содрогаясь, в дорогие, ее породившие, отвратительные черты. Ей бы только забавляться. Как оно ходит, на щупальцах, бронированное чудо! Какие у него, у чуда, завидующие глаза! О чем оно думает, интересно, — кого бы съесть? Всех сожрет, не беспокойтесь, и меня в том числе. Но я, червяк, покуда цел, кочевряжусь. И вместо заговора от аспиды мечтаю живописать. Смотрите, опять кого-то слопал, уродина! Ну и прожорлив, собака! Какие кольца, какие мышцы у раскормленной твари под защитной чешуей! И, главное, какие глазки! Нет, вы только посмотрите, какие глазки!..

В подобном ощущении, не спору, была, возможно, патология. Что-то развращенное, сладострастно-тревожное реяло в воздухе. Все вокруг превосходило человеческие размеры. И хотя, повторю, сам персонально генсек, запертый где-то в

крепости, за семью печатями, меня мало занимал в очевидной, казарменной своей заурядности, нездоровый интерес возбуждала подстрекаемая им, либо ниспосланная ему в угоду и в поддержку атмосфера черной мессы, собачьей свадьбы и загробного подвывания, что и составляло, на мой взгляд, истинную ткань того уникального царствования. История мне впервые открылась полем действия и вычисления каких-то сверхъестественных сил. И чем грубее и топорнее выказывали себя наглядные результаты гипноза, тем иррациональнее, мыслилось, принцип, негласно руководящий этой повальной махинацией. И люди уподоблялись орудиям колдовства, летающим веникам, вертячим столам и тарелкам, бормочущим не свои, а чьи-то, внушаемые свыше, затверженные речи, лишь для виду, ради общедоступности, переведенные толмачами на самый примитивный язык...

В курилке Ленинки белозубый лезгин однажды, по-студенчески весело, мне выдал причину своего, как он выразился, извините, охуительного успеха у женщин. При неказистой, в общем-то, внешности, при весьма ограниченных денежных средствах, он, в качестве компенсации, обладал легким кавказским выговором и темпераментными усами махорочного оттенка. Этой природной мелочи, в сочетании с прокуренной трубкой, которую он не выпускал изо рта, оказалось, по его словам, довольно, чтобы бабы, разного звания, возраста и национальности, вокруг него так и падали.

Не знаю, зачем лезгин, рискуя по тем временам жизнью и опасливо озираясь, решил обогатить мой более чем скромный в этой области опыт.

Быть может, ему требовалась какая-то нервная разрядка. К тому же где-то, по-видимому, он имел зуб на Сталина и весь свой антисоветский разврат косвенным образом валил на него, не называя, правда, по имени, но и не церемонясь в подробностях своих жуанских похождения.

Из всего хоровода поклонниц запомнилась мне, да и та не полностью, лишь единственная в своем роде — пальчики оближешь — блондинка, чей замысловатый диагноз я выслушал хладнокровно, как доктор, с достаточно скептическим допуском на вранье с обеих сторон, будучи одновременно прикованным к этому эпизоду, как случается с человеком, схватившимся за голый провод.

У него, что называется, был мимолетный роман с одной немолодой дамой. Собственно, не у него, а у какого-то другого, аналогичного любителя, о чем, спохватываясь, он спешил оговориться. Не имеет большой роли. Не играет значения. Можно и переставить. Дело не в нем, а в ней. Знаменита она была тем по Москве, в узком кругу интересующихся мужчин, что сподобилась, еще до войны, лично сосать у самого в Сочи. Думаю, это была у нее всего-навсего такая причуда в мозгу. Поди проверь! Как бы там ни было, страшась огласки, чтобы не захомутали, она заклинала каждого всем святым хранить под камнем ее сексуальную тайну и, первая же, под секретом выбалтывала очередному любовнику, и это, само собой, как-то разошлось, и она хорошо зарабатывала в итоге, но жила, как на вулкане.

Замечательно, однако, что никто из доверен-

ных лиц, передавая по эстафете соблазнительную блондинку, ее не заложил и не выдал, к своей мужской чести...

При этих словах лезгина мне припомнилась разом иная подтасовка, которой я владел по доверенности от моего, школьного еще, учителя химии, но, конечно, пересказывал кое-кому по секрету, невзирая на заклęcia открывшего мне этот гениальный подвох старика: "— Только никому ни звука! Всех, кто про это знает или случайно услышал, — изымают с корнями, без возврата, по эстафете. Чтобы оно не разошлось. Вы сами понимаете, как это серьезно!..."

Действительно, то был этап в развитии марксистской теории. Как раз тогда, в 52-ом, на Девятнадцатом Партсъезде Маленков, замещая Самого, сделал блистательный экскурс в художественную литературу. Дескать, "типическое" в искусстве это не "средне-статистическое", а нечто "исключительное". Это было неслыханным — по слогу, по уровню мысли — в устах партийного руководства. Срочно пересматривались учебные программы, вся проблематика, эстетика, философия и филология. Строились новые кафедры, пособия и диссертации. В авральном порядке, институтами, коллективами, ученые создавали труды "о типическом как исключительном" в марксизме. Наука подскакнула. И никто, абсолютно никто в мире, кроме нескольких, подобных мне, отщепенцев, связанных незримой цепочкой, не ведал, что весь этот теоретический вклад у Маленкова был списан дословно из ветхой, заброшенной Литературной Энциклопедии. И не у кого-нибудь — у бывшего белоэмигран-

та Святополка-Мирского, вернувшегося сдуру в Россию и успевшего, по слухам, уже сдохнуть с голоду в лагере в роли врага народа. Дотошные историки могут меня легко проверить, если захотят, сняв с полки и сравнив маленковский доклад на съезде с забытым энциклопедическим томом, на букву "Р": "Реализм"...

— Да ведь и то сказать, — предупредительно подмигнул собеседник, — в избранный круг моей знакомой и в курс, естественно, не входили женщины... — Те бы уж вывели, досказал я себе за него, бедную шлюху на чистую воду! И поступили бы глупо, между прочим, себе во вред. Любой доносчик, причастный к завлекательной тайне, пошел бы в общей колонне, по веревочке, включая хозяйку-держательницу акций, вместе с ее развеселым трепачом, а потом и со мной заодно, сторонним, нечаянно попавшим в цепную информацию кроликом. Есть вещи в жизни, друг Горацио, о которых лучше не знать...

— Эге-ге, — подумал я в ту же минуту. — Уж не хочет ли молодой сутенер и меня грешным делом подсоединить в сеть, к своей электрической бляди? Не выгорит! Не поддамся!

Но я преувеличивал. Лезгин, как выяснилось, с ней порвал. Видеть ее, терпеть больше не может. И вот почему. А все потому же. В довершение удовольствия, ее звали, оказалось, — Светланой. Он играл с огнем. Подошел к самой, в узком спуске, преисподней. Заветный пункт он узнал из первых, так сказать, уст. Сошлась она с ним по любви, бесплатно, и влеклась неодолимо, словно за шоколадной конфетой, даже немного подкармливала из

собственного кармана. И все бы ничего, когда б целуя в усы моего лезгина, мечтательница не впадала в странную экзальтацию от запаха табака, шедшего не от этих уже, но от иных усов, и в роли подростокшей девочки не воображала себя чорт знает кем. Старше много, она ломала комедию, выдавая себя за маленькую дочь, ища в нем другого, Одного, кого только и любила, и вождедела, якобы спознавшись когда-то. В ответственные моменты оргазма стонала: "— Я — Светлана! Я пришла к тебе, Светлый! Наконец-то! Отец! отец!.." Что и говорить, это пахло кровосмешением...

— Психопатка, — сказал я сухо и сглотнул слюну. Он поморщился.

— Все они психопатки. Но что делать с ними — мне, нормальному человеку? Э?..

И вдруг я почувствовал, насколько ему нелегко с этими успехами, которыми, представлялось вначале, он так безобразно рисовался.

— А вы не пробовали как-нибудь расстаться с вашими... — э-э... с вашим невольным сходством? — замялся я, стараясь чем-то помочь и вместе не оскорбить вспыльчивого горца. — Например, снять эти... вторичные признаки? Перейти на папиросы? Попробуйте и начните сначала. С чистого листа...

— Поздно, — вздохнул он. — Привык, как говорится. Втянулся. И потом — это! Это уже не исправишь. Нэ-эт!

Неопределенно, в табачном облаке, он повертел пальцами, вероятно, держа на примете свой легкий кавказский выговор, завораживающий женщин, и, действительно, приятный, как бы немного не отсюда, не с этой планеты. А мне за его

акцентом тем временем прошелестела тень другого человека, еще более уставшего от бремени любви, власти и славы. Тот ведь тоже втянулся и не вправе отвязаться ни от задумчивой люльки, ни от кондитерских усов, над которыми грешно потешаться, потому что, когда б и захотел, он сбрить уже не может. Не человек — портрет. Как тяжело, наверное, превратиться в собственный портрет при жизни и делать все, что предписано обожателями небожителю. Как это горемычное блюдечко, бегающее раболепно по кругу под влиянием наших пальцев. Вызывают Наполеона — изволь быть Наполеоном. Мечтают — Сталина? Получайте — Сталина. Кто им вертит? Может быть, мы сами, мы сами, не замечая того, только и ждем и просим, чтобы он кого-нибудь из нас убивал периодически для поддержания портретного сходства. Попробуй он быть добрым — мы бы всполошились. Мы бы разуверились в истинности образа. Нам это надо? Не ему, а нам?!..

И чтобы уйти от вопроса, легкомысленно спросил:

— А где теперь эта интересная особа?

— В Склифосовского, — ответил он спокойно, как если бы знал наперед, о чем его спросят. — Угодила под машину. Вчера ночью. Не выживет.

Он грустно потупился. И, словно читая мои мысли, развел руками.

— Сердце не выдержало. — Он показал, где у него сердце. — Теперь не воротишь, нет...

И какое-то еще слово, проглоченное, мне слышалось или, возможно, само домыслилось, докатилось: "доложил"? "отомстил"? "замочил"?.. Я так и не понял.

Он взялся, было, обглаживать еще какую-то косточку из числа своих прихожанок. Мне было не до них. Я поспешил убратся из курилки к моим книгам. Стоит ли объяснять, что лезгина с этого дня в Ленинской библиотеке как волной смыло? Может быть, тоже, по цепочке, угораздил под грузовик. Или — арестован. А может, попросту говоря, побоялся, что я или кто-то другой, из посвященных, на него донесет, и уехал, подальше от риска, искать счастье, куда-нибудь на Кавказ. Во всяком случае меня после нашего разговора он все-таки не заложил, как сделал это, боюсь, со своей пылкой блондинкой...

”... А Господь все еще сидел на своем голубом престоле. По бокам стояли — Пресвятая Богоматерь, с цветком, да Иоанн Креститель, с отрубленной головой на подносе, которую цепко держал в руках, как вещественное доказательство. Такова композиция...”

Изобразим ее вычурно, стильно, как подобает Изуграфу. Не будем, однако, задаваться непосильной для нас и соблазнительной попыткой представить натурально, воочию, тот Горний Свет, который созерцали с земли одни святые отцы и молитвенники наши, а нам, по неразумию, поймать бы разве что отблеск в мутном, закопченном стекле, упавший мысленно с неба в сей дебелий мир. Зеркалом в таком разе нам послужит, я полагаю, читательский затылок с его оборотной, вогнутой стороны. Вогнутой? А что вы хотите — прямое Зеркало неба? У меня его нет. Лучи, однако, нестерпи-

мо бьют правде в глаза и, проходя сквозь всю мозговую путаницу сосудов, достигают наконец затененного экрана, на задней, повторяю, бесправной стороне вопроса. Пусть так, пусть искаженно, но кое-что в бинокль, в телескоп, при известном напряжении, еще возможно разглядеть?

”... Плыла вечность. Струились звезды под Божьим Троном, направляясь по своим боевым постам и заданиям. Где-то внизу, в итоге, уже произошла, вероятно, своя великая октябрьская социалистическая революция. Умер Сталин. Потом — Ленин. Сто тысяч раз в минуту слали уже люди запрос, почему не вмешаются сверху, не наведут порядок. Куда смотрит Начальство? А Господь все сидел на своем золотом стуле и думал. Рядом, по обе стороны, стояли Иоанн Предтеча с обезглавленной головой, держа ее перед собою на блюде, и Пречистая Богоматерь, с вопросительно изогнутым знаком Цветка в протянутой к Престолу руке. Было тихо. Лишь по временам Пречистая сокрушенно вздыхала. Так прошло, наверное, с полчаса...”

Когда ведут на допрос — молишься Богородице. Богородица Дево, радуйся. Благодатная Мария, Господь с Тобою... Я много спрашивал себя, ходя по тем коридорам: отчего же Пресвятой Богородице непременно — неслышно, непредсказуемо — льется из души молитва? И ведь ни о чем не просишь. Нет, просишь, конечно, — но уже не за себя. Беда иная приблизилась, тяжелейшая во сто крат. За тобой, на воле, еще два-три-четыре причастных

к тебе лица. До них-то и добираются, дьяволы, таская на допросы. Двух как будто удалось скрыть до поры... Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего... Ведь если так дело пойдет дальше, они всех, всех до единого, весь род человеческий, по цепочке, выведут на промокашку, в машину адскую. Сохрани, Господь, остальных! Яко Спаса родила душ наших... Ну а как всех возьмут, думаешь, на худой конец, все человечество, под корень и под контроль?! До Нее-то не доберутся! Одна Богоматерь останется свидетелем за всех нас — и адвокатом — на небесах. Радуйся, Дева Непорочная! Недоступная врагу. Пусть Она — Одна — спасется и воссияет, Царица Небесная! Уже спокойно. Значит, и мы, грешные, не зря куковали здесь на земле...

"... Вострепетала Матерь наша и обратила к Престолу узкие, как ступни, ладони. И выпал цвет-лютик у Нея из лилейных рук. И вырос новый, еще более гибкий, цветок-ландыш — у Троеручицы.

— Сыне! — вымолвила, — пощади род православный. Пошли им Передачу с неба. Оливковую ветвь. Пошто эти казни, и войны, и моры, и глады, и трусы? Доколе?..

Сдвинул тут Иисус Христос выпуклые, будто у гориллы, надбровья, и не прошло двадцати минут, как сказал Пантократор, точно отрезал:

— Еще не время!.."

Что есть и может быть в мире непостижимее Христа? Сказавшего: есть Ад! И — нету Ада! Ото

всего отвернулся, всех приял. Какие пределы нам поставил? — попробуйте вместить, исполнить. Простить блудницу — кто бросит камень? И каждого наказать, кто раз хоть — в мыслях своих?.. Но мы не верим Богу, мы Богу не доверяем, поглядывая из своего уголка. Теряя душу, надеемся, что Господь ее подберет и успокоит. Взятки даем. Взятки! Нужна ему ваша цаца! Да у него, быть может, твоя настоящая, первоначальная душа лежит на полке, до срока, как алмаз у ростовщика. Вот умрешь — тогда покажут: кем бы ты был на самом деле, когда бы не орал: "Я!", "я!"... Носимся, как с писаной торбой, кричим, рвемся понять. Пока не схватит Господь кого-нибудь за волосы, не вдунет в уши, и тот, осененный, не побежит благовестить: Он с вами! с нами! Смотрите, людие, Он более вы, чем вы себя создаете. И любит вас больше, чем вы сами себя любите... Видите? — весы, часы. Пять секунд. Четыре. Три. Две... — Старт! — кричу я, просяпаясь. — Старт! — Ничего похожего.

"— Еще не время! — отвечивал Вседержитель, восседая на пурпуровом Троне. И, не повернув головы, оборотился к Иоанну. Дескать, а ты, Иоанн, как и что — на сей счет? Тот заквакал с Тарелки:

— Так им и надо! Туда и дорога! Закоснели во грехе. Табак пьют. Зелье курят. Иные бесстыдники уже бороды сбривать помышляют — до голой рожи, по-заграничному, на дамский образ. Не ведают, супостаты, что до петровской-то реформы и столетия не прошло, ехать и ехать... Третьеводни, Господь, возьми на заметку, опять невинного младен-

ца задрали. Может, царского сына, — нет еще точных сведений — может, праведного своего и законного государя? Опять пустили историю само-теком под колеса. Крести их, казни, Спаситель, мечом и огнем! Они равно как тараканы...

Но покосился — снизу, одним глазом — на Богоматерь и смягчился Предтеча. Поковырял истощенным пальцем свою усекновенную голову.

— Впрочем, — добавляет, — я не против. По мне хоть и помиловать..."

Я не знаю. Если наша история не сплошной свальный грех, как было бы это в действительности, забудь Бог человека наедине с другими людьми, если это не свалка людей, но художественное в своем роде изделие, столь же хитроумно и затейливо устроенное, как естественная природа, то, вероятно, и к нему, к нашему земному развитию, приложил и прикладывает время от времени ладонь сам Господь. Как это делается, куда прикладывает? — мы не знаем и не надо знать. А то, что-то "поняв", мы опять все потеряем...

История, я убежден, действует не сама по себе. Не по каким-то своим независимым законам и каналам. Но под присмотром — увы, не всегда доброжелательным. И сверху, с неба, и снизу, из-под сцены, отовсюду, со всех сторон, бьют прожектора, сходясь и перекрещиваясь в заживо светящейся, сгорающей точке: "се — человек!" Один смотрит с любовью, другой со злорадством, третий — от людей (посредственность) — просто констатация факта: "се — человек". Не скрыться. Злишься. Чего уставились на меня, маски? Спросите аиста,

обезьяну, слона. Выставили на позорище: "Человек!", "человек!" Эка невидаль. Надоело. Да я и не хочу, не могу быть человеком. Не-ет, смеются: "се — человек!.." Посреди растений, камней: се — человек. Не ангел и не зверь, не птица и не рыба. Куда ни кинься — смешной, жалкий, грешный, последний — человек. Плач и хохот. До смерти доберешься. Восстанешь: "Верю в Бога Единого! Чаю воскресения мертвых!" Исчерпано: "се — человек". Не понять хочу. Ни вырваться из гибели. Но как, скажите, совокупить и перенести этот крест на спине: "Се — человек"?..

"... Мыслилось, при словах Иоанна — подыметсЯ с кивота Господь и возгласит: — Довольно! Терпению Моему конец! Чего они дразнятся, проказничают? Сотрем — и создадим новый. Весь мир насилия мы разрушим. Ох, и болят Мои пробитые в четырех местах Ручки и Ножки! Видать к непогоде.

Но склонила Заступница свою покорную голову и оросила мир слезами с голубиное яйцо. Пролился майский ливень над городом Путивлем, над городом Москвой и над городом Калугой. Выпал снег в Архангельске. Град ударил по Новгороду. Даже в городе Лондоне пал о ту пору туман. И только в Южной Америке светило южно-американское солнце. Не стерпела Царица Небесная — ясно так произнесла: — Смилуйся, Господине! Приставь Руку Свою матери убиенного отрока. Бьется она, Мария, о сыру землю в Угличе. Зовет Тебя в судьи, Меня во свидетели. Верит, как Я верила: жив сын и не умер Бог! Верни ей, непри-

кайной, хотя на время, царевича. Пусть возрадуется. Покажи маловерам силу материнской слезы...

Глянул на Нее умильно Господь наш Иисус Христос. — Успокойтесь, — сказал, и Сам чуть не заплакал. — Успокойтесь, Пречистая Наша Родительница и вечная Подательница человеческому роду. Сделаю — как Ты просишь. Да что толку?.. Воскреснет ее недостойный сын и замутит Россию. Многие, ох, и многие крови прольются из-за той дитяти... Видать, к непогоде.

Они — умолкли: Иисус Христос на кипарисовом сидении и, стоящие по обе руки от Него, Богородица с Иоанном Предтечей. Замерли на многие годы, если не на века. И даже глаз в тарелке, которую не выпускал из цепких пальцев обезглавленный Иоанн, подернулся мутной пленкой, будто у засыпающей ящерицы..."



Итак, мы начинаем бегущий
траву собою... А сколько сил
N1



Глава пятая.

ВО ЧРЕВЕ КИТОВОМ

На выщербленных плитах Ассирии львы рычали, издыхая, с достоверностью человеческой речи. А люди, будто куклы, с непроницаемостью таранов, в профиль, нога в ногу, напряженными шарнирами мышц, под грохот барабанов, дивизиями, шли и шли, решительно не сдвигаясь с камня. Возможно, то не люди, а боги, я засомневался, — настолько они

были возведены в сан, абстрагированы в ритуале от нашего естества и сознания, — когда бы снизу, вторым ярусом, в каменных выкрутасах реки, по Ефрату, не плыли, перекувыркиваясь, раскромсанные мясниками тела и прожорливые рыбы не клевали бы торопливо отрубленные ноги и головы тех, что шли верхом, а теперь, посреди камней, тонули, начиная с потопа, включая нас с вами, по течению барельефов, лучников, царей, богов и танцовщиц. Дело было смерти подытожить прохождение сонмов, от Ноя до посрамленного в последнем остервенении льва. И львиный рык нависал стеной, венцом истории, оглашая зрелище планомерно торжествующей смерти, в разных позах, со знанием дела, переживаемой натурально агонии, доставлявшей, очевидно, охотникам высочайшее наслаждение. Следом и мы, на привязи, в сухом рисунке конвульсий, вплетаемся в чужую среду неподкупных стражей и стрелочников, в нацию профессиональных карателей — да сгинет, да истребится вовек неистовое семя! — когда бы вниз по реке мы сами уже не плыли обезображенными телами и не шли стенкой на стенку в церемонии царедворцев, когда бы не эти огнедышащие львы, издыхавшие как мы и у нас перед глазами. Здесь, над этой ареной, допустимо заподозрить, что только на смертном одре человек поймет человека, и льва, и всякую тварь в нетях, поскольку движение времени нелицеприятно, безжалостно, охватывая мимоходом и вас, и тех, кто сошел со сцены пять тысячелетий назад, и этого оставленного нам в назидание медленно околевать зверя, извергающего проклятья каменному пото-

ку истории...

Единственное сочувствие в ассирийских рельефах возбуждали у меня умирающие львы с парализованными предательским ударом копья когтями, закрепленными на камне раз и навсегда. Особенно — одна львица. Сраженная стрелами в спину, с перебитым у крестца позвоночником, она, исходя кровью, изрыгала богохульства на все это победное шествие бородатых прохиндеев. Смерть вы лицезреете здесь. Смерть это и есть реализм, без покровов и балдахин, под которыми возносят на небо непробиваемых царей, пока те сами не сверзятся, по образу льва, в преисподнюю, с отнявшимися задними лапами, с негодующим, кровавым пламенем изо рта — по всем этажам немилосердной вселенной. Исчадь. Проклятье. О, потоп Истории, пускающий нас водопадом по камням Месопотамии! Бренность времен и вечность камней...

Позднее, в Британском Музее, узнал я и возрадовался: наши скрижали! Словно родных встретил. С детства. По снимкам, конечно. По слепкам. И город Лондон отныне не называю без титула — *город*. Будь благословен, город Лондон! Ты укрыл эти полчища в своих вместительных недрах! Подумать только: где Ашшурбанипал? Хаммурапи? В Англии? В британском заглавнике? — Да, это мог бы понять один С.! Один С.!" — бормочу я горестно, будто о какой-то утрате, хотя не мне, вероятно, оплакивать друга юности, не мне возлагать цветы на его раннюю могилу. Но связь его с Ассирией для меня бесспорна, как, впрочем, и с временем, о котором речь, с искусством и спиритиз-

мом. С вызыванием теней на очную ставку. С тюрьмой.

Кого ни коснусь, среди друзей и знакомых, разнообразно одаренных, он один встает передо мной воистину прирожденным художником. Художником жизни, быть может, к моему ужасу. Но — художником. Что называется, "ab incunabulis", "ab initio", "ab ovo" (с колыбели, с начала, с самого начала, с яйца). Мы с ним учились в одном классе "А", со 2-го по 8-ой, и много спорили в отрочестве, откуда берутся на свете способности и таланты. От рождения, как требовал он, не колеблясь, дерзновенно утверждая себя? Или, как мнилось мне, жизненным нелегким путем, равно открытым для всех трудящихся, с помощью упорной работы? И он оказался прав. Вопреки моей критике, основанной на Писареве, которым я упивался в 5-ом классе, на чистейших социологических выкладках, сколько я ни работал над собой, первенцем от рождения был он, Сережа.

В школьной, веснушчатой россыпи он выглядел сердоликом, не нуждающимся в шлифовке и ждавшим лишь с годами подобающей оправы. Лишен был начисто вульгарного чувства товарищества. Учился независимо, в отличие от меня. И на уроках рисовал в тетрадках рыцарей на конях и в доспехах, по романам "Айвенго" и "Квентин Дорвард" Вальтер-Скотта. Манера Густава Доре ему хорошо давалась. Писал превосходные, с одиннадцатилетнего возраста, изысканные стихи. Эти опыты и теперь можно было бы обнародовать, в принципе, отдельным, ароматным изданием, подобно "Жемчугам" Гумилева, в тисненном перепле-

те, которые, перемежая Багрицким, он с толком смаковал.

На полярных морях и на южных
Шелестят паруса кораблей...

И сам изображал грудастые фрегаты, со знанием штриха... Но, главное, он унаследовал, как родовое поместье, новую европейскую живопись с еще не выветрившимися в Москве по тем временам импрессионистами, Сезанном, Гогеном, к чему и меня, неопита, из бурлацких передвижников, торжественно приобщил, заставил вдохнуть и пригубить, отбросив стыд, топорщившееся разозленным ежом, не похожее ни на что полотно, которое поистине ближе к солнечному источнику, к воздуху, к пахучему мазку, чем старые клячи и дроги нашей черной Третьяковки. Да и как было, скажите, не поддаться соблазну еще не приконченного ударом правительства Щукинского собрания, где в пустых, гостеприимных залах, на Пречистенке, можно было часами бродить вокруг да около загадочного, полузапретного творчества, повторяя, как заповедь, как заклинание от чорта, пронзительные строки храброго моего наставника?

Клод Монэ и Дегас,
Вы живете во мне, не старея.
Эту песню для вас
Написал я в тиши галереи.
Вы смотрели со стен
Удивительно *та-та* и сухо,
Таитянин Гоген
И безумец, отрезавший ухо...

Потрясающе! Безумец, отрезавший ухо, вдруг оказывался Ван-Гогом. И это сочинял, уверяю вас, подросток, пятиклассник, служивший мне Вергилием по галереям, научавший распознавать, что зеленые полосы на небе, вдоль холста, импровизируют дождь по Ван-Гогу, а жгучее, полдневное солнце, непосильное нашему зрению, допустимо припечатать запекшимся кружком. Мы шли к Матиссу... Но этого мало. Он провел меня по Египту, сквозь Ассирию и Вавилон, впервые указав на камне издыхающего льва, отчего и сегодня, над этой знойной плитой, я поминаю его с благодарным содроганием...

Тоньше, чем С., никто не ценил в ту пору и никто так глубоко не носил в груди эти редкие изделия. Я спешил за ним. Смазливый, акмеистического типа мальчик, немного чопорный, конечно, из достаточной еврейской семьи, он был бы, возможно, моим кумиром, если б я осмелился когда-либо полностью ему доверять. Невольно он приковывал к себе капризной эрудицией, оригинальностью взгляда, безупречностью вкуса, — но и только. Другого ему от природы не было дано. Он мыслил ювелиром.

— Ты — посмотри! — ткнул он меня носом в какую-то музейную ложечку, действительно приятную, адекватную по форме. Мне послышалось, он говорит с несвойственной ему обычно горячностью. Даже нечто пифическое мелькнуло в озаренном лице. — Да смотри же ты!.. Видишь? Видишь?.. Ничего не хочу от жизни, ничего другого. Создать вот такую ложку... — В уголках губ у него пузырилась волшебная пена, брызгая цитатой на

коралловые острова: "Так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабантских манжет..." — Одну чайную ложечку! Но так, чтоб она — осталась...

Я не понял. Одну ложечку? За всю жизнь?!.. Подонок-вундеркинд, он бредил совершенством. Погодок, он был старше меня на три тысячелетия. Ну и сидел бы со своей золотой ложкой! Эстет... Постойте. Почему я ругаюсь? Дайте разобраться. Где пролегла граница? На чем мы не поладили?..

Наверстывая упущенное, я перешагивал моря. Так случается в молодости, когда мы растем и не хотим остановиться. Что там импрессионизм, Египет! Против его Гумилева, к войне, я имел в кармане Владимира Маяковского с начатками футуризма и Хлебникова, перед которыми вожатый явно пасовал. Ему претила грубость в искусстве. Ломанный стих. Продранный холст. Правда, позднее, студентом, он увлекся ранним Сельвинским. Но тогда уже вместо Гогена мне голову кружил Пикассо...

Это было, я бы сказал, состязание в авангарде — нет, в запрягивании под партой двух смышленных школяров, посреди надвигавшегося армадой, бравшего реванш назидательного дерьма. Мы бежали, кто быстрее, от невыносимой похвальбы и скучищи приказчиьего консервативного стиля. С. помог мне избавиться от реализма, от Писарева, от пользы, от высокой идейности и дидактики в эстетике. Я ему обязан. Дальше, однако, наши взгляды расходились, сойдясь на самодостаточной форме, как точке отсчета. Но не здесь же, не в ренуарах вкусовых извращений, не в акмеизме-фу-

туризме, тлела трещина? И не в политике, не в социальном различии? Все это менялось, выплетало с возрастом, отступая на задний план. Но мы дружили с поскрипываньем...

В детстве ко мне, плебею, он благоволил с иронией ушедшего вперед в умственном развитии сноба, прилежащего силой рождения к промышленно-интеллектуальной элите, которую, впрочем, и в грош не ставил. Родителей своих, казалось, демонстративно не любил. Сословные привилегии его не обременяли, он рос обособленно, самоуглубленно, свободный от кастовых и национальных предрассудков, что не мешало ему при случае от всей души потешаться над моим русским вихром и залатанными штанами. Просто это было смешно. Я не обижался. Насмешки высокородных, богатых нас не роняют, покуда мы не держим на сердце собственной ущербности. Мы сами с усами! К тому же после войны, не успев опериться, С. потерял отца с матерью и как-то разом обнищал, задолжал и жил тяжело, наравне со всеми, не по классовому ленд-лизу. Евреев прижимали. Сталин достиг зенита. Помаргивали слепые зарницы дела врачей-убийц. Тогда-то его наблюдательность и врожденное острословие над двусмысленностью вещей нашли выход. Об этом сказано у него, как всегда прекрасно, стихами.

Мудрецы-гинекологи, розовый свет потушив,
Ловят "Голос Америки" в жаркие сети пижам...

И дальше, дальше по строчкам, с ассирийскими полками, с генералами — на свалку!

Ты дошел до черты.

Оглянись на вечернем снегу:

Тяжек хлопьев полет на бетонные струны
трибун...

Ах, если бы все это оставалось на бумаге! Нас губит не искусство, но связь искусства с действительностью. Высокое созерцание собственной низости. Со стороны. Объективно. Что значит: "до черты"? Я-то знаю. В черте у него крылось предательство. Святотатство. Черная магия. А всем нравилось: как написано! Как это мужественно, категорично звучит — дойти до черты!..

Он умудрялся и стихи писать так, как если бы, раздваиваясь на своего однофамильца, совершал геройские подвиги с артистической решительностью. И, право, ему вы не отказали бы в артистизме. Нельзя отказать. Совершал-таки там, где была щель. Хоть малейшая зацепка. Золотил пиллю. Переводил эстетику в практику, и дело клеилось. Или обратно. Какая разница? Стихи-то самоценны. Едины с личностью. Проглатывали близкие. Мне повезло выплюнуть стрелу. Но к тому часу я знал его наизусть, как облупленного. Другие попадались, напрашивались. Еще бы! Аллитерация!..

Нанеся удар, обтирая шпагу, он оценивал положение трезво. Весело. Любовался. Взывал к жалости в себе, к состраданию, и, не слыша отзыва, не нашарив изъяна, ликовал. По ту, мол, сторону добра и зла, приятель. Божественно. Поверх барьеров. По мелочам, о которых дальше (в них-то весь цимес), — вершил. Красиво, с амбицией труса, переступившего черту. Заратустра. Законопатил,

по всем сыскным правилам, двух друзей, двух доверчивых оленей из родного говенного кодла, заготовленного на убой, — все равно им не вернуться назад, будь спокоен, — и очнулся, подхваченный восторгом какого-то потустороннего опыта.

Ночь, бормочет, на всем протяжении истории — ночь. Никто не узнаёт, не углядит за снегом. Ты совершил тягчайший грех, только что, а некому поведать. Жаль. Душа, как блядь, холодна. И ты один. Оглянись: "Тяжек хлопьев полет на бетонные струны трибун..." Какая огласовка! Небось, влюбились в талант, сверкавший — всегда сверкавший — на грани дозволенного, в провалах земли и неба, немеркнувший, недоступный. Как это, в прожекторах, над Верховным Домом Советов, над куполом, на чугунном ветру, комариное знамя, налившееся красным. И не знали? Нате! Получайте, недоумки, лелеянный с детства, от рождения, сердолик. Сколько им врежут? Десять? Пятнадцать? Вдруг выберутся из пекла?.. "— Как ты мог, Сережа?! — причитала другиня через много лет. — Нет, как ты мог?" Заламывала руки. Раньше-то всегда выгораживала. А тут — какое столетье на дворе? — спохватилась зайчиха. Да и П-ские, и Ц-маны, и Л-зоны отрицали. "— Когда б Сережка работал осведомителем, он бы меня давно продал. Что ему стоило! Я ему такое, такое городил!.." Он все поборол. Подбородок. Волевое, копьём, лицо, от Гумилева. Истинный ассириец. Бронзовый, немного у коршуна, нос. Багрицкий. Очки. Глазницы. Круглые бедра. Объемистый таз. Коротенькие ножи. Миниатюрные ступни (детский размер ботинка). Все, что требуется от мужчины, от женщины, — он

все совмещал. Андрогин. Но зачем же, спросим себя, каждого закладывать? Пускай живут, размножаются. Не подшиты еще к делу. Не пришлось еще ко двору. А мог бы, между прочим. Его побаивался кое-кто. Осторожничал. Свобода выбора. Владеть сердцами друзей и ничего не делать, созерцать, пока не скомандуют, сознавая, что захотел бы, так и стер любого с лица, но ты не хочешь, длишь, благородно даришь себя и даже ценишь вассалов, дорожающих твоим талантом и не знающих, какие мечи и крылья сошлись уже над ними. Какие ангелы над нами!..

— Как ты мог, Сережа?!” А что такого? Вы не могли, а вот он — посмел. Переступи, говорил, запрет, шагни и ты увидишь. Ему и ветер в зад. Самурай. Читайте. В стихах дрожащий ницшеанец переживал катарсис. Спускал в трусы со страха и любопытствовал, изучал окружающее. Всю нашу подколодную и язвительную жизнь. Покойник. Не подозревая о том. Выбалтывал. Подбадривал себя. Обнажившись, анализировал, выискивал душу, а где она, кто скажет? — душа просвистывалась, — и, не находя, вдохновлялся: ”Ты дошел до черты. Оглянись...” И действительно — картина...

Из себя, говорят, не выпрыгнешь. Точно так же не выпрыгнуть нам из стиля, из действительности, из отмеренного отрезка пути, куда нас приколола, как бабочку под стекло, история. От себя не убежать, говорят. Но можно отстраниться, опомниться, взглянув другим, удивленным взглядом на то, куда ты приколот — не местом только и временем рождения, но сердцем, до конца дней. Мою эпоху я вижу в образах густой-густой авгу-

стовской ночи. Она опустилась на голову нам не сегодня и не вчера, а еще где-то в неолите — звездным, метеоритным дождем на кремнистую, кремлевскую землю. И каждый падающий, играющий в горнем небе кристалл о себе говорил: "сталин", "киров", "гитлер", "жданов"...

Я не доберусь до главного, до начатка рассказа, но стараюсь, карабкаюсь, задерживаясь по дороге, на отрогах Пиренеев. Да, здесь, во Франции, представилась и разверзлась перед нами пещера, дай вам Бог какая — каменного века. "Пещера покалеченных" или, как еще их называют иногда, — "Пещера отрубленных рук". Ничего не понял. Грот — как самая обыкновенная тропочка со ступеньками на склоне. А потом — вниз. У предков, у предела Пиренеев сподобил Господь в конце — у начала, ну конечно, я подозревал, найдется она когда-нибудь, так что не одолеешь, не надейся, не пользуйся — не изобразить, но все же не думал, долбил лбом, но не был и не видел. Но. И мы вошли.

К вечеру уже мы проникли в скудоумный тайник, неважно, что ползком, в подкоп, с общей толпой, с гидом, без которого не пройти по лабиринтам, один за другим, ощупью, по звонку, мы вошли и вышли, — неважно. Заранее боясь и приготавливаясь к тому, что нас ожидает, я все же недочел и ужаснулся обозначенному въяве, и обомлел: — Какая! До потолка! Недоставало одного — увидеть. Но требовалось дальше, увидев, связать с чем-то, сравнить, чтобы понять, но выскальзывало, не удавалось, и я, освирепев, вместе со всеми полез под землю, в пропасть, до скончания веков.

Ну, думаю, ты у меня увидишь! Но увидел не я, а она... Но.

Стоя твердо, на двух ногах, как человек, — я вошел, как полагается. Я вошел, а она обрадовалась и пошла, и повела, взяв за руку. Раздалась, и тронулась, и потекла, и потянулась, пещера, вся из камня, как вода, свободно развываясь, что бы там ни было до и после, птицы или рыбы, не задумываясь о людях, о будущем.

— Над нами, — сказал проводник, — толщина в 170 метров, до поверхности!

Ничего себе! Страшно представить: над нами, надо мной — 170 метров камня! А все как в жизни. А она, между тем, великанша, опускалась глубже и вширь и мерила себя, в отсутствии всего, миллионами лет, медленно, образуя пустоты величиною с Европу, с ее разветвлениями, по которым уже никто не ходит, и, не умещаясь, наступала на ноги и шла дальше, к выходу, к воздуху где-нибудь, сделавшемуся входом, независимо от нее, — и мы вошли, троглодиты, трясаясь, обрастая шерстью от холода, в храм, впервые в жизни. Что же мы узрели тогда?.. Водопады камня, водопады камня, каменные водопады -- а вы и не знали? Вавилонские улитки, вкрученные вверх, до неба, двести метров, до каменного неба — каменными вавилонами. Говорят, все это сделала вода. Но спросим воду — зачем она это сделала? Спросим землю. Спросим Бога. Нет просвета. Девочка всплакнула на французском языке: — Мама, это — из снега? Так нет, какое там, не из снега, из камня выкованы эти залы, и церкви, и проспекты, не имеющие продолжения, эти карцеры и камеры,

уже переставшие течь и сами перед собой застывшие, остановившиеся в испуге, в изумлении, что из камня, а все еще текут. Завинченные сталактиты, за столько лет до тебя, вопиют к небу — раздвинься, скрытому под камнем, под тяжелым толчком, который вот-вот низойдет, раздавит, выплеснувшись павильонами, башнями, по которым мы ходим, глядим, ютясь под ледниками, как бы не обвалилось, покуда не вспомним, что вот этот, именно этот потолок, опускаясь на череп делает из обезьяны квадрат, с которым мы и ходим, на голове у человека.

Как молот каплет вода. Дно перетасовано следами бронтозавров. В мозг. Куда? Все испорчено. С основания начиная. "— Спи, мой мальчик, и не думай..." Так уже и мамонта нет. А мы все еще ползаем. Того и гляди — осядет. Под каменным небом молимся. Как живоприимна, однако, эта найденная вода. В зайчике-фонарике замечаем отпечатки. У меня срабатывает: нет фотоаппарата. Да и снимать уже нельзя. Красные, белые, черные отпечатки, с обрубленными наполовину фалангами пальцев, растут и растут на стенах по мере того, как мы начинаем осваиваться. Здесь бы и остаться. Похоронить себя. Спасть... Так нет — лезешь наверх.

Первобытным человеком вылезаю из укрытия и, на честных четвереньках, смотрю в изумлении в небо. Бомбит. Ну и бомбит! Понимаю: пугают. Есть и другая жизнь на планетах. Но вся она — сквозь сетку каменного дождя, в клеточку: "сталин", "ленин", "гитлер", "жданов"... Эх, как загорелась, было, над нами звезда "Мао Цзе-дун"!

Какой кометой пронесся по небосводу "Фидель Кастро"!.. И нет уже. А те — за старое. Сколько можно под дождем? Привыкаешь. Успокаиваешь себя. Это у них, у богов, работа такая: бомбить, бомбардировать. Они без этого не могут. А ты живи под ними. Спросишь, бывало, жену из магазина: ну как там — бомбит? Только рукой махнет: лезь назад, старик, под крышу, под землю! ох, нонче и фугасят! езлик перед грибами...

— Под каким Зодиаком вы родились? — вопрошаем друг у друга участливо у камелька в землянке. — Под Стрельцом аль под Весаами? Какова у вас астрология, синьора? Или опять, как всегда, мне ответите непреклонно: — Скорпион?!..

Не говорю за других, но собственному гороскопу я не перестаю радоваться. Я родился пед созвездием: "Сталин—Киров—Жданов—Гитлер—Сталин". И ничего другого. Никаких там больших и малых медведиц. Само тысячелетнее солнце — "Ленин", усохнув, сделалось едва заметной, беззлойной звездочкой октябренька. "Сталин", в соцветии ("молотов", "каганович"), сиял во весь горизонт и загадочно усмехался. И с ним, как огненный обруч, тайна, усатая Тайна, простиралась над нами в ту романтическую ночь. Мы пережили великое, незабываемое искушение — чудом. Лишь один Антихрист впереди сулит нам что-то в этом роде, еще более занимательное. Что власть без тайны, без чуда? — Механическая сила, и не более того... И в том прошивании каменного неба шелковым, звездным узором, в сотворении потустороннего сумрака истории — Госбезопасность (всегда на страже), уверяю вас, играла не последнюю роль...

Сейчас нелепо предъявлять претензии энтузиастам и романтикам политического доноса. Массам. Народу. Павлику Морозову. Верили. Рыдали, но верили. Рубили, не верили. "Тогда, плача и плача, он отрубил ему голову", — вытаскивал С., похохатывая, японский средневековый роман о каком-то самурае. (И правда: как сказано!) Мы знали идеалистов чистой воды, высокой пробы, и добрых от природы людей, которые гордились бескорыстным доносом. Все шло в одном строю с обороной, с трудовым подвигом. БГТО. Здесь были, по зову партии, долга и совести, свои бесстрашные Чкаловы, перелетавшие Северный полюс ради восстановления истины, челюскинцы, папанинцы, бравшие Зимний дворец, сомнамбулы, вслепую идущие на таран, и твердые Александры Матросовы, заткнувшие грудью вражескую амбразуру. (По счастью, мой герой не из их числа...)

Блаженный Павлик Морозов ходил среди нас живцом, подобно бесплотному отроку с юродской картины Нестерова. Не его ли, несчастного брата, всплывающего ночами со дна лесного, светозарного озера, поджидала безутешно Аленушка на даче у Васнецова? Головка долу у заколотого цыпленка, а сам, как туман, прозрачен, водянист, иконописен, скарлатина. Блудливая улыбочка святости плачет, скисая, на страдальческих устах. Шейкис кажет кровожадное ожерелье, источает по капле, как из пипетки, чудотворный гной, ядовитую сукровицу невинности. Медицина. Пахнет поликлиникой. Хлоркой. Ладаном. Фиалками. Формалином. Слышать, замачивают трупё перед пасхой. Агнец. Ходит по полю стройной березкой и косы-

ми не глядит: умертвили. Годочков-то сколько божьему угоднику? А уже донес и воскрес! Вдумчивый историк с удивлением обнаружит всенародный героизм и отзывчивость в нетленном тельце маленького стахановца, замороженного, как Ленин в гробу, для вечной жизни. Всем пионерам пример и взрослым — Павлик Морозов!

Мы, дети, тянемся за ним, за призраком, не цепью стукачей, но в поисках приключений, с честной готовностью к жертвам разведчика в завтрашней войне. Рассматриваем на просвет бравые пионерские галстуки с вытканной где-то, по слухам, тайной свастикой, если растведать вредительские нити. Не видим. Старшие, из 7-го "Б", три свастики, говорят, обнаружили и вовремя предупредили измену, а нашему 5-му "А" с диверсантами не везет. Обычный, пресный кумач...

Одной только Людочке Ш. что-то померещилось. "— Вон! вон! — шепчет. — В середине! — визжит. — Фашистский знак! Вижу! Настоящий фашистский знак!" И как зарезанная: "—У-у-у, изверги!.."

Где? Бросаемся. Рвем из рук. Никаких стигматов. Расходятся нити, как пионеры, правильными отрядами, с фабрики, не складываясь ни в какой подобающий задаче сигнал. Ну ромб еще, в крайнем случае, можно рассмотреть. Равнобедренную трапецию. Пролетарский параллелограмм... Правда, если восстановить под прямым углом ту мыслимую линию, либо сбоку подвести к ней воображаемый короткий отрезок, то и вычертится, быть может, в рядах ткани тоненький, затерянный в собственной паутине зигзаг. Анаграмма. Триго-

нометрию, конечно, мы еще не проходили, а Людку уже трясет. В приступе гадливости едва не стошнило вредительницу. Вшивый номер, уныло резюмируют ребята. Мираж. В райком не доложишь. Не говоря об энкавэдэ. Никто не поверит. Все равно, спорит, не могу терпеть. Уйду с урока. У меня температура, аллергия. Смотрите — сыпь... И впрямь, представим, кому понравится носить на шее, вместо пионерского галстука, невидимую тифозную вошь? Ох бы — в комсомол!..

Назавтра еще новость. Будто бы на обложку ученических тетрадок в этом году, в графическое изображение Ленина вкрался вражеский лозунг, шпионский пароль. Стоит повернуть рисунок, и в неистощимой бородачке на щеке вам откроется внедренная кудрявым почерком надпись: *"Ленин — друг Троцкого"*. Откуда это взялось в голове? как связалось? — "Ленин" и "друг Троцкого"? Экая ахинея! Как мы ни мудрили, ни вертели на уроках злополучную голову, с какой стороны ни прикладывались к ней, в зашифрованных морщинках, волосиках, в сётчатой клетчатке ничего антинародного так и не нашлось. А другие пионеры, из 6-го "Б", уловили в лупу две бисерные буквицы — то ли "н", то ли "ц". Техника! Но чтобы дальше прочитать? Хоть вяжите под микроскопом. Попрытались биксы. Естественно: на дворе зима 38-го года...

Лишь много позже я начал догадываться, что в ленинской шпионской штриховке с прищуркой, действительно, таилось что-то подозрительное. Что-то, может быть, даже остро-троцкистское для жизни. Просто все эти кишевшие бактерии по сусекам в панике разбегались, переползая с одного на дру-

гое в поисках укрытия, и в итоге порою оказывались в самых неподходящих местах. Не зря светские дамы свою нижнюю растительность фамильярно, не без кокетства и греховодных аналогий, называли тогда "бородкой Троцкого". Но это уже потом растолковала мне по знакомству одна не старая еще генеральша. Сколько стоило труда! Дескать, не все так эстетично в жизни, миленький, как вам хотелось бы, и всюду вмешивается политика. Но если, спросим себя, враг отыскался где-то совсем поблизости, то почему его не было там, на бедной школьной скамье?..

Однако и в эту пору С. выделялся из всего класса какими-то замысловатыми поворотами ума. Был аполитичен и, думаю, холоден к режиму. Презирал толпу. Не верил ни в чох, ни в сон. Я даже не помню точно, был ли он когда-нибудь пионером, как все дети, — настолько обычные формы казались ниже его достоинства. Как если бы с пленок, вне развития, он все постиг и носил при себе до срока, озадачивая меня решимостью иных побуждений.

Той же зимой мне посчастливилось впервые залучить в гости после школы моего бархатного мальчика и, подталкивая сзади, с осторожностью провести по нашему зловонному и скандальному коридору. Вы не забыли, разумеется, что значит для нас первый собственный гость в доме, начитанный и красивый принц из другого мира, в двенадцатилетнем возрасте? Мы важно рассуждали о превосходстве Ренуара над Шишкиным и Стендаля над Вальтер-Скоттом, выказывая каждый свои незаурядные познания, мама вышла на кухню по-

догреть нам вчерашний суп, когда С., как-то воробато оглядевшись, сделал стойку...

Прежде чем, однако, воспроизвести в натуре его нечестивый жест, давайте глазами прищельца я обведу нашу старую, коммунальную жилплощадь на Хлебном с ее казенной нищетой и закоренелой посредственностью, — все эти кастрюли, сковородки, пузырьки на подоконнике, фанерный гробик с посудой, руину гардероба, перестроенную под книги, с неструганными досками вместо полов, обернутыми бумагой, чтобы случаем не занозиться, квадратный обеденный стол под мыльной клеенкой, глупую, свисающую лампу с потолка, без абажура, сундук... В простенке, между окон, висел у нас, маминым старанием, Карл Маркс, в застекленной овальной раме, как подобает профессорам ушедшего столетия. Пониже Ленин, без стекла, выцветшей семейной реликвией, тянет с удовольствием бревно на трудовом субботнике. А сбоку, на голой стене, с недавних пор поселился Иосиф Виссарионович плакатного формата, с подогнутыми краями, приколотый кнопками к обоям, прямо так, на живульку, приветливым невозмутимым лицом.

Раньше там висела у нас "Золотая осень" Левитана, которую мама разжаловала, сменив свежим портретом из своей библиотеки, а "Золотую осень" свернула в трубку и унесла в отцовский подвал. С какой стати обнова? То ли в ответ на шпионские происки, участвовавшие в печати? В защиту от набегов соседей? В охрану и поддержание домашнего очага, такого непрочного, что вот-вот обвалится? Или, как старый политпросветчик,

не хотела отрываться с отцом-эсером от стремительного движения масс? Скорее, все вместе. Но не в том соль.

Едва с моим юным другом мы остались одни в комнате, он взвесил обстановку, мгновенно освоился и, не находя препятствий, поднял руку на Сталина. Да, буквально, вытянул указательный палец, в виде револьвера, медленно прицелился и вылепил мягкое "пу" губами, как производят малые дети в обозначение выстрела. И с торжеством, оценивающе, покосился на меня: дескать, что скажешь? какова ситуация?!.. Я молчал, подавленный неумным кощунством. Тогда он вторично пнул из пальца в безобидный плакат, наслаждаясь моим замешательством. "— Перестань дурачиться", — уныло протестовал я, не зная, по существу, что возразить на его шутовство и почему, собственно, оно меня так коробит?

Сталин, пользуясь уважением, не был иконой в нашем доме. Как, впрочем, и другие вожди, включая Маркса. Я воспитывался, хочу напомнить, в более ранней, утопической традиции, от отца, сколько мама ни пыталась связать прошлогодний снег с текущим моментом. Мне больше нравились Гарибальди, Джордано Бруно, Софья Перовская... Встававший в ту пору над горизонтом улыбающийся кавказец, сквозь сеть моего детства, расплывался желтоватым общепринятым пятном, не возбуждая личных эмоций. Кривил, негласно проскальзывало, дутым честолюбием, недостойным революции, но делал полезное дело по развитию страны и промышленности. Пусть себе висит... И все-таки этот глянцеви́тый лист на бесприютной

стене втайне меня раздражал и бередил рану, как, случается, смущает нас жизнерадостная маска на лице неизлечимо больного, — подчеркивая убожество и разящее безобразие комнаты в глазах моего гостя. Ее жалкая нагота впервые представилась мне с какой-то иной, постыдной стороны...

Понятно, невинный выстрел в бумажное наше прикрытие передразнивал диверсии, которыми пестрели газеты. Кто-то, казалось, стреляет из-за угла пальцем, а пойманных после расстреливают уже по-настоящему. Однако ни замысла, ни дерзкого покушения, пускай воображаемого, на вождя я в жесте С. не нашел. А так, пустая игра с глазу на глаз, без риска, с тем, во что не играют, — эстетика провокации, как я бы теперь обозначил этот предательский шаг, чувствуя в ту минуту лишь его недопустимость. "Убийца" — пронеслось в голове, хотя я видел, что все это не более, чем ребяческая забава. "Трусливый убийца..." Слова "провокация" я тогда еще не знал...

С. раскраснелся. Скинул сюртучок и посылал заряды, наводя свой пистолет уже и на дрожащий шкафчик, и на тощую, усыхавшую на тумбочке, тропическую пальму в углу — подарок мамы на мой день рождения. Им владело, я полагаю, сознание безнаказанности в пальбе по открывшемуся вдруг незащищенному пространству, по мерзости запустения в доме, о чем свидетельствовал лучше всего, наглядной агитацией, Сталин в качестве транспаранта, который легко простреливался. Он бил в чужую, широковежательную приниженность и бесталанность. Он метил в меня. Просто учуял, по-видимому, болевую точку и не мог остановиться...

Между тем С. не был шалуном, как другие мальчики в его переходном возрасте — изобретатели злостных подвохов и бесчисленных жестоких разыгрываний, цинических выходов, граничащих с пороховым взрывом, чем так нестерпима подчас детская слепая среда. Подобные кривляки и ганстеры, из самых, в том числе, добропорядочных семейств, водились и в нашем питомнике, предназначенном в основном, старанием дирекции, тогдашним столичным сливкам. Неугомонный фокусник и весельчак, Юра Красный умудрялся чернилами вымазать язык и, сплошь фиолетовый, высовывал педагогу, коль скоро тот заходил над кляксами пачкуна. Жевали на уроках бумагу братья-близнецы Гоберманы и шваркали с камчатки в отличников. Грозный Боба Вольф, тяжелый второгодник, похожий на раскормленного, породистого бычка, с целью исправления посаженный рядом со мной, за первую парту, изводил добрейшую Лидию Германовну, сдобненькую, сладенькую немку, плохо знавшую по-русски. На все ее инфинитивы Боба исподлобья, угрюмо твердил одно: "бляйбен буду, хир-хер, Лидия Германовна!" Та не понимала, что он хочет этим сказать.

— Bist du hier!

— Хир? — Хер!

Помнится, я упрекнул Бобу (он жаловал меня за то, что я давал ему списывать) : зачем же при девочках так неаккуратно выражаться? — что они могут подумать? Встал, громадина, в замшевой куртке на молниях, какие в Москве тогда еще не носили, единственный у нас в классе обладатель ручки "Паркер" с автоматическим пером, разбрызги-

вающим по толстым, кожаным блокнотам исключительно чертежи лишь одних локомотивов, свирепые экспрессы разных формаций, обвел присутствие мутным взглядом и так, чтобы все слышали: "— Разве это *девочки*? — спросил. — Это же коровы, а не *девочки*!" И сел на место. Но по тому, как он уважительно, с мужской хрипотцой, произнес "девочки", мы, притихнув, смекнули, что у Бобы за плечами, быть может, что-то посерьезнее вечной неуспеваемости и всей нашей высокопоставленной, образцовой школы. "Золотая молодежь"...

Нет, мой избранник был не из таких — оторви да брось — наглецов. Никогда не хулиганил, не баловался. Все эти юные гнусности к нему не прилипали. Корректный, сдержанный, с высокими запросами, в подогнанном у портного, интеллигентном костюмчике, он рисуется мне готовым эталоном, как это бывает у художественных натур, которые не ищут себя, а находят в оригинале, вместе со своими твореньями. Маленький по виду, но зрелый не по годам и респектабельный уже господин. В общих играх и драках участия не принимал, обходя стороной, из чувства брезгливости или эстетичности, очевидно, что было развито в нем невероятно, до крайности, до отвращения ко всему некрасивому, жалкому и смешному в нашей жизни. Быть может, именно этим объясняется один казус, который нас обескуражил и выставил вдруг С. в каком-то возмутительном духе.

Мы учились, если не ошибаюсь, уже в шестом, когда ни с того, ни с сего ему вздумалось мучить, доводя до слез, несчастного третьеклашку М.,

страдавшего заиканием. Поймает на перемене, соберет народ из дураков и давай имитировать — мычать, блять, гримасничать, как перед зеркалом, пока у бедняги не начнется настоящий припадок и тот не кинется с громким ревом на своего преследователя. Но что он мог, козявка, поделывать с великодержавным тираном, который крупнее его и старше в два раза, тем более, что С. избегал открытых схваток и, оттолкнув малыша, с озабоченным лицом шествовал себе дальше. Товарищи М. по классу жаловались нам через своего посла, и мы, всем коллективом, уговаривали собрата уняться, напирая на неэтичность и беспринципность его зарвавшегося азарта. Чудовищно: взрослый, образованный человек, благовоспитанный, тонкий, с печатью необычного, великого, может быть, предназначения в жизни, находил удовольствие в том, чтобы, словно какой-нибудь жлоб, дразнить исподтишка безответного больного ребенка! Глумиться над калекой?! Нет, это не по-честному, не по-комсомольски. Где твой, вообще, пионерский галстук? Почему не носишь?.. ”— Да что вы, ребята, серьезно? — он слабо сопротивлялся. — Я просто пошутил один раз. Что вы — дружеских шуток не понимаете? Элементарное чувство юмора? Ну ладно, больше не буду. Если вас так волнует. Клянусь...”

Но стоило ему повстречаться с неисправимым заикой где-нибудь на лестнице или на школьном дворе, как все снова начиналось. Пока Валя Качанов из параллельного класса, боксер, не объявил, что разобьет ему морду, если он не перестанет... И все кануло в Лету. Травой поросло. Дурная

вспышка мальчишеского, невразумительного сатанизма угасла, как и возникла в кой-то веки, внезапно, случайно, и, мне казалось, без последствий.

Но я ошибся. При всех достоинствах С. был феноменально труслив. Впрочем, это, с другой стороны, входило в его достоинства и ставило палки в колеса там, где игра таланта не ведала преград. Многое себе он просто не мог позволить. Берегся. С сильными мира сего задирались избегал. Для комедии, на потеху выставлял слабых. Запасливая оглядка, боюсь, его и подвела. Подчас, говорят, к предательству влекутся трусы. Реже, но тоже случается, им сопутствует поэзия. Но совсем уже в редкость, в невидаль: гений и злодейство. "Вещи несовместные". Так ли, однако? Никто не проверял.

С ним нужно было всегда держать ухо востро и требовалась твердость. Деланная, пускай показная способность к обороне. Тогда он отступал. Не дай Бог открыться перед ним в какой-нибудь червоточине, в сердечной ране, в крушении. Он впивался рефлекторно, порою во вред себе и своей увядающей с возрастом в приятельских кругах репутации. Что спросите с художника? Пожмет плечами. Не мог удержаться. Призвание.

Я ему прямо сказал, когда запахло скипидаром: "— Если меня посадишь — мы сядем вместе. Учти!" "— Ну что ты, — поспешил он заверить, — какой разговор?! И потом, ты же знаешь, мы на одной веревочке..." И ведь не обиделся, не возмутился, бестия. Сильным быть ему льстило. Знал бы, что нету веревочки, — не преминул бы сквитаться, и не из мести, не из корысти, ручаюсь. Не

из какой-нибудь высокой, слава Господу, революционной идеи, которую уже ничем не остановишь. По ощущению уязвимости в ближнем. Физиологически. Сюда и вонзить! Просто выпустил бы жало, не рассуждая. Как тарантул. Талантлив был. Гениален, вражина.

Шантаж, вы скажете? Согласен. Каюсь. Но чем еще, посоветуйте, оградиться от убийцы? Одно спасение — трус!.. Спустя пятнадцать лет и по другому уже поводу, Марья посулила: "— Помни, Сереженька, если с Синявским что-нибудь случится, — я тебя убью!" Буквально, молотком пристукнет паразита. Ножницами заперет, — пусть откроет только рот! Затрясло... Навряд ли ему что-нибудь угрожало, если рассуждать. Я, например, сомневаюсь. И в молотке, и в ножницах. Говорю себе спокойно: убийство — призвание трусов. Но С. поверил! Думал, поди, глотку перегрызет. В его воображении, в художественном мозгу, она все могла, фурия! И так уже распечатала на каждом перекрестке: доносчик. В какой дом ни войдешь... Он жил, как прокаженный. Слава предателя к нему наконец пришла. "— Клянусь!" — побелел. Что толку в его клятвах? Оттянуть — задача. Отвадить. До весны. До осени. До следующего года...

Не потому ли за две недели до нашего с Даниэлем ареста он скрылся из Москвы? Отвалил, как говорится, в глубинку. "— Какого человека затравили!" — шипел следователь. Я выказал удивление: "— Какого человека? Кто затравил?.." "— Молчите! Нам все известно!.." Ничего им неизвестно. Но если по-честному: не затравили — обезвредили. И то, по-видимому, частично. Временно.

С опозданием. Серьезных секретов, конечно, ему и раньше не открывали. Не тот мальчик. Но кое-какие улики вертелись и зудели у него на языке. Успел ли он ужалить напоследок? — не знаю. Я досе в руках не держал. Оперативные материалы не показывают арестанту. К тому же, заметно по всему, его берегли после старого провала. Старались обелить. Сбагрить с глаз подальше. Исчез. Одно известно: исчез. Чем все это еще кончится?..

Ведут на допрос — молишься Богородице... Потом я много раз испытывал, перебивая себя: отчего же — Богородице? Не Богу и даже не Христу, а Матери Небесной? Ответа не нашел, и не надо нам ответов. Не должен человек понимать, куда и почему влечет его мольбой, так или по-другому. Доверься. Уймись. Насколько наша душа умнее и бесконечнее нас... Смотри по сторонам. Насколько Лефортово просторнее Лубянки. Как все здесь огромно и благоустроено в утробе. Объем. Выведут из камеры, голова кругом идет: этажи! этажи! Лабиринт. Внутри Вавилона многострунная, этажами завинченная, турникетами, — карусель. Инструмент. С колоссальным проемом, пролетом, колодцем — в переборках. Для обзора, что ли? Сквозь ребра. Костел, да и только. Перестроенный в Колизей. И сети повсюду, сети, вместо земли и неба. Как ангелы мы. Как в цирке. Ради страховки? Чтобы голову не разбил, если разбежаться и прыгнуть. Кто-то мне объяснял. Для гарантии, после Савинкова-де повесили. Не захотел сидеть, по суду, отмеренные десять лет и полетел. Поди проверь Икара. Может, крылья-то подрезали. Касаткой. Из окна. А сети всегда, испокон века, висели и висят,

чтобы не ушел от судьбы, не выскочил из тела раньше времени, пока всего не размотали...

Со мною, кажется, все ясно. И с Даниэлем — ясно. Как легко, как спокойно за одного себя отвечать. В крайнем случае за двоих. Ну а как дальше пойдут, вразнос, кувыркаться, налезая? Хорошо, между собою не связаны. Один про другого не знает. Для каждого, отдельно, я — "паровоз", на юридическом жаргоне. Возил, до станции, по одному вагону. Но, в общем-то, — поезд, цепочка. И если загремит паровоз, идет на свалку, вагон за вагоном, — состав. В крушение, под откос, никто не выпрыгнет. И как нам, падая, отцепить вагон от паровоза? Где тормоз?.. Допрос!.. Тормоз?.. Допрос!.. Плохо, тяжело быть "паровозом", Богородица...

Между тем, я не солгал, что не вмешиваюсь в политику. Литературы, искусства с меня хватало. У всякого своя специальность. За год до ареста, примерно, заявился к нам, на Хлебный, коллега. Молодой тогда, модный марксист-ревизионист и ныне тоже видный русит, и говорит: "— Давай, говорит, создадим свою "платформу" на марксистской базе. Соберемся. Составим список..." За мною уже вились по пятам терцовские и другие истории, и я честно сказал, что марксизмом не занимаюсь, политикой не интересуюсь... Что тут началось! "— Мы, — кричит, — пойдем по лагерям! А ты, ты, Андрей, будешь отсиживаться в башне из слоновой кости?!..."

Частенько я вспоминаю теперь преуспевающего коллегу. Вот она — Башня. Слоновая кость. От допроса к допросу. Оставь. Не думай. Забудь.

Насколько она пустынна, больница. Будто никто здесь и не сидит, и не сидел никогда. Неужто на нас двоих, на Даниэля и на меня, рассчитана эта громоздкая, сотканная из железа постройка, похожая на город в воздухе, на подвесные дома-города в будущем всемирном хозяйстве, как их рисовали в утопиях когда-то, в заманчивых инженерных проектах, по образу планет в солнечной системе, где на штырях, в октаэдрах, вращалась бы, в эндшпиле, интегрированная вселенная?.. Одна электроэнергия чего стоит! А персонал? На каждом зеке, почитай, десять тысяч аппаратов кормится. Лестницы, лестницы. И всем дай квартиру, детей определи и снова пристрой к месту! А где взять на всех? Незадача. И государство — разоряется. Если бы зеков хватало на душу населения, спасли бы страну от нищеты. А так, на всю паутину, две запутанные мухи. Им нужен враг, им необходимы враги — прокормиться. Без врагов они не могут. Кто будет, в противном случае, накачивать мышцы атланту, вздымающему на вытянутых руках к небесам весь этот улей, всю гибельную конструкцию, повисшую паутиной мостов, снастей, отсеков, как Чертово колесо в парке культуры и отдыха, как в Австрии, на Пратере, сады Семирамиды?..

Не подумайте, однако, что я худо отношусь к паукам. Сравнивают иногда государство с пауком, и напрасно. Ничего общего. Увидеть паука — сердечная примета: к письму. Ни писем, ни пауков вы не увидите в Лефортово. Все выметено, вычищено. И потом ведь не просто так, только чтобы полакомиться, он тянет бережно сеть где-нибудь под лест-

ницей, в чулане, за печкой, в углу, куда и попадают дуры-мухи. Да ведь не всякая и попадет. Мухи-дуры и не летают там, где орудует паук. Мухи летают, подобно истребителю МИГ, и не думают о заткавшемся от них подальше, в дохлую полутьму, созерцателе. Что им паутина? Пробьют. Что он — ловит момент, растягивая наудачу, где потемнее, поскромнее, свои трепетные сети? Не поверю. Всегда благоговейно: как он еще терпит? чем питается, отшельник? В пяти углах. В захолустье...

Боюсь, паук — скорее — поэт, музыкант. Неважно, что тишина: может быть, мы не слышим? Нити его похожи на струны арфы (ах, как все подобно всему). На нетях своих, на паутине он играет. Может, порою внушает какой-нибудь мошке: пойди — отдохни! Мне всегда было жаль сметать паутину в комнатах. Такая архитектурника! При том с литературным рассудком. Насекомые — поют, жужжат. А паук говорит: посиди на этих струнах. Забудься. Есть какая-то связь у паука с его постройкой и звуком. И то и другое воздушно. Вниз головой. Под углом. Траектория!.. Я никогда не убивал пауков.

Здесь тоже тишина. Ни голоса, ни стона. Может, мы просто не слышим. За полгода, почитай, ни единой души не встретил, какую бы вели, как меня, на допрос или с допроса. Может, здесь и нет никого. Недаром — Изолятор. Во избежание встреч, нечаянных пересечений с таким же, как ты, засаженным в пенал обитателем, ради неразглашения тайны и поддержания молчания, надзиратели между собой переговариваются руками, рисуя в воздухе свастики. Либо, на перекрестках, когда

ведут, цоканьем, чмоканьем, кваканьем, змеиным шипом, птичьим щебетанием, стуками ключа, в крайнем случае, по чугунным перилам, негромко, мелодично, отчего, кажется, общий баланс тишины лишь увеличивается и пространство вырастает, раскачивается... На железных мостках — ковровые дорожки: шаги бесшумны. Чу! Позади, впереди: "— Цы-цы-цы!.. Фью-пью!.. Хрм! — ххх-рр-мм!.. С-с-с-с!.." Странно первое время. Дико. Почему бы, спрашиваешь, им по-людски не объясняться со своими? Дескать, встречный, обожди, дай дорогу, пока мы пройдем! Объясняются же они со мной минимальными словами: "не оборачиваться", "руки назад" — всегда, правда, напряженным, зловещим, до свистящего бешенства, шепотом. Чтобы, видимо, отрезать от жизни, ввергнуть в предвечные, загробные законы безмолвия, в согласии с чертежом неистовых перекрытий, сетей, лестниц, располагающим, в лучшем случае, к чревоуещанию или, редко-редко, клетоту и руладам вашего провожатого в нежилых железных лесах.

Но и здесь побеждает прекрасная иерархия здания. Черви не поют. Рыбы не слышат. Звук и слух — дары воздушной стихии. Уже у лягушек: отделились от земли. А любое насекомое, ничтожное, по сравнению с нами, но летающее, уже музыкально. Какой-нибудь комар, стрекоза. Жуки и шмели, тяжелые, как бомбовозы. Птицы. Такие маленькие. А как поют! А как поют — так и летают. Природа воздуха, природа воздуха берет свое! Как все соотносится здесь: и язык, и композиция...

Возьмите натюрморт. Полотна под этим титулом у старых мастеров — не мертвы. Рядом, по

прихоти автора, капризно разместились (попарно): очки и часы, лимон и стакан, подвешенная вниз головой, только что с охоты, подстреленная хозяином утка (или заяц) и лютня, законная обительница семейного дола, стола. Вещи корреспондируют почти как силлогизмы в развитии стройного длинного формального доказательства. От птицы, еще теплой, с озера, вниз головой, к лютне (или мандолине) протягивается путеводная нить. При чем тут лютня? Как будто чуждый, сторонний подвешенной утке предмет. Какое отношение к жизни имеет смерть, к образам природы — искусство? Но посмотрите: птица убита, а пустой инструмент, в соседстве с ней, зазвучал. Речь идет о будущем, о сближении вещей, о встрече параллельных, несогласованных потоков. От мертвой утки к живой лютне.

Нет, не для двух арестантов (не на пустом месте) построена эта лечебница. И не ради оправдания преизбыточного штата охранников (включая густые правительственные верхи). Но в образ прозы, какой являет Лефортово. Огромная (раздутая) грудная клетка страны, ее каркас и корабль (в палубах, мачтах, снастях), она умудряется снаружи сохранять порядочность скромной жилищной (или строительной) конторы, прикрытая панелями следственного отдела, вспомогательными казармами, службами (графологи, фотографы, дешифровщики, эксперты по отпечаткам шрифта на пишущей машинке [буква "е" западает], звукооператоры), гаражами, складами, так что сторонний наблюдатель и стен ее не приметит, не то что засовы, решетки, намордники (не пропускаю-

щие ни грана в застроенное окно [видна иногда только полоска неба <если падает снег>, и то с дистанции, встав на цыпочки <к толчку, глазку>]), созданные, как нарочно, чтобы мы оказались в самой глубине разграфленного на бесчисленные каверны ангара, в толщине ячеек, в конечном интерьере, в сечении, в кирпиче, в вобранном и разомкнутом в новом измерении образе пространства, не менее вместительном, однако, чем все потерянные нами, окружавшие, если вспомнить, образы природы и общества. Извне, я уверен, никто не оценит резервы сооружения. Никто не догадается, как велика его, скрытая от зрителя, клеть. Разве такое возможно, вы спросите, чтобы то, что внутри, было неизмеримо обширнее того, что обзреваешь снаружи? В Лефортово я убедился: возможно.

Обведи вокруг боковым зрением, пока ведут на допрос, и ты увидишь: вокруг сюда не относится, не подходит: она вся внутри: улитка. Вся навыворот, наоборот. Недаром именуется: Внутренняя. Не навыворот: опять неправильно: развитие внутри: в сердцевине: в микроскопическом, клеточном строении материи. Как объяснить? О если бы я был композитором!..

Говорят, отображение жизни. Сомневаюсь. Образ прозы соотносится с Лефортовским замком в виде паутины. Расставить сети. Перекинуть мосты-гамаки. Застроить кое-как и, застройкой, создать пространство на бумаге. Достаточно. Чего еще ждать от прозаика? Он тщится перекрыть действительность путем отступления от нее в сторону... Чего? Не известно... Не прямо же, простите за

наглость, ее изображать? Упустишь. Не получится. Когда пишешь, то волей-неволей включаешься в иную, пишущуюся уже действительность, идущую параллельно, либо под углом, по касательной, от жизненного потока. Не то чтобы обман или выдумка. Храни Бог от эстетизма. Художник не может, не должен быть снобом. Вечный труженик, паук. Просто законы другие. Ты действуешь в ином измерении. И все, что с тобой происходит, и сон, и явь, и борьба не на жизнь, а на смерть, остаются, сколько ни прыгай, на уровне страницы.

Старинный свиток, папирус, вероятно, более отвечал назначению письменной речи, нежели наша бумага, разрезанная не к месту на отрывистые листы. В свитке была непрерывность и протяженность развития, исподволь походившие на течение реки. Но мы не в свитке, увы. Мы — в книге. Пора перелистнуть, разделить...

Но кем же все-таки был С. — в ночь моей молодости?... Впоследствии, наши общие с ним друзья-приятели когда-то, расплевавшись с бедным покойником, заседали на меня: "— Ты что, белены объелся?! Да какой он гений?! Всего навсего — талант. Вдобавок — небольшой. Рано созревший и рано увядший — по собственной дорожке к доносам. Такое не проходит. Ты "Моцарта и Сальери" читал? "Гений и злодейство — две вещи несовместные". Утешься! Твой "гений" еще не одного простака спровадит в капкан, мерзавец!..."

Не согласен. В моих детских снах он царствует, как Моцарт. Откуда же в нем эти черты, нарушающие гармонию образа тайным и явным предатель-

ством? Не от рождения ли, спросим? Не из его ли, как раз, блистательной одаренности, склонной и все вокруг обращать, подстать себе, в поэтическую мастерскую? В экспериментальную, что ли, эстетику, пускай второго сорта? Но тогда, значит, и "злодейства" его не противоречат "гению", а вытекают из последнего и с ним же неудержимо сливаются в экстазе, как дело вполне совместное? Что-то напутал Пушкин...

Погодите, братцы. Дайте сообразить. Что вы мне голову морочите? Ведь он, боюсь, никогда и не был злодеем. Ни на одну минуту — вот в чем загвоздка. Вообще, если в него всмотреться, вдуматься получше, как это мне довелось, по нужде, унося ноги, — ничего злого, темного, коварного, демонического он в себе не носил. Как, впрочем, и никакого добра, совести там или чести. Все эти понятия ваши к нему просто не относятся.словно с детства они были вырезаны у него за ненадобностью. Как аппендикс. Мертвец, если хотите. Гость с того света. Но гений, тем не менее. Безгрешный гений!..

— Ну ты скажешь...

— И скажу! скажу!..

Есть среди нас, говорят специалисты, гинекологи оккультных наук, особые существа — с другим индексом. Именуются в науке "скорлупами", если мне память не изменяет. От слова "скорлупа": пустая скорлупа в образе человека. Такими уж родились — с отсутствием души, и в том неповинны. Что там у них вместо этого, газ какой-нибудь, или пар, или, может быть, эфир высшей кондиции, по сравнению с нами, — я не в курсе. Все прочее,

весь аппарат, однако, по форме, налицо и, бывает, — в превосходной степени, с успехом и развитием в разных областях. Ученые, художники, полководцы и дипломаты. Встречаются даже, мне говорили, среди самих же оккультистов "скорлупы", которые, смех один, эту проблему во всех аспектах обсасывают, рассматривают, утверждают, отрицают, не догадываясь о своей трансцендентной принадлежности.

Да и кто из нас, в подобной постановке вопроса, может за себя поручиться, что он не "скорлупа"? Единственная надежда: в нашем общежитии это исключительный случай, один на десять тысяч, на сто, вроде гениев или талантов, не будем придирается к словам, хотя, при всех злодеяниях, те — люди, а *эти*, в растерянности разводишь руками, — подобия что ли, талантливые оболочки людей? Как, спросим, убедиться заранее, пока не умер, что ты — человек, человек взаправду, с собственной незаменимой душой и самобытным телом? Хватаюсь за ноги! Не из этих ли, не из таких ли, прости Господи, фальшивок, доведенных до совершенного сходства, прекрасных, разумных, сознающих тоже себя не какой-нибудь пустышкой, набитой всякой дрянью, но человеком не хуже других, даже лучше, одухотвореннее, ярче, что, впрочем, тоже еще не окончательный признак и, может быть, вам просто повезло не войти в ту разновидность?.. Нет критериев. Они заманчивее нас, говорят. Привлекательнее. Умнее. Или глупее среднего. Зато свободнее и способнее. Хотя не всегда. Подлее. Благороднее. Всякое бывает. Не важно. Ничем, ну абсолютно ничем вы их не отличите

от полноценных, стандартных, как мы с вами, созданий. Разве что... Но это опасно!

Или вы сами, ребята, не рассказывали мне, как С. укусил Ирину на студенческой вечеринке, в узком дружеском кругу вчерашних десятиклассников? Меня не было в Москве, и, помнится, я страшно завидовал вам, узнав *post scriptum*, что вот мои однокашники собрались, как родная семья, в окончании войны, в преддверии рая, а мне еще трубить и трубить... И не я, вы были оскорблены, да и сама И., несколько лет спустя, не могла изгладить из памяти тот неприятный осадок, который меня, напротив, как-то заинтриговал.

А именно, в расцвет вечера, когда вы делились наперебой успехами и перспективами в такой завлекательной для вас поначалу вузовской курортнице, у каждого своей, С. объявил публично, что намерен тут же, при всех, поцеловать Ирину. После военной грозы, всех раскидавшей, они двумя словами не успели перемолвиться. С. не ухаживал за Ирочкой, не крутил ей мозги, не подбивал бабки и вообще не помышлял ни о чем дальнейшем. Также не было в его экспромте никакой кобелиной прыти или просто завирального, милого, лихого порыва, на какой охотно идут, мы знаем, подвыпившие студенты. Прямо скажем, по этой части он был не ходок, спокоен, трезв, рассудителен обычно и не делал, мне представлялось, из любовных затей отдельного блюда, как это с нами случается. Им руководили, по-видимому, какие-то иные мотивы. И тут ему что-то приспичило или его заело: "поцелую да поцелую! вот увидите!.."

Пустая эта фраза у всех пролетела мимо

ушей. Скромная девушка, как полагается, весело от него отмахнулась: "— Да иди ты — знаешь куда? Не приставай, дурак!" Однако прошло, наверное, минут сорок, когда, выждав момент, он бросился на И. сзади, как леопард, что было несколько нелепо при его телосложении, завалил, опрокинул со спинкой стула навзничь и не поцеловал, а вцепился и прокусил зубами насквозь, до крови, ее нижнюю губу. И победно, таким шахом, осмотрел сцену: эффект!

К его удивлению, никто не засмеялся и не воскликнул "браво". Поверженная девушка тихо стенала от боли, беспомощности и какого-то, как потом суеверно поведала мне, подземного, нечеловеческого унижения, которое она испытала, прикрыв носовым платком рассеченный рот и теплую струйку крови. Тут же встала и ушла. Вечер был испорчен. За нею и остальные, не глядя друг на друга, потянулись к выходу. Никто, разумеется, не догадался съездить по роже выигравшему приз победителю или хоть слово сказать. Какая-то хмара на всех нашла, какое-то недоуменное, тяжелое обалдение. Но удрученнее прочих казался сам виновник происшествия. "— Что вы, ребята, шуток не понимаете?" — бормотал он просительно в спину удалявшимся интеллектуалам. И только уже на лестничной клетке не выдержал и выкрикнул вдогонку, в ярости, со слезами: "— Кретины! У вас отсутствует элементарное чувство юмора!.." Ответа не последовало.

Что теперь скажете, эрудиты? Придурь капризного, избалованного мальчишки? Как бы не так! Если путь его, горький жизненный путь, усе-

янный кристаллами высокой, самоценной поэзии, стелется одновременно за нами цепью таких же укусов, более или менее страшных, редких сравнительно, однако производимых с точностью и необходимостью периодической таблицы. Психопатия? Патология? Да он в своем нервномозговом устройстве здоровее нас всех. Без комплексов. Никаких отклонений. Это я хорошо знаю. Доподлинно. Будь у него хоть что-нибудь в этом плане, интересное, непотребное, — радостно не утерпел бы похвастаться. Все-таки я долгое время служил ему как будто экраном. Так вот: ничего *такого* в нем не содержалось. Нормальный, как автомат. Даже, на мой вкус, чересчур нормальный. И не вешайте, пожалуйста, ему на шею жерновами — "жестокость", "бессердечие", "порочные наклонности", которые ничего не говорят, коль скоро вы имеете дело с исключением из нравственности, из психики, из биологии возможно. Людские толки не для него!

Зачем в разгар спектакля вы не обратили взор, господа, на дышащее отвагой, сияющее восторгом лицо героя, благодарно обращенное к зрителям? Ах, вам сделалось не по себе? Вы застыдились дурного поступка? Потупились? Ну вот и упустили момент. Не поняли, не оценили артиста, который всегда доверчив, в отличие от злодея, чистосердечен, открыт, импульсивен и непрактичен. Какой, скажите, злодей, если на то пошло, способен так простодушно, без задней мысли, без выгоды, выставлять себя напоказ? Вы что считаете, ему нужно было действительно эту куклу поцеловать? Да нет, он перед вами, глупцы, старался, разыгры-

вая, если хотите, ослепительный водевиль, веселую арлекинаду на тему превращения будничной прозы в поэзию, тривиального поцелуя в остроумный трюк. Помните, у Мейерхольда стирание границы между сценой и зрительным залом? Да и сколько поколений художников, писателей, музыкантов грезило и стремилось преобразить мир волшебной силой игры. Что за беда, если один из них своего достиг? И не в бескровных стихах, которые никто не читает, а, допустим, на людной площади, в гостях, за чайным столом ведет себя бесподобно, непредсказуемо, с необузданностью натуры, воплотившись перед вами, внезапно, из страждущего в небытии эфирного колыхания во что-то, наконец, вполне конкретное, телесное и вместе с тем — достойное изумления. Быть может, за ним, по его почину, и вся наша пошлая, низменная жизнь станет когда-нибудь праздником одолевшего земные законы, свободного, искрометного творчества?.. Ну, подумаешь, повредил немного губу хорошенькой статистке. Поплачет и перестанет. Выйдет замуж. Наплодит детей. Но кто утолит извечную тоску о прекрасном поэте и режиссере, только что, у вас на глазах, дерзко переступившего рампу, во славе и в горении самоотверженного подвига, и вместо аплодисментов очнувшегося вдруг в одиночестве — во мраке покинутого публикой зала, на открытом всем ветрам пустыре вселенной?..

— Какого человека затравили! — сокрушался, качая красивой серебряной головой, следовательно Даниэля Кантов. — Какого человека!..

Меня всегда поражала в нем наивная, по-детски непосредственная потребность в аудитории, в

отзывчивом и снисходительном зрителе подобных манифестаций, которые отнюдь не шли ему на пользу, возбуждая у почитателей досадное чувство неловкости за него и томительного стыда. В кругу же непосвященных это давало повод держать его в отдалении, на примете, как заправского подлеца. Случалось, он удивлялся, почему его где-то не жалуют, а кое-кто пытается уже обойти за три версты, что не мешало ему при новом удобном стечении обстоятельств, с самозабвенной простотой выкидывать очередную бестактность, если вы, конечно, не подыщите ей более мягкого и оправдательного заглавия.

Мне доступны эти муки. Какой автор не мечтает услышать доброжелательный отклик на свои эскизы, пускай слепая толпа бранится и шумит?.. Признаюсь, и у меня не было многие годы интереснее, увлекательнее и благосклоннее собеседника, а потом, отчасти, и читателя моих первых поползновений в стихах и в прозе, так что под конец это стало просто рискованным — предаваться взаимным дружеским излияниям с тем, кто тебя, единственно, ценит и понимает. Короче, меня с ним мирила и связывала до поры, не переставая отвращать, настораживать, его незаменимая и прямо-таки уникальная роль в моей довольно уже беспомощной, скользкой и сползающей ему в пасть биографии. Как во сне, следует остановиться, проснуться, порвать знакомство, выпрыгнуть из окна. Но не тут-то было.

Это теперь, через тридцать лет, все стали такими умными, что читают "Египетскую марку" Мандельштама, наслаждаются Кандинским, Стравин-

ским и запросто, будто всю жизнь этим занимались, ругают советскую власть. А тогда... Где было в ждановской прожарке на вшивость найти родственную душу? С кем шуткой перекинуться? Кому анекдот рассказать? Повздыхать совместно, хотя бы, о незабвенной, утраченной "Девочке на шаре" — да так, чтобы тебя тут же не уличили в буржуазном разложении?.. Да и как воспарял умом в изобретении острых сюжетов (Даниэль ему обязан сюжетом Дня открытых убийств — "Говорит Москва"). Неожиданных коллизий. Историософских аналогий. Орфей! Как тут не поддаться?.. Но положиться на него?.. Невозможно.

Однако, как всякий гений, повторяю, в своих убийственных выдумках, в шедеврах легкого промысла, он был ребенком. Бесхитростен. Незлобив. Необидчив. Зато и разыграть этого игрока, обвести вокруг пальца, пустить по ложному следу, когда подошел срок, не стоило мне большого труда... Я его использовал. Да, использовал — в качестве доносчика, и это, как вы дальше прочтете, меня спасло. Свой доносчик, в поле обзора, под контролем, это, в некоторых оборотах, — находка. И хоть дружба пошла на убыль, мы продолжали встречаться, и, кажется, он мне по сердечной простоте доверял, а я, как дьявол, начал его обманывать...

Правда, по временам с ним бывало жутковато. Возвращаемся как-то от Юрки Красного, со Скатертного, где мы втроем, подряд, травили анекдоты. Наверное, это был уже 49-ый год, а, может, 50-ый, поскольку вся атмосфера, помнится, была уже достаточно темной и страна, рисовалось,

вот-вот отделится от земли и взлетит. И скоро мы начнем, развивал он свою идею, самым натуральным образом, как в Средние Века, подсчитывать число чертей на кончике иголки. И это будет объявлено новым этапом в марксистско-ленинской философии... Но не закончил парадокс, а, словно осененный свыше, задышал мне в лицо влажным шепотом и слабым, сладковатым ароматом сигареты:

— Слушай! Давай вдвоем, с двух сторон, будто не сговариваясь, — заявим на Юрку Красного... Ну чего ты испугался? Материал готовый. Только оформить. Он же весь вечер, не закрывая рта, рассказывал нам антисоветские анекдоты. И потом еще проехался — о преследовании евреев...

— А мы с тобой не рассказывали? Не проезжались?..

— Да. Но это можно уладить... Объяснить... И поверят нам, двоим, а не ему, дураку! В этих вещах два свидетеля — все решают!..

Все-таки я не думал, что он зашел так далеко. Подлюга! Бежать бы от него и бежать — на край вселенной. Но я стою, рядом с ним, в темноте, добросовестно изображая сексота, такого же, как он, на улице Воровского, и спокойно втолковываю, что если он донесет, я не стану утаивать, кто первый из нас троих завел анекдоты, потому что с ними двойную игру играть нельзя, ты же сам знаешь, и тогда тебя, милый друг, по головке не погладят, и в результате мы втроем загремим в лагерь. А Юрку Красного кто же воспринимает всерьез, веселый трепач, любит посмеяться, и, вообще, на подобную мелочь, на анекдоты, обращать

внимание, в нашем положении, просто смешно... Нет, я его не уговариваю, не прошу пожалеть Юрку, и не спрашиваю, зачем это ему понадобилось и не изучаю больше загадку его неповторимой личности. На Юрке почему-то он как-то для меня окончательно сломался, оборвался, превратившись в механизм, в инструмент, вроде фагота или кларнета, на котором, как это ни печально, еще надобно играть, нажимая на ту или иную изученную педаль, вроде страха или смеха, и холодно наблюдая, как он моментально срабатывает, пока, вырвавшись из рук, не выплеснется, наподобие Арбата, лежащего под нами, в огнях, куда я его провожаю в эту пляшущую ночь, до метро.

— Да брось ты, — говорит, подумав. — Я просто пошутил...

В огне сигареты, смотрю, его толстые, сардонические губы складываются в иронию — над собой, надо мной, над звездами, под которыми мы висим. И уже тянется ко мне испепеленными устами:

— Ты этого не понимаешь. Я — боюсь. Мне — страшно...

— Тебе?... Ты-то чего боишься?..

— Ты этого не понимаешь... Придут американцы — и меня повесят...

— Какие американцы? За что?..

— Ну, будет война с Америкой. И меня повесят... На мне, пойми ты, уже два труп висят. Два труп! Я — убийца...

— Подумаешь! Я — тоже убийца! — храбро отвечаю. — И на мне — один труп. Да еще иностранный... Ты же сам знаешь... Сам помогал... Элен...

Стоим, два убийцы, на черной улице, фонари не горят, а только там, у Арбата, плещется море огня, и все друг про друга знаем. Точнее сказать, делаем вид, что знаем. Но что-то не нравится мне подобный диапазон колебаний: то Юрка Красный, то американцы... Стервец! Пора от него постепенно отдаляться. Мне — назад. Ему — на метро. Нельзя отпускать. Он прав: в этих вещах два свидетеля все решают. Подлаживаюсь. Вжимаюсь в него. Стена. Слиться с тьмой. Чужая душа потемки. Войди, и ты увидишь...

— Не бойся. Я — тоже убийца...

А он уже брезгливо, рассудительно, словно презирая меня, за неудачу:

— Во-первых, ты только пытался, и у тебя сорвалось...

— Попытка — тоже убийство. Еще хуже. Я все делал... Грех на моей душе...

Главное — внушить, что я подобен ему, чтобы он — доложил! Чтобы не заподозрил... А он уже смеется. Доволен, что у меня сорвалось, а грех все же на мне: испачкан. Это уже хорошо. Впрочем, он всегда смеялся каким-то неприятным способом — без улыбки, отчетливо и раздельно выдыхая слова изо рта:

— Ха. Ха. Ха. Ха. Одна иностранка, и ту не сумел... Она мне сама рассказывала... Как советский гражданин, ты просто обязан был ее уделать... А я — сам! А я друзей! Брейгеля и Кабо! Своими руками! Понимаешь?!...

Кажется, он уже бахвалился, и у меня отлегло от сердца.

— Да брось ты про все это думать! Завяжи! Я

тоже убийца. Ну, убили один раз. И хватит! Хорошенького понемножку. На тебе — два трупа. На мне — один труп. Какая разница? Хватит с нас! До Страшного Суда! До завтра!..

Прошло пять лет. Или шесть. Старые товарищи С., те, двое, ни за копейку пропавшие без вести, вернулись-таки живыми, откуда не ждали, не солоно хлебавши... Попутно всплывали со дна и кое-какие останки подводных съемок, охот, глубоководных изысканий, — подобно засекреченной карте местности, где некогда проходили бои и каждый куст пристрелян, каждый бугорок щедро полит кровью, а ныне кто раскопает эти ветхие траншеи? (Кабо и Брейгель...) Лишь уцелевший инвалид, случится, ткнет крючковатым ногтем в известный ему одному зодиак-меридиан. "— В этой ничтожной точке, скажет, мы отбили три атаки противника. А в этом пятнышке у вас, в леске, за двести километров от первой, мне оторвало минометом ногу..." Так и в нашей топографии. Все засыпано, позабыто. Но кто-то помнит и ждет отметиться черным ногтем на выгоревшей, бесцветной планшетке... (Кабо и Брейгель...)

Здесь, в этом пункте, пока радушный профессор для родного ученика ставил чайник, С. ринулся к полкам, с обычной своей поэтической непрактичностью, выписывать в кармашек одиозные издания и был настигнут на операции шквальным огнем неприятеля, контратаковавшего врасплох, с чайником в руках, но вышел сухим из воды, сославшись хитроумно на давнюю, с детства, страсть с библиографии. Как — для чего записывал книги? Да только чтобы потом удобнее рассорти-

ровать в уме на полках и взять с собой почитать, если позволите, ту или иную диковину. Время-то какое! Всюду цензура! Хороший хозяин собаку не выгонит со двора... Хозяин, однако, не будь дураком, списочек изымает, рвет в мелкие клочья, книголюба-библиографа выставляет под видом головной боли, дверь на запор и впредь, сволоочь, на заискивающие звонки с треском вешает трубку... Ну дождется обыска!..

Куда теперь! На Восток! В служебную командировку. На отдых. Никаких заданий. Сам себе, с позволения сказать, экскурсант... Там, в другой отдаленной точке земного шара, на границе с Азией, он поселится проездом, на несколько дней, в уютной провинциальной квартирке, с геранями, — у сестры закадычного своего и запроданного чорту, московского знакомого, сгоревшего полгода назад, всего ничего, как спичка, на остром слове. Оно и дешевле, и комфортабельнее, чем снимать койку с клопами в битком набитой гостинице, и притягательнее как-то, лиричнее, ближе к подлиннику. О как это много! Приблизиться к язве, занесенной в чужую семью, коснуться пальцем-присоской: ты же источник язвы. Заглянешь в себя — в лазурный колодезь, — как бы не упасть?! А принимают за ангела. Посланец брата! Последний, кто с ним встречался в ночь перед тюрьмой. Доверенное лицо. И сам под угрозой, того и гляди, даешь понять, крутишь носом, — возьмут! Играешь конспиратором. — Я — Сережа из Москвы..."

Вздрагивает сестра. Плачет. Подносит к правому глазу батистовое кружево. Сморкается: — Хоть бы вас не арестовали!" — "Все может быть,

— говоришь ты загадочно, с озабоченным лицом. — После этой несчастной истории...” Займешь денег под арест. Расположишься королем в доме, выпьешь со значением, съешь что-нибудь такое, какое-нибудь интересное, специально для тебя, фрикассе, закуришь, задумаешься вкусно и глубоко вздохнешь. Хорошо!..

Нет, в самом деле, к чему вражда? Мы расстанемся друзьями. И вам он брат, и мне он тоже был ... вместо брата. ”— Юра Брейгель! настоящий товарищ! — размышляешь вслух, тяжело и великодушно прихлебывая сухое вино. — Никого не заложил, хотя я, лично, был с ним предельно откровен. Предельно...” Путаешься немного, и вдруг — нашел образ. Выскакивает — как по заказу. ”— Мне чудится, в эту минуту он сидит рядом с нами, за этим столом, и пронизательно смотрит на всех нас, в очках. Я вижу его — как живого. Простите, мадам, нельзя ли еще?.. Нет, спасибо, водки я не пью. Подвиньтесь. За его здоровье! Каково ему в узах, сейчас?!.. Мы тут выпиваем, закусываем, а — он?!..” Чуть не плачешь. Без обману. У Евреинова читали — ”Театр для себя”? ” — Евреи, ша! Я соболезнаю — сестре! На вас, на всех нас надвигается что-то вроде Варфоломеевской ночи!.. Ты прав, Арончик!.. Мы останемся, однако, людьми. И мой приезд к вам, в этот трагический час, лишь моральная поддержка. Я не бросаю в беде! Не то, что некоторые... Пусть не думает там, в тюрьме, что у его друга нет сердца...”

И все — искренне. С перехлестом. Пышно. В нюансировке. Веселье в соединении с грустью. С прозрачными воспоминаниями. Как это молодое, задорное и кислое немного вино...

Ребята, не придирайтесь! Он сам не понимает, как это у него получается. Словно медиум какой-то. Сам себя намагнитил и — чист перед людьми. От его неуязвимости всякое зло просто-напросто отскакивает. Да и в вашу голову. Вот и сейчас он обращается к вам, с того света, с горьким упреком и детским недоумением, почему вы так жестоки к нему. Нет, он уже больше не клянется, что вы его оклеветали, как настаивал упрямо, вопреки очевидности, лет, наверное, пятнадцать после памятного скандала с ожившими досрочно свидетелями его веселых проделок. Зато он теперь нашел виновников своего несчастья. И это те, не удивляйтесь, на кого он донес, кого закопал, утопил. Напрасно, говорит он, ребята, вы мне биографию запакоостили, репутацию испортили. А еще друзья называются! Ну, подумаешь, отсидели пять лет всего из своих десяти. Тоже мне потеря — пять лет! А у меня из-за вас вся жизнь пошла насмарку. Карьера не склеилась. На люди, в приличное общество, показаться нельзя. Шепчутся. Жмутся. Избегают откровенных разговоров, признаний. Сравните: кому хуже — вам или мне? Где справедливость в мире?..

Ну что ж. Тут есть резон. Никакой человек не уложится в отведенную ему категорию. Да и где лимиты? Вчерашний предатель завтра — кто знает? — примет крест на баррикадах. А послезавтра, глядишь, буддийским монахом заделается или еще что-нибудь отчудит непредвиденное и — вне определений. Писать после этого характеры, рисовать портреты? Что я, с ума сошел? Всякий характер колеблется в страшных диапазонах и вот-вот уле-

тит. Счастливого пути! И если я задержался на моем юном друге, то к нему у меня был, простите, не художественный, а прагматический интерес. Жизнь от него зависела, да и многое другое... Что же до художеств, то, честно сказать, не люди меня занимают последнее время, а скорее — энергии. Состояния. Магнитные поля. Завихрения. От людей что остается? — одна шелуха. Обозначаешь на всякий случай, чтобы не запутаться, именем или одной буквой. Ну деталь какую-нибудь подсунешь в виде ориентира: стоит. Но заранее знаешь печально: сколько его ни очерчивай, ни рисуй, любой, самый пропащий персонаж уйдет из гипотезы о нем, из правдивого описания, да что там — из своей фотокарточки. Как дым из трубы. Как брошенная там, на ветру, недокуренная сигарета...

Костром потягивает. Дымком. Каштаны. Дескарги жгут листву. Я свободен от ностальгии. Осень у них во Франции. Понимаете, так же как в России у нас, у них — осень. И жгутся листья, готовятся к зиме. Разве что вздохнешь глубоко, и приятно задышать. Сентябрь. Серебряный век. Эмиграция.

Если б и впустили обратно, с гарантией, что не убьют (я иногда воображаю), и пиши, что хочешь, я бы, наверное, все равно не вернулся. Я бы лучше в Исландию съездил. В Грецию... С того, ночного, вдавленного сапогом в подвале окна — отрезало. Но душа еще не знает. Пристала, как банный лист. Я — не сдвинулся. Если очень хочется, слетай во сне, прохладись. Потом расскажешь, поправишь меня,

если что не так... Не отсюда ли у нас — от невозможности вернуться — появляются мемуары?..

К нам, на третий курс филфака, в 47-ом году пришла француженка. Первая живая француженка и, вообще, единственная по Советскому Союзу в те далекие времена иностранка, зачисленная в Высшее Учебное Заведение. Говорили, ее отцу, военноморскому атташе, стоило немалых усилий пробить, через Мининдел, дойдя до самого Молотова, чтобы дочери предоставили исключительное право учиться наравне со всеми, посещать лекции, сдавать экзамены, в развитие тоже высшего уже у нее, славянского образования, полученного, как это ни забавно, в Париже, в Институте, под двуличной эгидой, восточных языков. Себя к Востоку мы не относили и видели в подобной трактовке даже легкую дискриминацию со стороны буржуазного Запада. Что они нас за турок принимают, за китайцев? Мы все, выходит, для них на одно лицо? Ну так пусть ближе познакомятся с нами. Ближе, ближе!.. Холодный циклон, из Сибири, еще не дул в полную силу в сторону пригожей Европы. Или этого мы еще не замечали. После войны, мечталось нам, весь мир открыт. Контактам с уникальной иностранкой, спустившейся с неба на землю на дипломатическом парашюте, мы были рады. А Элен, будто так и полагается, без страха, словно какая-нибудь Сандрильона, вошла в наш заколдованный дом...

Удивительная вещь, как я вспоминаю, никто из нашей среды не относился к ней подозрительно или враждебно. И никакой отчужденности. Все были, казалось, в нее неуволимо влюблены. Она воз-

буждала у каждого почтительное любопытство и сдержанное восхищение. Вдобавок, ее облик и манеры начисто отрицали все наши социально-политические пережитки: в ней не было ничего буржуазного. Она скромно одевалась, и, я полагаю, много скромнее своих возможностей. Словно и не была дочерью дипломата. Она выступала перед нами всегда в каком-то бедном изяществе. И все-таки за нею тянулся по МГУ, по улицам какой-то невидимый шлейф. Это можно, в принципе, изобразить графически: ФРАНЦУЖЕНКА, и все дальше и дальше, убегая, в кружевах, маленькими буквами, *французенка*, французенка... Я и сейчас вижу ее в этих убегающих звуках...

Существуют натуры, или это мне рисовалось тогда по контрасту с нами и по единственности ее воздушного пребывания в нашей плотной среде, что как бы призваны, негласно и независимо от себя, нести черты своей страны или нации. Сама индивидуальность лица и характера становится в этом случае знаком или, лучше сказать, изъяснением духовной близости человека к его географической родине, небесным символом исходного места на земле. Так или иначе, Элен была, да и теперь остается в моем сознании, выразительницей чего-то более пространственного, нежели ее собственная душа, — феей, голубоватым дымком, световым излучением природной своей принадлежности Франции...

Сам я с ней познакомился на занятиях, как это ни странно, по марксизму-ленинизму, что как-то ее особенно выделяло и подчеркивало в наших глазах. Поди ж ты, из заграницы, а вникает со вни-

манием в науку, порядком нам, в глубине души, уже поднадоевшую, но продолжающую играть обязательную роль какой-то привилегированной собственности, какого-то доступного одним нам и стройного, как нас обучали, последовательного мировоззрения. В дальнейшем Э. чуть не прикончила нашего бедного марксиста, сдав прекрасно предмет, ответив на все заковыристые вопросы и скромно открывшись в конце экзамена, что она, тем не менее, лично придерживается идеалистических взглядов. Как?! постигнув досконально марксизм, остаться идеалисткой?!. Кажется, он за это ей снизил один балл.

Признаться, и я вначале был немного ошарашен ее рекомендацией: "я — католичка". Не то чтобы я сомневался в ее праве на свою, французскую идеологию, на веру там отцов или дедов. Просто слово "католичка" было для меня таким же отдаленным, как — "катакомбы". Ну там где-то в истории были — монастыри, иезуиты, инквизиция... И потом как совместить титул "католичка" с живым лицом этой девушки, с ее добротой и юмором, с ее бесспорным интересом и симпатией к современной России? Возможно, столь же далекой и неправдоподобной тогда ей представлялась моя физиономия убежденного "комсомольца", трудно совместимая с моими литературными вкусами, с обожанием Пикассо и Ван-Гога, что с годами уже заметно перевешивало в моем багаже. Да, разрыв ценностей проходил и по мне тоже, пока все это не кончилось идеологическим обвалом под ударами наступавшего Жданова. Но до поры все это как-то уживалось под общей крышей с мо-

ей комсомольской совестью, с понятиями самой возвышенной революционной нравственности, готовой, если потребуется, временно принести человека в жертву ради его грядущего, всемирного воскресения.

Сдружившись с Элен, мы все это с нею откровенно и горячо обсуждали, не пытаясь, по счастью, перетянуть один другого в собственную веру. Да и вряд ли такое возможно. Мы меняем взгляды, точнее сказать, мы меняем направления мыслей и потоки ощутительных чувств, не под чьим-либо дурным или благим влиянием, а лишь больно ушибившись о какой-нибудь неожиданный угол на жизненном крутом вираже. И сколько бы она ни открывала мне истины Св. Писания, я не мог постичь ее неведомого Бога, так же как ей, вероятно, была не вполне доступна нравственная чистота революции, сколько на эту тему я ни распинаялся... Иное дело для нашего брата культура или дух страны, который тебя сам по себе притягивает. Франция из ее пересказов всплывала, как я убедился, в тех самых очертаниях, которые впоследствии лишь проявились в увиденном. Стоило уехать, чтобы это подтвердить...

Мы ехали с Элен и Марией, за красно-кирпичной Тулузой, летними полями, сбегавшими по холмам. Все было преувеличенно мягко и плавно для глаза. И влажность округлых линий, и замкнутость пространства в пределах, я бы сказал, глазного яблока, рождали редкое, удовлетворенное собою, осознание ландшафта, какое мы и находим во Франции. Горизонт, по сравнению с нашей российской равниной, здесь тоже довольно широк, но

более оформлен, сферичен, закончен и узаконен. Пространство уложено, подобно уснувшей Венере работы Джорджоне, а флора напоминает дыхание ее долгого сна...

Растарашив глаза, как варвар, я пожирал эти контуры — ухоженные, расчесанные твердым гребнем, как темя женщины, поля и виноградники. Тело земледелия, овладеваемое сном под солнцем, давало себя знать. Чувствуешь тяжесть век и смертность, заключенную в теле. Очнувшись, однако, замечаешь за собой, что ты не просто глядишь направо и налево, но впитываешь, усваиваешь ландшафт и делаешься постепенно другим от сих видений. Ты не тот, что вчера, потому что — посмотрел. Да и ландшафт, возможно, совсем не то, что нас окружает, не антураж, но сок, что входит произвольно в состав племен, издревле здесь обитавших, наследников и потомков земли, которая их выкормила как собственное свое продолжение. Как странно тебя узнавать в чужих лицах и нравах, произведенных на свет одной спящей матерью! И сколько сил у земли, если ее поверхность становится нашей кожей и кровью... Мы укоренились в увиденном. Мы вырастаем в ландшафт. И мы уже не мы, но камни и деревья, стоит только посмотреть. И мертвых, что еще веют над нами, мы вводим за собою, во сне, в ее мягкие очертания. Смотрите же! запоминайте!.. Чтобы и всем нам улечься рано или поздно в эти контуры холмов...

Вероятно, родство Элен с ее солнечным краем укреплялось в моем восприятии тогда книгами по искусству, которые она для меня привозила из Парижа. Ничего прекраснее в жизни я не встречал.

Щукинское собрание после войны прикрыли, по решению, шептали, Клима Ворошилова, посетившего опальный музей в сопровождении Александра Герасимова. Самые невинные, ранние импрессионисты почитались уже вылазкой оголтелой международной реакции... И вдруг — на тебе: в руках у меня — Сезанн! Да какой Сезанн! Даже С., большой знаток, при виде этой ослепительной книги, терял ум от восторга: "— Ну и счастье тебе привалило, Андрей!.." Между тем, Элен, познакомившись, от своих щедрот и ему преподнесла том Ван-Гога, и это тоже был совершенно бесподобный Ван-Гог, сплошь составленный из красоты и боли. Куда деваться от страшной голубизны его небес и цветов в горшке? От всюду всаженных в холст, под видом мазков, будто занозы, глаз? Репродукции, мнилось, были усеяны истерзанными глазами, где колкий зрачок тонул в радужной оболочке художника. Неужто, я думал, и там, во Франции, может сосредоточиться в почве, в воздухе такая невыносимая боль?..

Сейчас, проходя лениво по книжным лоткам в Париже, я равнодушно озираю океаны фолиантов, выброшенных на распродажу второсортным, удешевленным изданием того сказочного богатства, каким в Москве, в молодые годы, владел я один. Должно быть, пока я до них добирался, этих книг развелось видимо-невидимо. А искусство существует, повсюду, в единственном числе...

С моей стороны, я желал одарить Элен лучшим, что было у нас из реликвий Советской России, и затащил ее в спецсеминар Дувакина, изучавший Маяковского. Сам хозяин семинара, доцент

Виктор Дмитриевич Дувакин, с бульдожьими челюстями боксера, с головой, похожей на разъяренного ежа, и добрейшей души человек, был великим маяковистом и таким энтузиастом на тернистой педагогической ниве, подобных которому я уже никогда не встречал. С гордостью до сих пор говорю по поводу моих филологических запросов: — Я ученик Дувакина!.. Другими аспектами, однако, не стану его касаться, чтобы не навредить старику, как это уже случилось однажды в злополучном зале суда, где Дувакин, презрев опасность, кинулся на мою защиту и тяжело поплатился. Его навсегда отставили от преподавания...

В мои годы его семинар на филфаке служил воистину последним убежищем поэзии XX века, все более подлежащей погромам и запретам. Впрочем, спасти останки стиха Дувакину во всю помогал его высокий патрон, чья безусловная пальма первенства немного предохраняла от засухи наш оазис. Под сенью Маяковского худо ли бедно копошилось его окружение и почивала мертвым сном плеяда сильномогучих богатырей, каждый из которых мог бы поспорить с последним из могикан революции, — стоило только тишком, для знакомства с материалом, пошарить в сырой листве, по кустам. Чего там не было!.. Смотри, Малевич, Татлин!.. Какой ужас!.. Не ужас, милочка, а контр-рельеф!.. О чудо, о небо: заумь!.. Знаешь, Луначарский сравнивал "Мистерию-Буфф" с немецким экспрессионизмом?.. И все ты врешь... А ты спроси у Дувакина, если мне не веришь, — спроси!.. Уитмен-Верхарн-Рембо... Да ты читал, Петя, или не читал "Полутороглазый стрелец" Бе-

недикта Лившица?.. Но это же, кажется, враг народа?.. Но друг Маяковского!.. Ты еще Мейерхольда вспомни... И вспомню — друг Маяковского... Но враг народа?.. Но друг Маяковского!.. Я не хочу об этом ничего знать! Слышишь? Не желаю!.. Но кто-то желал и, забравшись в дебри, дразнился, щелкал по-хлебниковски: — Пцирѐб! Пцирѐб!..

В поэзию Маяковского, уже и после меня, иные любители уходили, как ходят по грибы: за Пастернаком, за Цветаевой, по Анну Ахматову... Ведь даже для Блока, для Сергея Есенина у нас не было своего семинара! Все ютились под Маяковским. И хоть в легендарном прошлом не давал им спуска дубина, ныне он возвышался над нами их единственным на выжженной земле делегатом и даже, казалось, слегка оберегал. Спасибо тебе, дядя Володя!

Меня самого однажды он прикрыл широкой ладонью, когда, за общение с Хлебниковым, в общефакультетской, во всю стоеросовую стену, газете "Комсомолия" появился громадный подвал: "На кого работает Андрей Синявский?!.." Автор, начинающий босс, всполошился, что в курсовом докладе позапрошлого года о Хлебникове я работал, тихой сапой, на англо-американский империализм... Тогда уже шла в полную мощь холодная война с Западом, и наш активист, очевидно, решил меня ликвидировать как возможного конкурента на пути в аспирантуру. Да не рассчитал удара, затронув честь Маяковского, а вскоре, свыше, его самого прокатали в космополиты, хотя он был не повинен, — исключительно из-за еврейской фамилии...

Однако и меня не минула стрела рока, ибо даром нам ничто не проходит, и знаки, расставленные над нами чуть ли не со младенчества, тяготеют время от времени загораться пунцовым огнем, подобно сигнальным лампам в рудниках, предупреждающим окружающих о заключенной в человеке опасности. ?! — сначала знак вопроса, с наклоненной, будто удивленная девочка, змеевидной головкой, а следом — восклицательное, прямое попадание в точку. И начиная с того момента, с той памятной и самой первой обо мне заметки в стенгазете, угрожающий заголовок: "На кого работает?!.." вспыхивает надо мной с бдительной периодичностью в ревнивой русскоязычной печати — будь то "Известия", "Литературная газета", журналы "Октябрь", "Огонек", "Противовоздушная оборона" или "Континент", "Новый журнал", "Наша страна", "Часовой"... Все стоят на посту. Стерегут границы. И хоть тридцать лет с гаком пройдет с тех пор, заметка из "Комсомолии" меня настигнет, наконец, в спину, словно неуголенная молния. А где теперь найдешь громоотвод? Маяковский остался в Москве, в разогнанном семинаре Дувакина...

Сейчас, из такого далека, уже трудно представить, чем был для нас Маяковский на заре нашей юности. В нем одном, самоубийце, тлел неукротимый и праведный уголь революции ее начальной стадии, вносивший, отголоском, что-то истовое и возвышенное в нашу кондовую, комсомольскую доблесть. Агитации и пропаганды мы у него не занимали. Все это подразумевалось, как бы само собой, и выносилось за скобки, перебиваемое фак-

том его еретической личности, колебавшей пьедесталы и памятники. Не знаю, что думал Сталин, назначив смутьяна на пост "лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи". Эпоха-то давным-давно была не с Маяковским. Маяковский не господствовал. Маяковский бунтовал среди нас. Для многих и многих "все начиналось" с Маяковского.

Поминая главаря и горлопана Революции, наш семинар по временам, сверх докладов, собирался за бутылкой. Трезвость, поскольку пить, как водится, мы еще не научились, длилась до рассвета. Стихи, кто во что горазд, воспроизводились по кругу, всю ночь, и это было ритуалом. Это было, как я сейчас определяю, радением, призванным гальванизировать поэзию, синевшую на окнами. Мы не читали стихи, мы жили ими — изо всех сил. На каждого поочередно накатывало то Блоком, то Гумилевым. Водка оканчивалась на первой рюмке, а мы шаманили и шаманили...

Наша неофитка робко, иногда, тоже входила в круг и читала "Хорошее отношение к лошадям". В слове "лошадь" твердое вступление ей не вполне давалось, и она произносила "лёшадь", что звучало еще более трогательно. "Лёшадь не надо, лёшадь, слышайте... деточка, все мы немного лёшадки..." После чего я как-то ей посоветовал заменить мягкое, безвольное "эль" на более основательное, губное "вэ": "вошадь". Следовало бы, вообще, обрубить первую букву: "Ошадь!" Но я не догадался... "Ошадь!.." Мне казалось, это она обращается ко мне...

Тем временем со мною начало твориться не-

ладное. Сны какие-то пошли, не такие как обычно, и густым косяком, что твои облака, хотя и сейчас, пройдя все это, я не очень-то доверяю снам, а тогда и подавно... Снится, например, будто я стою на поляне, как стройный тополь, вопреки тому, что стройностью я, прямо скажем, никогда не отличался, а подо мною, у меня в ногах, на траве, играют и веселятся котята. Котят этих я люблю во сне, и они мне ужасно милы. Недаром, замечу вскользь, выходя из сна, моя будущая жена полюбила меня за то, что, поджидая ее по утрам, под окнами, чтобы проводить на работу, я от нечего делать играл с дворовым котенком. Но тут, во сне, за десять лет до этого, точно такой же, обыкновенный сорванец, играючись, полез на меня, все вверх и вверх. Я смеюсь, глажу, а он ползет под рукой, жалостно мяукая, по моим зеленым, брезентовым сапогам, по суконной гимнастерке, которую я носил после войны за неимением костюма, — вдавливая уже ощутительно маленькие коготки в мою белую грудь, и, вдруг, рывком, к горлу, — перекусить. Раздосадованный, я хватаю его небольно за шкурку — все-таки котенок, — отдираю с трудом и отшвыриваю от себя подальше. А они уже, гроздьями, один за одним, висят у кадыка. Не успеваешь отцепить одного, другой целится. У самого лица пищит, отравы, а коготки уже в крови. Отрываю и отбрасываю, отрываю и отбра... , отры... и отбра... тры... бра... тры-бра...

Так всю долгую ночь я с ними провоевал. Потом уже читал в сонниках, да и бывалые люди растолковали маловеру, что кошки снятся не к добру, а собаки — к друзьям. Я и теперь, во Франции,

как увижу во сне собаку, так и радуюсь: к друзьям! Прямо во сне радуюсь. Проснувшись, к сожалению, я друзей не нахожу...

Большая часть подобных сновидений строится на довольно простой, народной этимологии. Кошки — коварство, обман. Может быть, — ковы. Вино — к вине, к обвинению. Вино это, вообще, еще хуже, чем кошки... Нами управляют, как выясняется, не сами сны, а слова... Позвольте, в этой связи, я расскажу еще один сон, и тоже в руку, но из другой уже оперы, немного забегаая вперед.

В ночь накануне ареста прихожу это я к себе домой, во сне, с лекции, и полно чужого народа, а наш обеденный стол раздвинут во всю длину и буквально заставлен бокалами и стаканами с красным и почему-то на вид очень терпким вином. Даже не красным, а каким-то бордовым. Под стаканами те же, как это бывает с перепою под глазами, багровые круги, будто бы, не считаясь с затратами, через край переливали на скатерть. И — Сталин сидит, извольте радоваться, посередине. Словно меня поджидает. Суров, недоволен вождь. И — не смотрит. Молча, но аж почернел. Это ведь было уже много после его смерти. Никто не пьет, а слуги все разливают и разливают вино по столам. И я думаю сквозь сон: Боже, ведь я уже и не хозяин у себя, а он теперь что угодно может сделать с нами, с Егором, с моею женой, которая бледнеет у двери... Они все могут...

Но вернемся к действительности. У нас на курсе учился один инвалид. И не один, а несколько инвалидов, как это подобало послевоенной обстановке. Здоровых мужчин кот наплакал. Да и

кто в ту голодную пору думал о филологии? Одни девочки. Ну и группа инвалидов, от сохи, которым деваться некуда, державшихся особняком, кое-как, на своих железных доспехах. Пока мы баловались поэзией, они, иной раз едва ковыляя и с трудом, как собственные протезы, передвигая экзамены, образовали небольшое сообщество — на незаживающих ранах, на черном хлебе, на крепком, если повезет, выпивоне. Нас — цвет Филфака, Комсомол, старательных девушек — маменькиных дочек, вьющихся преимущественно вокруг Пушкина, да и весь этот, в общем-то, мраморный Университет с бронзовым Ломоносовым — они, мне кажется, немного презирали, вычисляя, как прокормиться на копейки и выбиться в люди в недалеком будущем, невзирая на свою первобытность. Им просто было не до того... Однако среди них выделялся один инвалид, подававший большие надежды, высокого роста и с привлекательным лицом, если бы не шрам. Он писал, и что-то интересное, о Салтыкове-Щедрине, у Эльсберга, вопреки ранению. Часть черепной коробки у него была как будто начисто снесена осколком, так что, разговаривая с ним, вы невольно созерцали все время эту довольно-таки толстую, сморщенную, но все-таки прозрачную кожу, минутами словно пульсирующую розоватым блеском, взамен бокового куска лобной кости. Сколько бы вы ни старались миновать взглядом, вы не могли оторваться от этого сигнального рубца, поставленного на человеке, точно какое-то предупреждение. И правда: вскоре моего инвалида зарубила топором ревнивая любовница, из буфетчиц, у которой

он поселился, и, говорят, красивая баба. Но мало того, что она прикончила своего сожителя ни за что ни про что. В довершение нашего ужаса, она раскромсала его на мелкие куски, сложила в рюкзак, вывезла на электричке и бросила в подмосковном леске...

В последний раз, за несколько недель до события, я увидел его во сне на какой-то безлюдной, ночной площади, или, возможно, мы с ним как-то пересеклись в параллельных сновидениях. Инвалид, немного подвыпивший по-видимому, говорил мне, мерцая шрамом: "— А я тебя, последнее время, Андрей, часто встречаю во сне, и все в одном обществе. Все ты ходишь по Москве ночами с девушкой в голубом платье. И другие ребята из нашей инвалидной команды тоже тебя видели с ней: на Софийской набережной, или у Кремля, на Каменном мосту... В первом, а то и во втором часу ночи. Поздненько вы с ней разгуливаете..." Я понимаю во сне, на кого он намекает, но это же сущий вздор, поскольку ни с этой девушкой, ни с какими другими по ночам я тогда не гулял, а если случалось бродить по ночному городу, то делал это обычно, сочиняя стихи, один. И все это им, инвалидам, наверное, померещилось, либо они меня с кем-то перепутали. Однако он продолжает настаивать, просто ради констатации факта, называет место, где они меня засекли, и, действительно, на какой-то миг, я вижу себя со стороны, на Софийской набережной, а потом на мосту, как будто это было вчера и как бы его глазами, объективно, в содружестве с голубым, фосфоресцирующим и молодым, безусловно, созданием. Но кто это в точ-

ности разобрать не в состоянии. Потому что сам я, как таковой, в ту минуту, на мосту, рядом с собою никого не замечаю. Они ее видят, мою голубую подругу, а я не вижу. Иду себе преспокойно один и бормочу стихи.

Я мало сделал:
Все ночи пьянствовал,
Дни проскандалил
И не сберег.
Вот так же стены
Дробят пространство
Горизонталям
Поперек.

В домах мужчины
С улыбкой Авеля,
Немые камни
На рубежах,
И все так чинно
И все так правильно,
И никуда мне
Не убежать...

И еще другие, но тоже в имажинистическом уже ключе.

Буду сидеть. Курить папиросы.
Все, что можно, отдам и продам.
А если захочется — в звезды, в космос,
Предпочитаю пойти в бардак.

Да. Никогда не поверю в искренность,
Вашу искренность средних цен,
Лучше ходить под дождем, как под
выстрелами,
Гордую голову взяв на прицел,

Лучше любить оголенные площади,
Зелень заборов, шнурки от штиблет...
Вот она вся этих дней беспризорщина —
Третий десяток голодных лет...

Далее выяснялось, что где-то за стенкой, за
стенкой моей души (?!) , очевидно, давно уже по-
селится двойник, который все это мое идейное
разложение заносит в свой неуклонный протокол.

Он констатировал чет и вычет.
Рождаемость, смертность. Приход и расход.
Он понимал, что я просто вычитан
В книжке стихов за тринадцатый год.

Он понимал, что я эпилептик,
Чьих-то глубин какой-то след...
И вот присуждает сегодня к смерти
За недостатком гуманных средств.

Встречу спокойно свое наказание:
Красную строчку к новой главе!..
Но что ж ты не весел — так называемый
Жизнерадостный человек?..

Стихи эти были интересны единственно тем,
что никак не отвечали, пожалуй, моей особе. Я не

пьянствовал и не ходил по бардакам, которых, по моим тогдашним представлениям, вообще не существовало в России. Правда, во всю курил. Это факт. Строчку насчет следов я позаимствовал у Блока: "Мы — забытые следы чьей-то глубины", тонко намекая, что милая поэзия серебряного века от нас навсегда отрезана. Эпилептиком я вроде тоже еще не был... Но юность, знаете, любит все приукрашивать. О как часто мы умираем и воскресаем в юности! В старости это, увы, нам уже редко удастся... Короче, я декадентствовал несколько, а "жизнерадостный человек" меня за это осуждал и был, насколько я понимаю, положительным тогда героем советской литературы, которого, за твердокаменный его оптимизм, я начинал тихо ненавидеть, еще не вполне, по все вероятности, отделяя от себя...

Но Бог с ним, с психоанализом! Важнее другое. Погруженный в слова, шагая по Москве, я не замечал, оказалось, кто ходит со мною бок о бок. А инвалид читал, что я носил в голове. Светофор у него на лбу мигнул, как заговорщик. " — Смотри! — говорит. — Догуляешься ты со своей иностранкой. Это же смерть твоя разгуливает с тобой под ручку. Я решил предупредить... Берегись!" А сам пьяный-пьяный...

Наутро я долго раздумывал, что бы все это могло обозначать, как если бы взаправду меня сопровождала незримо какая-то обаятельная голубая дама и кто бы это, в самом деле, мог быть. С Элен мы и впрямь не расхаживали по городу ночью, а только днем иногда. Да я бы во сне узнал — Элен. Но какая же еще иностранка? Смерть? Пора свора-

чиваться?.. Почему нет? И почему обязательно смерть должна рисоваться нам в облике традиционной старухи? Смерть, быть может, это девушка, это юная наша подруга, что всю жизнь ходит под руку, рядом с нами, мягко предупреждая, настраивая: не оступись! погоди! еще не пора!..

Однако судьба-злодейка подстерегала не меня, а несчастного того инвалида, о чем я уже рассказывал. Со мною же наяву ничего не произошло. Только вызывают однажды повесткой в Райвоенкомат, а там уже, в отдельном отсеке, дожидается меня штатский товарищ, мрачноватого, таинственного, но всем понятного назначения. Впрочем, для ясности, в общих чертах, суммарно, воспроизведу три наших с ним диалога, растянувшихся, конечно, во времени: год без малого протек между этими разговорами.

Диалог первый. —Так, так. Контакт с иностранкой?.. Нет, отчего же? — мы не против... Только... Зачем прекращать?! Напротив... Вы что — не сознаете?.. О что вы, что вы! У вас прекрасная комсомольская репутация... Вы советский человек или не советский человек? вы советский человек или не советский человек? вы советский человек или не со... А вот этого я не советую... Да с вас ничего и не требу... Перестаньте, мы все про вас... Вы что — боитесь?.. Объясните! Значит, ваши контакты уже такого рода, что вам есть что скры..? Но вам же нечего опасаться!.. Посмотрим с другой стороны... Вы же сами говорите: она положительно относится к Советской России?.. А как к американцам?.. Отрицательно?.. А-а, вы об этом не разгова... Вам было не до этого?.. Да бросьте, это

нас не интересу... С чего вы взяли?... Просто... дружески... Профилактика... Какой шпионаж?... Мы сами видим... Посмотрите на себя в зеркало... Но вот дружеские отношения... чисто дружеские... уже придется продолжить... Вы советский человек или не советский че...? Чего?! Вы что нас — за людей не считаете?... Но вот подписку о неразглашении вам все же... Не беспокойтесь, мы вас найдем!..

Второй диалог. — Давненько, давненько... Ну и далеко ли продвинулась ваша нежная дружба?... Ха-ха, семинар!.. Слушайте, мы сами знаем... Белоэмигранты, между прочим, тоже любят Россию. Какую Россию? — различие... Ах, она вне политики?!.. Не заливайте мозги... Сове... или не сове... На кого она работает?... Что значит — ни на кого?... Атташе!.. Как? вы не понима... кто такой атта...? Ше!.. Да ведь это развед... По рангу, по должности... Военн... А мы — контрразвед... В финскую, на линии Маннергейма, уверяю... Активизируйте отношения... Ну, переведите в инти... То есть как это — не можете?... Подумаешь, невеста!.. У меня, например, жена и двое детей... Но если Родина прикажет... Но вы можете за нею немного уха...? Да я не наста... Знаем мы, знаем этих католичек... Кажется, она уже познакомилась с С. — вашим старым приятелем?... Что ж, добро, добро... Пускай!.. Но у меня другой вопрос. Сугубо частный. Вот вы Маяковским занимаетесь... Правда, что будто бы Маяковский в своих стихах употребляет нецензурное слово "блядь"?!.. Что вы говорите — три раза?... Позвольте записать... Значит, так: "я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду..." Какая бродячая собака?... Это уже мелочи... Второй

эпизод?... Повторите, повторите... "Поэт, как блядь рублевая, живет с словом любим..." Ну это он уже слишком... Чересчур... А еще лучший-талантливейший!.. И третий случай? Неужто о пятилетке? А-а! "Где блядь с хулиганом да сифилис..." Вот спасибо, спасибо... Все-таки это большая редкость... А вы не помните, случайно, у Есенина?..

Третий диалог. — Итак, завтра у вас в парке "Сокольники" — свидание. И завтра же вы сделаете решительное предложение... Нет... Нам не этого надо... Вы просто, как в старомодные времена, попросите у нее руку и сердце... Чего улыбаетесь? Девушке это всегда приятно... Католичка! вы же сами говорили... Остальное вас не касается... Предоставьте нам... В лучшем случае вы жéнитесь на ней — чисто номинально, конечно. В худшем... При чем тут ваша невеста? Да никто же не узнаёт... Андрей! Если Родина мать требует... Ну, обмоешься, в конце концов... Это не ваша забота, что с нею станет, когда... Мы сами понимаем: какой из вас любо... Но вы пользуетесь пока что симпатией... Почему-то С. у нее не... Короче, завтра... Пеняйте на себя... Каждое ваше слово... Что?! Вот новость! Считайте себя мобилизованным... Если Родина в опасности... Какое вам дело до ее будущего? Да ее после этого не будет больше! Понимаете — не будет!.. —

Назавтра, скрепя сердце, я поехал в Сокольники. Меня поразил замусоренный и какой-то потасканный вид прославленного пустыря. Хотя шальная жара 48-го года едва опустилась на землю, повсюду уже бросались в глаза разбитые бутылки, смятая бумага, яичная шелуха... Возможно, то бы-

ла аберрация. Со мною случалось подобное искажение правды. В комнате у нас я недавно заметил за собою белесоватые следы, как будто от известки. Вот, подумал, будь я проклят, опять вляпался! Наследил как последний маляр! Подметки сапог, однако, смотрю, у меня в порядке. Но веник — не берет. И щетка на них не действует. С мокрой тряпкой, в ведре, с водой, — принимаюсь оттирать. Куда там! Прямо беда! Белила, видимо! Масляная краска! Вернется мама с работы и давай опять, с усталости, мыть полы... Внезапно отпечатки, у меня под натиском, пропали, сошли на нет. Отошел, люблюсь удачей, а они, черти, спустя мгновение, снова и ярче еще в два раза проступают на влажном паркете. Неужели, думаю, у меня уже от всех переживаний — белая горячка?... Догадался глянуть в окно и возликовал: — Солнце!.. Да ведь это же просто солнышко наше лежит на полу ровными полосками и правильными облатками. Каким-то отраженным углом. Облака же, пробегая по стеклам, то затирают полотером следы, то признательно восстанавливают. Приятно, знаете, убедиться иногда, что это не твой грех, и не грязь, не известка, а солнце виновато... Но тут, в Сокольниках, все было наоборот. И самый свет, представлялось, покоился на траве, на кустах слоем белесой наносной пыли. Даже не известковой — свинцовой. А небо, мечущее жар, без единого облачка, мутно и тлетворно, словно списано с меня. Отдыхающие, которых почему-то в это раннее лето было здесь чересчур много, расположившиеся загорать или, подремывая, ловить сетку тени в газетке, рисовались безжизненными, резиновыми червями. К то-

му же они время от времени, по ходу солнца, переползали, продолжая хранить невозмутимость неодушевленных червей, чем лишь увеличивали мое ко всему тяжелейшее отвращение. Душа в этот день была у одной Элен...

Есть пословица: чужая душа потемки. Неправда. Чужая душа, если она, конечно, существует, — за редким исключением, чиста, как стеклышко. Не о личности речь — о душе, которая, может быть, к человеку и не причастна. Он убивает, обманывает, а душа его чиста. И живет себе независимо до поры до срока. Ну разве что воодушевит иногда на что-нибудь хорошее. Молился, я где-то читал, святой подвижник, в пещере, за убийцу, который пришел и объявил, что пришел его убивать. И ведь, действительно, убил, переждав молитву. Но тот молился, очевидно, не за себя, где-то читал, и не за этого, наверное, мертвого уже разбойника, разъеденного грехом и пороком, словно червивый лист. Он молился за спасение, вот странные слова, спотыкаюсь, души убийцы, видимой ему, по всей вероятности, как ясный день. Не пропадать же душе-бедняжке, если проштрафился владелец? Да он и не молился, он ее омывал. Он делал для нее все, что мог, при последнем приготовлении. И поцеловал в уста: убивай!...

И тут, мне почудилось, я впервые ее увидел, душу. Она вырисовывалась у Элен, наподобие овального тельца или маленького облака, похожая на белого, спеленутого до срока младенца, расположенного, однако, в отличие от ребенка в утробе, пряменько, вверх головкой и не в животе, а в груди, посередине, доставая до лица. Душа из нее про-

свечивала... В себе вы этого не разглядите. Нет. Ты весь темный. Но там, в глубине материи... Тот образок... Та, останняя, зажженная перед Господом Богом, свеча...

Не знаю, откуда берутся такие мысли. Из какого резервуара? Ведь я не веровал в Бога. Совсем не веровал. И никакой там особенной души за человеком не признавал. К религии не испытывал никаких приливов, весьма смутно ее представляя, как, впрочем, не испытывал и обычной для русских атеистов, яростной, религиозной вражды... Просто нашлись, по-видимому, для меня неодолимые границы. Увлечь? предать? и убить? Пускай не своими руками. Но убить? Нет, это свыше наших сил и дается далеко не каждому...

И я начал торопливо все ей объяснять. Все подряд. — Сейчас я открою тебе, Леночка, одну страшную тайну... Исповедуясь перед ней, я все ждал, когда она вскочит и с воплем бросится прочь от меня. Ну а дальше известно: арест, расстрел... Все в голове у меня уже было разработано. И в первый момент, казалось, она не понимает. Ни в какой стране она находится. Ни кто, в бреду, восседает перед ней, как заяц на грязной травке. Ни какую спасительную роль во всей этой истории должен сыграть наш общий друг Сережа. И потому, наверное, от непонимания, она дважды улыбнулась при моих инвективах о вымороченной любви по заданию госбезопасности и о браке по приказу Родины-матери, после чего иностранка автоматически попадала в объятия нашего грозного подданства, и ее бы запытали, ей-Богу, ее бы запытали... Может быть, это звучало, действительно, комично.

Претенциозно. Объясняется человек в лучших чувствах, а сам приговаривает: мы расстанемся, — чтобы тебя не убили. Убили? Полюбить?... Но мне было не до смеха...

Она забеспокоилась: "— Уйдем отсюда, Андрюшка..." И, в самом деле, к нам уже подползал за кустами мужик с газетой. Он полз на спине, вверх брюхом, будто бы продолжая одновременно загорать и читать, невзирая на все неудобства, какую-нибудь "Культуру и жизнь" с новым постановлением о порочных композиторах, засоряющих русскую музыку... Мы переместились. И пока тот, с газетой, разворачивался, а другой еще не подполз, мы, кажется, поцеловались. И тут я заметил, что она все еще сидит, и стоит, и идет рядом со мной по дорожкам в парке "Сокольники", которому одно название, что парк и что "Сокольники", а так — отхожие кусты и общипанные деревья, которые сами не знают, зачем они здесь растут, когда их всякий, кому не лень, обдирает, — вместо того чтобы бежать от меня в суеверном ужасе знатной иностранки, кинуться к отцу с матерью, поклониться послу: "— Спасите меня! Спасите от этой мерзости, которой нет предела, если мой лучший русский друг и тот агент, приставленный меня погубить, как сам он только что мне признался!..." Но она все шла и шла со мной, как будто уже и льня, и любя на расстоянии, после мнимого разрыва, за то ужасное, что я вылил на ее голову. И мы, извините, второй раз поцеловались...

Ох, Ленка! Когда я сейчас вспоминаю обо всем об этом, я думаю, меня в ту минуту только чудо спасло, чудо твоего доверия ко мне и к тому,

что я говорил, снова и снова кидаясь к тебе объяснять все с самого начала. И ты не права, что спорила со мною всегда, будто, по христианским понятиям, каждый человек выбирает и потому свободен. В решительные минуты душа не выбирает, как мы не выбираем себе детей и родителей. И я действовал не свободной волей, когда открылся тебе в подготовленном на тебя покушении, хотя, быть может, это и было самым серьезным переломом в моей жизни, после которого, внутренне, возвращаться в ряды морально-политического единства советского народа и общества, уповая на изначальную чистоту революции, было уже немыслимо. Сама посуди. Тебе, предположим, из очень-очень высоких нравственных идеалов, велят зарезать ребенка? Ты станешь выбирать: зарезать или не зарезать? И не покажутся ли тебе после этого сами эти идеалы слегка, мягко выражаясь, подмоченными кровью — не собственной, не нашей кровью пролетарьята, а чужой, невинных младенцев, которую, Ленка, чем дальше и внимательнее ты смотришь, тем все больше и больше различаешь на доблестном, уже упившемся, красном стяге. Ах, эти песни: "Над миром наше знамя реет...", "Мы пойдем к нашим страждущим братьям, мы к голодному люду пойдем...", "На бой кровавый, святой и правый..." Ты знаешь, даже сейчас, когда я заканчиваю этот роман и начинаю по временам, чисто физически, выдыхаться, я подбадриваю себя, мысленно, этими песнями. "Марш, марш вперед, рабочий народ!.." Прекрасные были марши!..

Да, тяжела свобода — не выбора (выбора нет) — свобода одиночества в мире, где ты вынужден

жить (да я бы и не выбрал другого), который ты все-таки любишь, в котором прижился. Хотя и говорят, что я обозвал Россию сукой, но она же мне мать родная, Ленка, и так была хороша и правильна в моих глазах, когда я начинал жить... И когда мы расстались с тобой в Сокольниках, помнишь, и, как думали, навсегда, навеки (ты — во Франции, я — в России), обо всем договорившись, и я пошел своей дорогой, пешком, через весь город, мне все мерещилось, что прохожие смотрят на меня с осуждением и показывают пальцами: враг народа, вон — смотрите — враг народа идет... И до сих пор это длится, словно я все еще возвращаюсь домой из Сокольников, пешком, через весь город. Нет, не угрызения совести, но чувство какой-то последней оторванности от людей, от общества, состояние страстной отверженности, как это бывает у закоренелых преступников, мной владело, хотя все мое тогдашнее преступление заключалось в том, что я не мог заставить себя стать соучастником в убийстве. Какая-то половинка сознания меня спрашивала настоятельно: но ты же советский человек? А другая огрызалась: оставьте меня в покое, я просто человек, или никто, или враг народа...

Много лет пройдет, и где-то под Суздалем я случайно забреду в случайно уцелевшую, но все еще действующую церквушку, и старенький, пушистый попик спросит меня, да так властно, смерив с головы до пят:

— Откуда прибыл раб Божий?

— Из Москвы, — отвечаю машинально, а сам не могу опомниться. Так значит — и я? и я? Как все люди? Как прочие?... Раб Божий, и больше ни-

чего за спиной. И не надо нам никаких иных должностей. Как зов свободы: раб Божий... Ибо нет лучше титула, точнее обозначения... Наконец-то. Ничей раб. Только Божий...

Но это будет потом, а там, в Сокольниках, я все боялся, что она еще что-то недопоняла. Все висит, мне казалось, на ниточке ее понимания, и только поэтому мы еще держимся. Не предаст, конечно, как я ее не предам. И любовь, еще не родившуюся, не осуществимую, — как пепел, как могильный прах в сердце — унесет без надежды встретиться. Не мне ее, католичку, этим тонкостям обучать... Как, однако, нам вести себя на сцене, публично, имитируя фатальный разрыв? У нее был один органический недостаток: она не умела обманывать.

Да, мы с тобой разработали ложную версию объяснения в парке "Сокольники". Слово за словом. Шаг за шагом. Встречную, так сказать, легенду. Впрочем, не такую уж ложную, если присмотреться. Наша нежная дружба распалась под ударами грубой действительности. По моей вине, но, запомни, Ленка, запомни, по твоей инициативе. Мой вульгарный нажим, моя непонятная попытка чуть ли не насильно женить тебя на себе и тем обратить, каким-то обманным образом, в советское подданство — показались тебе настолько чудовищными, настолько даже нечистоплотными в моральном смысле, что ты вынуждена была, вознегодовав, порвать со мной отношения... Тут она вступилась за меня: не надо, Андрюшка, насчет нечистоплотности. В моральном смысле... Все-таки это неправда... О, Господи! Она еще искала правды. Луч света в темном царстве! А я-то обучал ее обману,

одному обману. Надо! надо! Ленка! Пускай они знают, суки, патриоты своей Родины, что это непристойно. Что ты, в результате, уже начинаешь подозревать меня, своего лучшего русского друга, из-за них, в самых черных делах... Смешно сказать: я еще спорил с ними на тему патриотизма, я, враг народа. Какой они малюют Советскую Россию перед всем миром! Стыдно. Пускай прекратят свое блядство!..

— А что такое "блядство"? — спросила она, заинтересованная новым русским словом. Я кое-как объяснил, и она покраснела. Хотя, мне кажется, по-французски нет адекватных формул. По-французски, мне кажется, два человека вообще не могут по-настоящему поругаться: настолько эстетичный язык. Мне еще хотелось, чтобы при этом разговоре, как разгневанная Диана, она дала бы, якобы, мне пощечину. Но на это она не пошла, и, может быть, была права. Слишком это не вязалось с ее психологическим обликом. Нельзя переигрывать...

Ну, хорошо. Сценарий заготовлен. Роли — распределены. Кто же теперь все это правдоподобно исполнит? Изложит? Подтвердит? Где гарантия, что мы не обманули органы, обо всем — вась-вась, между собой — договорившись? Вот тут совершенно необходимо вступление третьего лица. Тут нужен — доносчик...

Сережу она, к сожалению, не любила, сама не зная почему. Хотя и была мила, как подобает иностранкам. Но я уже наблюдал, что некоторые женщины его, безо всяких причин, не переносят. И приятен, и красив, и талантлив, и образован, и

умень... А вот поди ж ты, словно нашла коса на камень, ничего не выходит. Шарахаются, как чорт от ладана. Моя мама, например, его не переваривала. — Да брось ты его, брось!” Еще в детстве. Мне казалось сначала, что это просто ее материнский страх перед мифическим моим ”декадентством”, в которое, дескать, я невольно впадаю под чужим воздействием. Вечно им кажется, что ее хороший ребенок под чьим-то плохим влиянием попадет в дурное общество. А, может, сам ребенок — отброс?... Но потом, когда... Но я все забегаю вперед...

Я сидел на проводе, возле черного телефона, и каждые полминуты, не реже, отрывистый голос, наподобие секундомера, отсчитывал, где теперь, на каком скрещении, обретается искомая точка — Э. Экрана не было. Но, как старый пеленгаторщик, сигналы я воспринимал наглядно, в виде расчерченного по линейке, черного пространства, по которому пунктиром двигалась бледная капсула — Э. Мне доводилось разбирать кардиограммы кораблей, самолетов, но чтобы среди бела дня, в центре города, не мог затеряться, спрятаться за домами одиночный человек? — такой пеленг я наблюдал впервые. За ней следили, разумеется, но — как! Мне и не снилось, что Москва так простреливается. Что все эти каменные блоки, барьеры, ребра видны насквозь, под рентгеном, с единственной каверной в камне — человеческим телом. Уйти от них или промахнуться не было ни малейшего шанса: она вышла на Якиманку.

— Внимание! Она вышла на Якиманку! — ско-

мандовал телефонный голос. — Сценарий вам известен: примирение. Без претензий на руку и сердце. Это пока оставим. Восстановление дружеских чувств. Ясенько? Случайная встреча... Внимание! Яуза! Кино "Ударник"!..

И — замерло. Я тоже остановился и как будто прослушивал сквозь напряженную тишину телефонов, у контрольного пульта, должно быть: "я — чайка!", "я — орел!", "я — сокол!.."

— Порядочек! Приготовьтесь! Переходит Каменный мост!..

Я этот мост вижу — преогромный мост и весь из камня, если глядеть сверху. И по нему, медленно-медленно, переползает маленькая человеческая бактерия. А что ей делать, подскажите, если каждый шаг ее, заранее, уже изучен и освещен?.. По телефону я вижу, как Элен, ни о чем не ведая, поправила сумочку на кожаном ремешке, перебрала небрежно бедный плащик с локтя на локоток и пошла, и пошла дальше, через Каменный мост, по направлению ко мне. Дай-то Бог, сверкнуло, ей вовремя догадаться шмыгнуть по набережной, на Москва-реку, и мы бы не встретились, не сошлись...

— Внимание! Курс — на улицу Фрунзе! Немедленно! Выходите на явку! Пересечетесь как бы случайно. Никаких обид. Сценарий — известен? Идите на сближение. Повторяю координаты: с Арбата — на улицу Фрунзе. Ясенько? Полный вперед! Желаю успеха!..

Последовал короткий щелчок. Телефон отключили... Покачиваясь, я вышел на улицу и понял, что ни делай человек, он просматривается насквозь — и сверху, и сбоку, и в спину. Им оруду-

ют, им управляют по радио. Меня выпихнули с парашютом, как случается, выбрасывают ударом в задницу десантника. Война? У них всегда война. Без войны они не могут. И я поплыл, я полетел над Москвой, срочно соображая, где мне приземлиться в жизни и как нам еще раз вывернуться из беды...

И тем не менее я не думал тогда, что мир, где мы родились, зол и безумен, да и теперь так не считаю. Я вижу рай на земле под покровом зла. Ведь каждый, буквально каждый из нас, является на свет с желанием — осчастливить. Не мстителем, не убийцей, но посланцем рая... Сам Каин... Благими, засмеетесь, намерениями, хе-хе... Ах, знаю-знаю, но — благими! Откуда им взяться, если зло необратимо? Вы думаете, идеал где-то там? Нет, он здесь, под нами. Мы его топчем. Откуда все эти порывы выбраться из времени — в небо, из общества — в золотой век, как вы его ни называйте? И это естественно для нас — в смутное и тревожное предупреждение о прекрасном. Зачем, в противном случае, нам было бы над этим задумываться?.. Признаки рая на земле — цветы и птицы. Слон. Всевозможные животные. Почему все так интересно вокруг, что и не надо умирать?.. Признаки рая — дети. Посмотрите, какие чистые у них лица. Дети — невинны. И мы, всякий раз, надеемся на детей: осчастливят! действительно! невинные! и восстановят рай на земле!.. Или хотя бы память о рае?..

Мы едва не столкнулись в устье Фрунзе, когда она, как столбик, появилась из-под земли, а я по заданному маршруту, на высоком скаку вылетел из-за угла. — Элен?! Неужели?! Какая встре-

ча!.. — Я почти вопил, размахивая руками, будто меня дергало током, в знак изумления и радостной растерянности (” — Не вздумай улыбаться! Не радуйся! Все подстроено! И — за нами следят...”).

— Какая радость, Элен! Бежал, понимаешь, в Ленинскую библиотеку... И вдруг!.. (” — Ты успела сказать С. то, о чем мы с тобой договорились? Ты — сумела?..”) Мне удалось, надеюсь, придать интонации и жестам ту развязную искусственность, ту разящую в глаза, глупую подстроенность тона, которые прямо говорят, что мы ломаем комедию, если постановщик требует от нас мелодрамы. Пусть видят, если хотят, какой из меня актер. (Да и то нужно было просуфлировать под топот копыт, под литавры восклицаний: ” — Не бойся, деточка! Не бойся!..”)

А она и не боялась нисколько, стоя столбиком передо мной, вся в голубом, сияя, как майский полдень. Ангел — что еще скажешь? Наряд ее, как всегда крайне скромный — крылья стрекозы, — разделял мои представления о небе, а личико озарялось улыбкой сверх всякой договоренности. Напрасно я цедил сквозь зубы, что это моя задача искательно улыбаться, ее же дело теперь, как было обусловлено, хмуриться и дуться и, отшатнувшись, пойти прочь от меня, пока я, рассыпаясь мелким бесом, буду ее умасливать. Мы помиримся, но не сразу, не раньше, чем я откажусь от своих гнусных поползновений. Никакого впечатления. Не умея притворяться, она все еще улыбалась.

— Фу, чорт! — подумал я вслух. — Связался чорт с младенцем.

— А кто чорт? — спросила она серьезно.

— Я, конечно. Ты же у нас младенец. Ангелом работаешь...

Тогда она заплакала. Ну это уже, думаю, лучше. Это уже может сойти за слезы разгневанной души, оскорбленной в своем доверии женщины. И, взяв робко под локоток, как бы уговаривая не сердиться и не ссориться больше, повел долой с площади.

Улица Фрунзе, по-военному подтянутая, казалась почти пустынной. И слезки за нами я не замечал. Неужели вон тот художественный берет с тросточкой это "орел" или "чайка"? Сомневаюсь. Обыкновенный человек. Топтунам берет не положен. На военных я вообще не смотрел. Они — при деле... Ага, вот наконец-то и наш: узнаешь за версту. Шляпа — корове седло, — посаженная как-то слишком прямо. Не шляпа, а бастион, мавзолей на голове. Стоит, с газетой в руках, как чугунная тумба, посреди пустого, чисто-выбритого асфальта и внимательно читает. Заинтересовался, дескать, внезапно культурной передовицей, как громом пораженный, ну и пусть интересуется. Газета, мне сдается, служит ему не щитом, не формой маскировки, но внутренним необходимым пособием уйти в небытие и слиться с чистым асфальтом. Он не скрывается от нас, он отвлекает себя от собственного образа. Он глубоко погружен как будто в свое отсутствие на улице. И хорошо: при виде сыщика я разом успокаиваюсь. В мире вне измерений он высится передо мной маяком.

— Так ты была у Сережи? Рассказала, что мы поссорились? Что ни о каком браке не может быть и речи?..

Мы прохаживаемся взад-вперед, мимо нашего соглядателя, не приближаясь к нему чересчур, но и не удаляясь настолько, чтобы ориентир скрылся из глаз, смененный каким-нибудь новым, незаметным перехватчиком. Противника всего лучше держать в поле обзора...

Ну, конечно, они виделись. В тот же день, к вечеру, она была у него дома и, вся в слезах, поговорила с три короба — все, что требовалось по рецепту. Она так негодовала, так сетовала! И что же? — верный наперсник умолял не волноваться. Без аргументов. Вопреки очевидности. Ну мало ли! Какие размолвки? Помири́тесь! Помири́тесь! Я не так выразился, она не то поняла. Он с таким пылом настаивал на возобновлении наших контактов, что она была совсем не удивлена, столкнувшись со мною только что, носом к носу, на площади...

Ах, это милое, заграничное прилежание к славянизмам: "носом к носу", "с три короба", ради правильного орнамента туземной натужливой мовы ("совсем не удивлена была"), на которых, слушая эти вокабулы, я как-то настораживаюсь. Да понимают ли они, иноземцы, даже овладев моим родным языком с отважной чистотой и неопытностью, что значит слежка, доносы, тюрьмы, — что видят они в России сквозь свое калькированное и стилизованное стекло?..

— Не торопись мириться со мной. Не торопись мириться! Чтобы не попасть нам в еще какую-нибудь ловушку... И ты думаешь он поверил тебе? Он клюнул на эту удочку? От него, от ориентира в нашей жизни, столько зависит...

— Ну конечно же, Андрюшка! Я так плакала! Я так ругала тебя!

И она расхохоталась. Нет, вы представляете, она расхохоталась надо всем, что было и не было над нами, по всей Москве. Но сознает ли, о чем речь, если еще может смеяться?..

— Ключул, Андрюшка! Ключул! — вскричала вдруг француженка с яростью русской бабы. — И я сама убедилась — провокатор!.. Уйдем отсюда куда-нибудь, — потянула она меня за рукав. В Музей, если хочешь. Или в Зоологический сад... И смотри: где же твой, как ты его называл, — топтун?..

Она вылепила губами трудное слово "топтун", даже как-то нежно его причмокнув. Я огляделся. В самом деле, пока мы с ней выясняли отношения, филер успел раствориться. Значит, следит какой-то уже другой "орел" или "сокол". Только я не могу обнаружить его в пространстве. Дурной признак. Действительно, пора уходить...

Что добавить вместо Эпилога? Когда мы с нею встречались — в разные времена и в разных, бывало даже, странах и городах, — она часто вспоминала эту пустую фразу: " — Уйдем отсюда, Андрюшка!", как будто мы и вправду могли уйти. Только смерть вождя позволила нам выскочить из заколдованного круга. Но, стоя в том кругу, я уже принял решение, что, вопреки очевидности, уйду в писатели, а что, как и куда писать — подсказал сам этот круг. Она согласилась при случае переправить вещи на Запад. И сделала это спустя несколько лет. Так закончился мой долгий путь из Сокольников. — Уйдем отсюда! Уйдем отсюда, Андрюшка...

Теперь мне остается рассказать о Вене. Что тогда, в 52-ом, я вывез полезного и запомнил, доставленный в Австрию, на три дня, на военном самолете? Почти ничего. Отель "Бристоль" — резиденция. Мраморный Иоганн Штраус, в натуральном фраке, выпиливает на мраморной скрипке: "Поп ёп татарина, а татарин ёп попа". А вокруг ныряют полуголые наяды из мрамора: "ёп-попа, ёп-попа"... Прямо у памятника, на тротуаре, мне покупают зеленые очки от солнца, для пущей, видать, засекреченности, словно я заморский турист, и все становится полностью уже неправдоподобным и подводным. "— Та-та-рина!" — наяривает Штраус. "Попá, попá!" — вторят ему наяды.

Мы фланируем по Вене, в зоне оккупации, — я и два приставленных ко мне, насупленных супермена, в ожидании Элен. В письме она собиралась навестить нейтральную Австрию, и я отписал под диктовку, что тоже, как диссертант, командирован в Прагу визировать русский архив и попутно, по удобному поводу, надеюсь, заверну в Вену. В последний момент, однако, мне удалось от себя, как было предусмотрено с Э. на крайний, пожарный случай, вставить в телеграмму невинное словцо "обязательно" (обязательно, дескать, приезжай, такого-то буду числа), что следовало читать от обратного.

Чего я боялся! — Я не знал, что они с нею сделают. В тайны операции меня не посвящали. Червяк. Приманка. Лаковый поплавок, заброшенный с дальней дистанции в подводомственные нашей армаде, глубокие экстерриториальные воды. Не человек, а ветхое чучело человека, мешок с трухой,

в костюмчике, вчера из Мосторга, с иголки, в двадцать четыре часа, без паспорта, без проездного билета, без визы, из пушки на Луну, продрогший, в пустом бомбардировщике, с двумя сопровождающими на железных, это вам не кресла, скрижаях по нагому фюзеляжу, с поправкой на десант, на транспорт, — похитить? выкрасть? завербовать путем шантажа? — зачем я здесь? для чего? пронеси, Господи...

Над Карпатами потряхивало. Впервые в воздухе, я полагал, не веря чудесам пилотажа, облака, по которым мы ехали, недостаточно мягкие и сплошь в ухабах, в колдобинах, откуда, в дымящихся кратерах, нам сумрачно зияла земля. И, мнилось, мы не парим в небесах, но с треском и порохом проваливаемся под землю...

Спутники мои молчаливы и деловиты. В холле гостиницы, бронированной под советский жилой корпус и братские демократии, поставив меня в стороне, как вешалку, о чем-то переговариваются озабоченным полусшепотом с такими же безликими, но более вертлявыми штатскими. Наших тут пруд пруди. На улице пока что ни на шаг не отпускают. Мы много ходим, будто военный патруль, втроем, прочесывая город. У старшего — расчет. Первое: рекогносцировка, тщательное изучение сцены. Второе: парижанка каким-нибудь окольным путем, возможно, перемахнула кордоны и вальсирует уже преспокойно по гостеприимной австрийской столице. Тут, на панели, мы ее и накроем. В оба! Мы в боевых условиях!.. Но, рассудку вопреки, липнут к витринам. Стоят, руки в брюки, и шарики катают в задумчивости. Не сдвинешь. За

стеклом дамские цапки. Мотоцикл, похожий на раскормленного муравья. Тонкострунные велосипеды в подусниках. Чемоданы из гиппопотамовой кожи. Ридикюли — пятнистой змеи. Бюстгальтеры — каркасы грудей, на все вкусы фасонов. Мужской манекен с волевым подбородком викинга... Перешептываются, как заговорщики, почти беззвучно. Я скорее угадываю.

— Шевиот! — Чесуча!

Тяну в картинную галерею. Все-таки, говорю, Вена! Единственный раз в истории! А чего мы там потеряли? — отвечают. — Впрочем, обмозговав: не там ли ваша приятельница?..

Народу — никого. С туризмом, очевидно, не густо. Да и в полотнах недобор. Раз, два и обчелся. Слепые квадраты вместо изъятых рам. То ли схоронили от греха подальше. То ли уже реквизованы. Но кое-какой Босх все-таки. Брейгель. Гобелены...

Лес хорошо кудрявился наверху горы, а рыцари под горой хорошо стояли. Я одного не понимаю: как это старые мастера, путем шитья-витья, умели переключать свою дурную эпоху, тоже, вероятно, жестокую и, может быть, довольно приниженную, в величественное превосходство искусства? Откуда им было даровано это ощущение фрески на ковре, которая по мановению ока переносит нас из искусства в жизнь и обратно? Ведь что такое, спросим себя, гобелены? Не волшебная ли сила, перешедшая в игривую вышивку? Туда и обратно снует веселый челнок. И вот уже страсти Христовы становятся такими художественными и отличными от действительной казни, что мы любимся праздником взамен того, чтобы испытывать

стыд или боль от сотворяемого на наших глазах ужасающего злодеяния. Не потому ли, что мастера гобелена за сценами мучений и смерти помнили о чем-то другом, что последует затем? Не подмешивается ли в искусство, исподволь, о чем бы оно ни рассказывало, надежда на воскресение? Или его зарок? Обещание? И не этим ли, главным образом, оно побеждает действительность? Оно крепче и долговечнее, и, если угодно, оно жизненнее разрушительной жизни. Оттого оно и целительно, и нравственно всегда, независимо от глупой морали... Искусства нет без любви. Любовь — в основах искусства. Потому оно и тянется ввысь. А смерть, что же, смерть только условие творчества. Без нее не обойдешься. Но как великолепен в итоге сотканный, под ношей, Христос и здесь же, на гобелене, воскресший в свое предсмертное шествие...

Тут мои конвоиры засуuetились: "— Что вы торчите полчаса перед какой-то грязной тряпкой? Вы что — нарочно время тянете? Вперед! На выход!.." И — назад к витринам шевелить устами: "шевиот — шерсть — кашемир — штапель..." Никто, смотрю, столько не простаивает у напрасных затрат куртуазной цивилизации. Жители спешат мимо по своим домашним делам. В гетрах, в шортах, в тирольской шапочке с насмешливым, вольнолюбивым пером. Мне как-то неловко за русских, за Советский Союз... У нас на спинах написано, откуда и кто мы такие. Австрийцы, чудится, нас презирают, старательно не глядят, огибают, делая вид, будто мы не существуем. Но служат, повсюду служат!.. Разъятая союзными войсками, нафаршированная разведкой, страна поставляла, к моему кошмару,

аккуратную информацию обо всех прибывающих и отбывающих иностранцах. По-фамильное, круглосуточно, с вокзалов, по расписанию, с отелей и пансионов, — какой же надобен штат! — включая, кажется, таможенню, главный почтамт, телеграф, безвредное полицейское ведомство и вражескую американскую зону. Наша беглянка покуда в этих списках не значилась.

Господи, я взывал, пронеси чашу сия Не делай меня ловцом и загонщиком в адской охоте. Смешно, некрещенный, беспочвенный, и вдруг взмолился. Помилуй...

Правда, лет пяти-шести я взял одно время нелепую привычку в кровати, соорудив над головой из одеяла подобие укромного домика, чтобы никто не видел, креститься перед сном. Не зная в подробностях, как это исполняют по правилам, я исхитрялся воспроизводить магические знаки вслепую, согласно теории вероятности, то с левого плеча начиная, от живота, со лба, сема и овамо, с расчетом, что хоть один вариант проскочит. Даже мать, при всем моем беспредельном доверии к ней, не имела понятия об этой самодеятельной и невежественной церкви. Помимо других причин, я скрывал от нее уголок первобытных моих амбиций, стыдясь и не умея объяснить словами, что Бог у меня в ту пору каким-то непостижимым путем сливался с образом той же мамы и таял в ее очертаниях. Я твердо помнил, что Бога, к сожалению, нет. Но мама была при мне, и эту версию уже никто не опровергнет. Лучше ее любви на свете ничего не предвиделось. И я, еретик, за неимением Бога, молился собственной матери. Впрочем, ни о чем не

просил, довольствуясь младенческим счастьем пребывания где-то рядом, и, воровато крестясь, как бы вступал мысленно перед сном под ее благословенную тень, падавшую на меня почему-то уже с неба...

Теперь, направляясь в Вену по тайному спецзаданию, я грубо обманывал мать, будто по комсомольской путевке исчезну на несколько дней в ближайший Харьков. Что-то вроде летней конференции, не помню уже, на какую тему. Не хотелось обременять сердце. Хватит с нее в декабре арестованного отца с неизвестным, тяготевшим к осени исходом. Небось, эти двое считают его заложником, чтобы я, чего доброго, не сбежал на Запад. Но я бы и так не сбежал. Будь один, как перст, и свободен, как ветер, — все равно бы не сбежал. Во мне бродили иные планы и фабулы...

Однако с моими рьяными опекунами о тюремной судьбе отца я не заговариваю. Бесполезное это дело соболеznовать с железом. Отрезало. Не проханжé! И тот, кто в венской вылазке держал бразды кондотьера, показал мне жалкость попыток заглянуть в преисподние области. Не знаю его чинов и весьма туманно восстанавливаю сейчас его непроницаемый облик (помню только маленький, жестокий рот), но был он, должно быть, не последней птицей в оркестре, если его помощник, работавший на подхвате, рекомендовался майором. Ни того, ни другого, впрочем, я не видал в регалиях. На зыбкой земной поверхности они действовали, как силуэты до времени сокровенных и где-то там, в глубине, под глыбами, запроектированных стенбитных машин. Люди большие, в годах, к пя-

тидесяти (или так мне рисовалось по молодости). Один, атлетического типа, с фаянсовыми, будто инкрустированными, глазами статуи, уже абсолютно лысый. Лишь белесоватый ковыль реял на эбонитовом темени, усиливая точеную мощь прекрасного смуглого лба... Так вот, его начальник, у которого маленький рот (или будем называть его — Главный), за месяц до Вены уведомил меня, что близко ознакомился с отцовским делом и должен объявить со всей авторитетностью, что отец мой опасный политический преступник, изменник Родины, даю вам честное слово...

Из Австрии, путая карты, мы рвали когти уже не самолетом, а поездом, якобы по направлению к Праге, но в действительности на Чоп. То была, как легко догадаться, очередная уловка в соперничестве с американской разведкой, когда бы та, в довершение безумных затрат, по сговору с французской, союзнической комендатурой, вздумала проследить мой баснословный маршрут, имея в распоряжении те же каналы связи, что и наша сторона, — в гостинице, в полиции, на таможне и на вокзале. Затея, на мой взгляд, пустая, как и весь этот самонадеянный, запредельный рейд. И мы сделали до поезда запасной виток по шоссе в открытой автомашине, будто в обход предполагаемых заслонов и домыслов, мимо какого-то модного, судя по всему, курорта, с бассейнами, наполненными небывалого, темнозеленого цвета водой под бледноглубым небом, у которой возлежали совсем почти обнаженные, золотистые одалиски

заезжих миллионеров. — Разлеглись — словно у себя дома, — промямлил Главный с непонятной неприязнью, не глядя. Но Лысый, привстав с сиденья, доброжелательно скалился на редкостное по широте обозрения лежбище женщин. — Эх, нет у нас полевого бинокля с собой — на этих европейек!..

Поезд, однако, мне показался уже совершенно советским, набитый демобилизованным и едущим в отпуск военным людом. Все были навеселе, и, едва мы набрали кое-какую скорость, послышался звон разбиваемого стекла. Это в окна вагонов швыряли пустые бутылки, метя по придорожным столбам. Население вдоль полотна как вымерло, — знать, попрятались кто куда от нашего боевого состава, — и несколько часов кряду, представлялось, мы ехали по безлюдной стране, под неусыпные взрывы и дребезги затянувшегося салюта. Я с грустью думал о заключенной в человеке неистовой силе разрушительного инстинкта, с которым доселе не сталкивался, если не считать раскатов и отголосков грозного военного эха. Зачем было, спрашивается, ударному батальону, с налету прорвавшему фронт в районе женского лагеря, тут же, перебив охрану, валить и насиловать рукоплещущих, спасенных от смерти пленниц — русских, украинок, полячек и хорваток? Те бы сами охотно угостили освободителей, и всем хватило бы, — стыдливо нам признавался участник операции, мирный, застенчивый парень из патриархального села. Так нет! Всех до одной, без разбора, они публично опозорили. Сами не желая того. По какому-то взятому раньше, бешеному разбегу и натиску. Ибо не женской ласки искала душа бойца, но продолжения

атаки. И горькое лоно раскинулось полем боя. Слишком велик и стремителен, по-видимому, был двигавший ими заряд!.. И что-то похожее слышалось мне сейчас, семь лет спустя после конца баталий, в сокрушительной и разноречивой, если погрузиться в нее, симфонии разбиваемых о камень бутылок, сквозь которую, опасливо вздрагивая на стыках рельс, пробирался осторожный эшелон. Чудилось, колеса поскальзываются и буксуют в треске и в скрежете перемалываемого стекла. Мы шли под сплошной осколочный дождь, под заупокойный звон по чужой, немилосердной земле, по русской оккупации Австрии...

Но я, как водится, многое упустил из вида в моих поспешных диагнозах, а то и вообще исказил картину под влиянием грустной минуты, и, хотя почти всю дорогу рта не раскрывал, четвертый в нашем купе, случайный, в почтенной седине, полковник авиации, меня поправил и дополнил. Не надо беспокоиться, друзья, по поводу битой посуды из-под винного эликсира. Посуду тут не сдают. Веселятся на всю катушку. Отмечают счастливый исход, законный отдых и служебное продвижение в армии, состязаясь в меткости глаза и точности удара по наземным целям (хе-хе). Это уж такая традиция, с войны. Так всегда здесь бывает, пока мы подальше не отъедем. Что поделаешь? Соскучился, истосковался народ по России, по свободе. Заграничная служба русским людям не сахар. Однако пьяных скандалов, за редким исключением, на данном участке пути вы можете не опасаться. Да и в нашем вагоне едут в основном офицеры. Народ дисциплинированный, инициативный, воспитанный,

хорошо подкованный... И он принялся нам изъяснять гарнизонную систему, с ее подтянутой изоляцией, в стороне от густонаселенных скоплений, как бы скрытую от глаз, а вместе с тем на виду у прижимистой Европы, и местные порядки и нравы, которые нашему брату просто-напросто претят. Не хватает им изюминки в жизни. И веселья подлинного вы тоже у них не найдете. Невесело они живут. И не известно — зачем? для чего? на кой шут, извините за выражение?! Только время проводят. В идейном отношении, в духовных запросах... такое, знаете, убожество... Ох, и тошно становится, когда тут с мое поживешь!..

И как будто в подтверждение его справедливых слов, до меня, в антракты между редевшими уже, холостыми бутылочными выстрелами и разговорчивым хохотком полковника, докатывались по вагону разрозненные возгласы, которые здесь, ради быстроты изложения, я механически подверстываю:

— Водка — при всей ее вредности — укрепляет человека. А западное пойло — безградусная кислятина — расслабляет цивилизацию...

— Морально! морально!..

— Мороз, в 42-ом, наших солдат закалял!..

— А зима гнилая в этой Австрии!..

— Эх, у нас на Волге, бывало!..

— Лег я в ванную, а вода в ей тьеплая, тьеплая!..

— Жаль, Венский лес в руках американцев.

Так и не повидал...

— Глядим: старуха на велосипеде! Мы чуть не попадали...

— И весь климат не тот! Никакой природы!..

— А люди тут скаредные. Спрашиваю в аптеке:
” — Хабен зи...”

— Деревня — называется. А дома — из камня.
И вместо крыши — кирпич!

— Нет, Дунай красивая река, ничего не скажешь...

— Ну и, конечно, у них ширпотреб на высоте...

— Не скажите! Не преувеличивайте, младший лейтенант! Наши фотоаппараты — последнего, я имею, выпуска, — не уступают цейсовским...

— А часы! часы!...

Невольно я покосился на каменных моих провожатых. И не улыбнулись. Или уболтал их наш веселый полковник авиации, числившийся, объяснил он, по интендантскому ведомству, начав с демонтажа немецкой техники в самом конце войны?..

— Вежливость у них на первом месте, а поговорить не с кем!..

Мне вспомнился по аналогии суровый пес Рекс, вывезенный из трофейной Германии в большую московскую, уже хорошо меблированную квартиру, который едва не подох, не забеги на огонек и не заговори с ним по-немецки знакомый переводчик. Громадная овчарка бывшего гестаповца, по-щенячьи скуля, поползла к ногам избавителя и растянулась перед ним на ковре, кверху голым, беззащитным брюхом. Пришлось ценную тварь за сухую ерунду уступить тому переводчику. Тяжелое это дело собаке потерять внезапно контакт с путеводительной человеческой речью...

— Да, я не летчик! Я инженер авиации! А нынче скромный интендант-хозяйственник, — ораторствовал полковник и вдруг поинтересовался: — А

вы кто будете, товарищи, по своей специальности?..

Видать, почуял, что мы втроем, новички в заграничной экспедиции, составляем все же особую, сплоченную, хотя и молчаливую, командировочную ячейку. Что на это ему ответят мои невозмутимые рыцари? И впрямь, кто мы? каков наш официальный статус? Инженеры? строители? снабженцы? дипломаты? — перебирал я поспешно в уме всевозможные профессии. Или мы, быть может, оперативная группа спецкорреспондентов, писателей, выезжавшая для укрепления связей советской литературы с действительностью? Последнее более всего походило бы на правду... Но Главный, сумрачно усмехнувшись, с легкой иронией в голосе, наставительно произнес: "— Мы — универсалы..." Так вот как *это* у них называется! — пронеслось у меня, с удивлением, в голове. Вот каких, оказалось, они степеней и масштабов, мнений о себе, полномочий в нашем слепом и подведомственном существовании! Универсалы!.. "— Универсалы?!"

переспросил недоверчиво полковник, но больше вопросов нам не задавал. Его словоохотливость как-то разом упала...

— А не поднять ли и нам чуток боевое настроение? — воспользовался неловкой паузой Лысый и посмотрел на Главного. Тот лишь утвердительно опустил глаза. Полковник возбужденно потер пересохшие ладони: "— Что ж! За мной не пропадет! В таком приятном обществе!.." — Мигом засверкала на столике скатерть-самобранка. Это Лысый выпростал походную кладовую, интендант-полковник тоже не остался в долгу, и мы, не мешкая и без лишних слов, последовали примеру ушедшей далеко вперед, по ходу поезда, жизни.

Мне, как самому младшему в компании, налили стакан коньяку под интендантскую прибаутку: "— Молодым везде у нас дорога..." — "— Старикам везде у нас почет", — подхватил Лысый, наполняя стакан полковника вровень со мною. Не многовато ли? — прикинул я обстановку и собственные небольшие возможности, но вежливо промолчал. Внимания ко мне, слава Богу, не проявляли. Я шел в общей упряжке и после вчерашнего дня почитал за благо сидеть себе незаметно в тени, собираясь с мыслями, в успокоительном полусне поезда дальнего следования. Я люблю поезд. Куда бы вы ни ехали, какие бы волнения за вашей спиной ни кипели, в его мягком покачивании, в скольжении глазами по линиям окрестных абстракций вы обретаете чувство отрешенности от себя, от минувших и поджидающих впереди картин и событий, и живете уже частично вне времени и пространства, вне строгого чередования суток, или, может быть, параллельно себе, в неведомых направлениях. Нет, конечно, все ваше достояние, все беды и надежды, сохраняются при вас, как бы теряя, однако, на время проезда свою материальную тяжесть и будто издалека прощаясь с вами, наподобие неопознанной повести, чей след уходит в песок и, если вернется когда-нибудь, то в образах исчезающей памяти. Не жить мне хотелось в те усыпительные часы возвращения в Россию из кругосветного путешествия, а только писать и писать, пока от меня не останутся одни пальцы. Жизнь это, вообще, ожидание написанного... А Элен пообещала... Вчера пообещала, прощаясь, вечером, в Вене, по дороге к поезду, когда я ее провожал, а за нами, великосветской

аллеей, за двести шагов, в темноте деревьев следовал мой лысый компаньон, с портативным, небось, револьвером в кармане пиджака, чтобы меня страховать, как он предупредил, от иностранных провокаций. Но я-то знал, чего они опасались. И Элен была обо всем извещена, о каждом их, насколько я мог предугадать, шаге, о напрасной телеграмме с забытым ею словцом "обязательно приезжай", об арестованном зимою отце и о дальних моих, таких неосязаемых замыслах... Не за этим ли мы ездили? Не за новой ли словесностью, ввергающей нас в приключения, которых мы не хотим, не ищем, но сами они накидываются, вместо судьбы, и гнут наотмашь, по-своему, куда поведет, нашу многоветвистую жизнь?..

Лишь на третьем-четвертом коньячном витке, немного поперхнувшись с избытка и нетерпеливо закурив, я поймал на себе внимательный глаз предводителя отряда, который, казалось, впервые изучает черты моего лица, покуривая, с прищуром, "Казбек". Поизучав с минуту, он конфиденциально пожевал губами папиросу, словно перешептываясь сам с собою, и, наклонившись ко мне, неодобрительно сообщил:

— А вы — нежный.

— С чего это вы взяли, что я нежный? — угрозило меня вступить за свое мужское достоинство с некоторой дозой нервозности.

— Одна деталь. Как вы бросаете сигарету в пепельницу? Вы ее не бросаете. Вы ее кладете. Не докурив до конца. Не погасив искру. Вы ее жалеете, да?.. Значит, вы — нежный... А вот я — жестокий! Я вот что, вот что с ней делаю!..

И, выхватив дымящийся "Казбек" изо рта, он растоптал его пальцами, он буквально свернул шею несчастному окурку, несколько раз круто повернув... Я так и не понял значения его пьяной выходки. Что поделаешь? В их вычислениях я многое не понимал, и до сих пор для меня остается неясной конечная цель этой вздорной и никчемной, как мне рисуется, авантюры. Та, за которой они охотились с таким предварительным пылом и массой выкрутасов, ушла от них без ущерба, спокойная за свою репутацию и собственную совесть. Нигде не солгав, не испугавшись. Из смертной, казалось, захлестнувшей петли — ушла. Благодарение Господу Богу — живая...

Ну, предположим, она узнала от меня, с кем имеет дело и чем эта встреча грозит. Да и Главный не очень скрывал свою таинственную принадлежность к каким-то невероятно влиятельным кругам (боюсь, его ликвидировали после падения Берии или вывели на пенсию, по лагерям я его потом не встречал). Не афишировал, конечно, и держался респектабельно, в рамках; однако и ребенку доступно, помимо комментатора, кто ее вместе со мной приглашал на Пратер покататься на знаменитом, говорилось, по всей Европе Чортовом колесе или на лодке, вдвоем (без Лысого), по голубому Дунаю. Кто в ресторане отеля заказывал сухое вино, и реплики за обедом, с обеих сторон, звучали до смешного прозрачно:

— Абстрактные идеи человечество не спасают...

— Я с этим не согласна...

Высокий, узконосый вермут на столе, как модель торпеды. Минеральная вода падает в хрусталь-

ный бокал с цокающим журчанием, какое можно услышать, вероятно, в горах Кавказа, когда кавалькада галопирует по каменистой тропинке. И вновь — лениво, без нажима:

— Абстрактные идеи человечество не спасают...

— Я с этим не согласна...

Навряд ли он пытался ее уговорить. Не такие они наивные. Скорее, он имитировал рассеянную и великодушную близость широкого вельможи, пока, в коронованным блеске из серебра и хрусталя, нашу эффектную группу фотофиксировал невидимо Лысый, живший в эти часы за кулисами событий. С дальним прицелом, возможно, когда-нибудь предъявить Э. или ее отцу ультиматум, по советской логической схеме из детективного кинофильма: раз пойманы, рядом, на фотку, да еще в ресторанном дыму, — значит, соучастники! Ультиматума, однако, с годами не последовало, кинофильм не удался и ковы распались. Ох, уж эти романтики шпионского, разбойного промысла! Боюсь, его все-таки сняли с ответственного поста...

Между тем завечерело. Дорожные мои собутельники, насытись, придумали сразиться в картишки; я же, как человек индифферентный и не державший еще в руках предательские карты, отполз на боковое свободное сиденье, в уютную мглу вагона, со своим граненым стаканом и посасывал коньяк. В те времена по части крепких напитков я был не мастер, и, помнится, меня приятно удивила возникшая, одним толчком, вокруг головы прозрачная и глухая стена. Сквозь это стекло все хорошо доносится, даже, быть может, тоньше и отчетливее, нежели по обыкновению, но сам ты как

будто находишься под надежным колпаком. Я понял этимологию народной идиомы: "быть под банковской". Не потому ли пьяные, случается, шумят, кидаются доказывать одно и то же и допускают резкие жесты по отношению к соседу? Им кажется из-под банки с обостренной внутренней чуткостью, их встречные речи не достигают окружающего сознания и надобно добиваться, чтобы тебя воспринимали. В отличие от обыкновенных людей, в подобном состоянии, правда, я никогда не хулиганю, не ищу общения с ближними, но спешу уединиться в создавшейся вокруг, остекляненной ситуации, с целью созерцания. Тому научил меня тот окающий состав...

Какие добрые и кроткие, гляжу, у них лица, мирных пассажиров, коротающих вечер, как дети, без большого, впрочем, азарта, мягко шлепая валетами и королями в подкидного дурака. Чего же я так волновался, упреждал неизвестно что? Зачем умолял Элен зарегистрировать свое пребывание во французской комендатуре? Зарегистрированному человеку меньше процентов исчезнуть. То-то они чертыхались! И торопил с отъездом, как только с ней мы остались наедине. Дико вообразить, едва пересеклись и спешим уже расстаться. Однако и уехать мгновенно ей тоже было заказано: подозрение напрямую выпадало бы на меня...

О, как они смеялись вчерашней ночью, когда, проводив ее к поезду, я вернулся понуро в гостиницу и с убитым видом поведал, что, по-моему, она обо всем догадалась и распознала особую должность Главного в пасьянсе, отчего и поторопилась проститься. Тут мне стало действительно страшно

— на сей раз уже за себя. Они смеялись так, как если бы насквозь пронизали мои попытки спасти ее и, опередив, подстерегли с поличным. Слишком долго и громко клокотал надо мной тот бессловесный хохот, чтобы принять его за натуральный смех. Казалось, отхохотав дуэтом заученную партию, они возьмутся за меня по-другому. Смутное мое самочувствие в ту минуту точнее всего можно выразить цитатой из романа, написанного, ни много, ни мало через двадцать лет моим семилетним сыном. В раннем возрасте он сочинял романы, изобилующие превосходными фразами и острыми поворотами, и лучше Егора мне все равно не выдумать: "И, приставив ему ко лбу три пистолета, они повели его в тюрьму". Вот что мне померещилось тогда за их картинным весельем... Но, оборвав смеяться, как начали, по команде, Главный, не улыбаясь, сказал:

— Почему вы решили, что вам она излагала — правду? А может она в сговоре с нами? За вашей спиной...

И длинным, загадочным взглядом он посмотрел на меня. Я только пожал плечами. Ноша упала. Номер не прошел. Это была такая же ясная липа, что и преступные деяния моего старика-отца, сидевшего у них под замком. Сеять взаимные подозрения это у них в обычае. И смеялись они, должно быть, тоже по специальности. На всякий случай, работая впрок, на будущее, с тем чтобы навсегда запугать. Смеяться тут было не над чем. Разве что над моей растерянной физиономией...

Сейчас, по пути в Россию, я уже не думал, что меня, по возвращении, немедленно заберут. Рас-

плата придет когда-нибудь, можете спать спокойно, но не так скоро. Не стали бы они дурачиться в карты, как самые нормальные люди. Не тратили бы на меня дорогой коньяк. Не бросили бы одного, без призора, в чудесной полутьме вагона, где не то, что выражения глаз — лица не видать, в счастливом успокоении сердца, с несмелыми словами аллилуйи на губах... Как все-таки несправедливо и неправильно мы устроены, если в смертной беде молим о пощаде, а минует стезя, и мы уже благоденствуем и живем, будто так и надо, в ожидании дальнейших сокровищ. И просим, просим!.. Тем временем все, абсолютно все, — и воздух, и вода, и земля, и ночное небо, — нам предоставленно авансом, который, в общем-то, мы забываем отрабатывать и не испытываем признательности к близлежащим вещам.

— Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! — шептал я и тут же осаживал себя: не поминай всуе, молись, не поминая...

Мыслилось, у меня пламя исходит изо рта, дьявольское пламя. По всей вероятности, это вспыхивал с непривычки и самовозгорался коньяк. И ночь властно влетала в полуоткрытое окно с волною темного воздуха, чуточку прогорклого от угольной, железнодорожной гари, благодаря которой он становился чище. Неистойой, неистощимой чистоты воздух! И встречный, уводящий в сторону, в ночь, паровозный гудок...

Смотрю, мои добрые попутчики, упившись и наигравшись, уже храпят по своим полкам. Когда они успели растасоваться, я и не видал. Пора и мне на боковую, однако я, наслаждаясь, длю и длю

одиночество, доставшееся в подарок, параллельно всепожирающей и уже не существующей жизни... Удивительно, как сон уравнивает всех, без различия исторических величин и назначений, чинов и званий. Ни на чем мы так не сходимся, как на этом поголовном склонении ко сну. Ты готов, спрашиваешь себя, быть как все люди? Конечно, отвечаю, и звери, и деревья, а у самого уже вежды смыкаются. Прощаюсь, уезжаю неведомо куда, под толчею колес кто разберет?.. А ночь не спит, ночь охраняет сон и творит, ночь извлекает свет и огонь из сгустившейся тьмы и воздух из растений, отравленный испарением дня. Не было бы ночи, и мы бы не знали ни звездного небосвода, ни огней за рекой, ни поезда, ни воздуха. И этот протяжный, тоскливый, в прошлом, в молодости, гудок... Вот с чем будет жаль больше всего расставаться — с воздухом ночью и с этим паровозным гудком, мелькает у меня в голове ни к селу, ни к городу. Но самое превосходное, что я выбираю из пройденного, это спать на свежем воздухе. Еще в детстве, на сене, на раменской терраске, куда я еду, или, совсем блаженство, с отцом, с матерью, с женой и сыном — под открытым небосводом. Вдохнешь глубоко и со вздохом улетаешь, и дышишь, и дышишь во сне ароматом трав, шелестом листвы и ночным, пронзительным холодом, из-под родимого тулупа. Приподымешь один глаз, а звезды так и сияют, так и катятся на тебя. Ты чист перед людьми, спящий на вольном воздухе, ты слышишь, как далеко за древним лесом проходит поезд, как гудит пароход у пристани Батраки, за Сызранью. И говоришь "спасибо", спасибо всему, не считаясь с дневными

бреднями. И не спишь почти, а только дышишь чистотою ночи, что сама вливается в грудь, и освобождает, и думает за тебя, и собою замещает. Ничего не помню. Один воздух. Да тот напутствующий в ночи, далекий паровозный гудок...

1983, Париж



ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая.</i>	ПЕРЕВЕРТЫШ	7
<i>Глава вторая.</i>	ДОМ СВИДАНИЙ	107
<i>Глава третья.</i>	ОТЕЦ	195
<i>Глава четвертая.</i>	ОПАСНЫЕ СВЯЗИ	263
<i>Глава пятая.</i>	ВО ЧРЕВЕ КИТОВОМ	339

Книга украшена рисунками
из писем М.В. Розановой Андрею Синявскому
в лагерь.

Имя историка-востоковеда Юрия Брегеля
произносится в романе "Брейгель",
— как привыкли его тогда называть
не знакомые с ним близко люди.





[illegible]